

Герман Гессе



Герман
Гессе





Герман
Лессе

СИДДХАРТА
НАРЦИСС
И ГОЛЬДМУНД





Герман Гессе

СИДДХАРТА



НАРЦИСС
И ГОЛЬДМУНД



Фірма «ФІТА Лтд.»
Київ 1993

ББК 84.4

Г43

Ψ

СЕРИЯ

700

Этой книгой фирма «Фита Лтд.»
открывает серию,
в которую войдут произведения,
написанные в психологическом ключе
Г.Майринком, М.А.Булгаковым, Ф.Кафкой,
Н.В.Гоголем, Э.Т.А.Гофманом и др.
Символы серии — не случайны.
Буква Ψ в Древней Греции
обозначала число 700.
Психея (ψυχη) — по-гречески — душа...

Художественное оформление
Н. Н. Вакуленко, О. В. Гашенко

Г 4703000000 — Без оголош.
93

ISBN 5-7101-0022-6

© Упорядкування. Художнє
оформлення. Фірма «Фіта Лтд.»,
1993

СИДХАРТА



Дорогой, уважаемый Ромэн Роллан!

*С осени 1914 года, когда с недавних времен
распространившееся духовное удушье
стало вдруг ощутимым и мной
и мы поверх национальных барьеров
подали с чужих берегов друг другу руки,
веря в необходимость этого,
с тех пор у меня было желание
однажды поднести Вам знак моей любви
и одновременно опыт моего образа жизни
и взгляд на мир моих идей.*

*Примите дружески
Посвящение первой части
моей неоконченной индийской поэмы
от Вашего*

Германа Гессе



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЫН БРАМАНА

Под сенью родительского дома, на солнце речного берега у лодок, в тени салового леса, в тени смоковниц вырос прекрасный сын брамана, юный сокол Сиддхарта, вместе с Говиндой, своим другом, сыном брамана. Солнце покрывало загаром его белые плечи на берегу реки при купанье, при священных омовениях, при жертвенных обрядах. Тень вливалась в его черные очи — в манговой роще, при играх мальчиков, при песнях матери, при священных жертвоприношениях, при поучениях ученого отца и беседах мудрецов. Давно уже Сиддхарта принимал участие в этих беседах: вместе с Говиндой упражнялся он в словесных состязаниях, в искусстве созерцания с целью самоуглубления. Уже он в состоянии был беззвучно произносить слово «Ом»¹, это слово слов, — беззвучно выговаривать его при дыхании и выдыхании, с сосредоточенной душой, с челом, озаренным сиянием ясной



¹ Важнейшая часть жертвенного пения обозначалась мистическим словом «О» (Ом).

Наделенный магической силой слог «Ом» (произносимый как «А-У-М»: на вдохе — А, на выдохе — У, при остановке дыхания —М) отождествляется с творящей мир триадой богов: Брахма (А), Вишну (У), Шива (М).



мысли. Уже в глубине своего существа он познавал Атмана¹, непреходящего, со вселенной единого.

Радость наполняла сердце отца при виде сына, столь одаренного, жаждущего знания: великого мудреца и священнослужителя провидел он в нем, князя среди браманов.

Блаженством преисполнялась грудь матери, когда она глядела на сына, когда видела, как двигался, садился и вставал Сиддхарта, сильный, прекрасный, как ступали его стройные ноги, с какой отменной благопристойностью он ее приветствовал.

Любовь зарождалась в сердцах юных дочерей браманов, когда Сиддхарта проходил по улицам города, с лучезарным челом, с царственным взором, с узкими бедрами.

Но всех больше любил его Говинда, его друг, сын брамана. Он любил очи и чарующий голос Сиддхарты, любил его походку и исполненные благородства движения, любил все, что делал и говорил Сиддхарта, — а больше всего любил его душу, его огненные мысли, его пламенную волю, его высокое призвание. Ибо знал Говинда — не рядовым браманом станет его друг, не небрежным исполнителем жертвенных обрядов, не алчным продавцом заклинаний, не тщеславным пустым краснобаем, не злым и коварным жрецом, — как не будет «он» добродушным глупым бараном в многоголовом стаде. Нет, не будет этого! Да и он — Говинда — не хотел стать одним из тех браманов, каких существуют десятки тысяч. Он

¹ В памятниках Ведийской литературы Атман («дыхание») — центральная «дыхательная» сила, действующая и творящая в глубине каждой индивидуальной жизни. С течением времени из этого представления об Атмане создалась идея всеобъемлющей, всеоживляющей мировой души. В более поздних частях Веды Атман отождествляется с Брамой.



хотел следовать во всем за Сиддхартой, за любимым, чудным. И если Сиддхарта когда-нибудь станет богом, если он приобщится к сонму лучезарных. — тогда и он, Говинда, последует за ним, — как друг его, как спутник, как слуга и копьеносец, как тень.

Все любили Сиддхарту. Во всех он всеядл радость, для всех был утехой.

Но сам он. Сиддхарта, не ведал радости, не знал утех. Гуляя по розовым дорожкам сада, среди смоковниц, сидя под голубоватой сенью Рощи Созерцания, совершая ежедневные очистительные омовения, принося жертвоприношения в тенистой глубине манговой рощи, с отменной благопристойностью в каждом своем движении, всеми любимый, всех радуя взоры, — сам он, однако, не находил радости в своем сердце. В струях речных вод, в мерцании ночных светил, в сиянии солнечных лучей мелькали перед ним образы, носились неутомимые мысли. Грезы и душевную тревогу навевали на него и курения жертвенного фимиама, и стихи Риг-Веды, и поучения древних браманов.

И Сиддхарта познал муки неудовлетворенности. Он почувствовал, что любви родителей, любви Говинды, его друга, недостаточно, чтобы навсегда и всецело осчастливить, успокоить и насытить его. Он догадывался, что его достопочтенный отец и другие его учителя — мудрые браманы — уже передали ему большую и лучшую часть своей мудрости, что они уже перелили все свое богатство в его алчущий сосуд, — но не наполнился сосуд, не удовлетворена мысль, не успокоилась душа, не умиротворено сердце. Омовения вещь хорошая, — но не водою же смыть грех, утолить жажду души, унять тревогу сердца? Превосходны жертвоприношения и вознесение мо-





литв к богам — но разве этого достаточно? Разве жертвоприношения дают счастье? А боги? Действительно ли творцом мира был Праджapati¹, а не Атман — Он, Единственный, Всеобщий? Ведь и боги существа сотворенные, как я и ты, подчиненные времени, преходящие... И хорошо ли в таком случае, правильно ли, имеет ли смысл приносить им жертвы? Кому же и приносить жертвы, кому поклоняться, как не Ему, Единственному, Атману? И где искать Атмана, где он пребывает, где бьется его извечное сердце? Где, как не в собственном Я, в его сокровенной глубине, в том Неуничтожаемом, что каждый носит в себе? Но где же, где это Я, это сокровенное, это начало начал? Оно не в плоти и не в крови, не в мысли и не в сознании, — учат мудрейшие. Где же оно тогда? Существует ли иной путь, чтоб проникнуть туда, к этому Я, ко мне, к Атману? И стоит ли его искать? Увы, никто не может указать этот путь, никто не знает его — ни отец, ни наставники и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения. Всё-то они — браманы и их священные книги — знают, всем-то и даже более, чем всем, они интересовались — творением мира, происхождением речи, пищи, вдыхания и выдыхания, соотношением чувств, деяниями богов. Бесконечно много знают они — но какую цену имеет все это знание, если не знаешь Единого и Единственного, важнейшего, единственного важного?

Правда, во многих стихах священных книг, в особенности в Упанишадах Самаведы, говорится об этом сокро-

¹ Праджapati — главенствующий над всем существующим — произвел из себя миры с богами и людьми, пространством и временем, мыслью и словом. С дальнейшим развитием религиозно-философской мысли эта роль творца переходила к Атману — Бrame.



венном, изначальном... Дивные это стихи! «Твоя душа — это весь мир», — гласят они. И еще в них говорится, что человек в состоянии сна — глубокого сна — входит в свое сокровенное Я, пребывает в Атмане. Дивная мудрость звучит в этих стихах; все знание мудрейших собрано тут и высказано в магических словах, — чистое, как пчелами собранный мед. Нет, нельзя не относиться с глубочайшим уважением к столь огромным запасам знания, собранным и сохраненным бесчисленными поколениями мудрых браманов. Но где те браманы и жрецы, где те мудрецы и подвижники, которым удалось не только постигнуть, но и воплотить в жизнь это глубочайшее знание? Где тот чародей, который сумел бы это пребывание в Атмане во время сна перенести в бодрственное состояние, в жизнь, в действие, в слово и дело? Многих почтенных браманов знал Сиддхарта. Прежде всего — своего же отца, чистого, ученого, почтеннейшего из почтенных. Достоин преклонения был его отец; кротостью и благородством дышало его обращение, чиста была его жизнь, мудро было его слово, утонченная и возвышенная мысль отражалась на его челе. Но и он — столь много познавший, — видал ли он блаженство? Жил ли он в мире с самим собой, не был ли и он лишь ищущим, жаждущим? Разве не приходилось ему, чтобы утолить свою жажду, снова и снова черпать из священных источников, — из жертвоприношений, из книг, из беседований с браманами? Зачем ему, безупречному, надо каждый день смывать грех, каждый день совершать очищение — каждый день проделывать все сызнова? Разве Атман не живет в нем, разве не течет в его собственном сердце первоисточник? Его-то — этот первоисточник — и надо отыскать в собственном Я. Им-то и надо овладеть. Все





же остальное лишь искание, лишь хождение окольными путями, блуждание.

Таковы были мысли Сиддхарты, вот что его мучило, причиняло страдание.

Часто он повторял слова из одной Упанишады Чанлоджья: «Воистину имя Браммы — Satyam. Воистину тот, кто постиг это, ежедневно вступает в небесное царствие». Подчас оно и ему казалось таким близким, это небесное царствие, но ни разу не удалось ему достигнуть его окончательно, утолить жажду вполне. И среди всех мудрых и мудрейших, которых он знал, поучениям которых внимал, не было ни одного, кто достиг бы вполне этого небесного царства, ни одного, кто утолил бы всецело эту вечную жажду.

— Говинда, — сказал однажды Сиддхарта своему другу, — Говинда, милый, пойдем под банановое дерево — будем упражняться в самопогружении.

И они пошли к банановому дереву и сели под ним — тут Сиддхарта, а в двадцати шагах от него Говинда. И Сиддхарта, садясь, готовый произнести слово «Ом», шепотом повторил стих:

Ом — есть лук, душа — стрела,
А Брама — цель для стрел,
В ту цель попасть старайся ты.

Когда прошло время, посвященное самопогружению, Говинда поднялся с места. Уже наступил вечер, пора было приступить к вечернему омовению. Он окликнул Сиддхарту, но тот не отозвался. Сиддхарта сидел, всецело погруженный в самого себя, — глаза его неподвижно глядели вдаль, кончик языка слегка высунулся между зубов, —



казалось он даже перестал дышать. Так он сидел, погруженный в созерцание, мысля Ом,— и душа его была стрелой, устремленной к Бrame.

Однажды через город, в котором жил Сиддхарта, прошли саманы — три странника-аскета, высохшие, угасшие люди, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и кровью плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и исхудалые шакалы в царстве людей. Знойным дыханием безмолвной страсти веяло от них — дыханием изнуряющего радения, беспощадного самоотрешения.

Вечером, когда миновал час созерцания, Сиддхарта сказал Говинде:

— Друг мой, завтра с рассветом Сиддхарта уйдет к саманам: он станет саманой.

Говинда побледнел, когда услышал эти слова, когда в неподвижном лице друга прочитал решимость — непреклонную, как пущенная из лука стрела. И сразу, с первого же взгляда Говинда понял: «Вот оно — началось! Уже Сиддхарта вступает на свой путь, уже начинает свершаться его судьба, а с нею и моя». И он стал бледен, как сухая кожица банана.

— О Сиддхарта! — воскликнул он. — Позволит ли твой отец?

Сиддхарта взглянул на него, как пробудившийся от сна. С быстротой стрелы он прочел то, что происходило в душе Говинды, прочел его страх, прочел его покорность.

— О Говинда, — сказал он тихо, — не будем расто-





чать напрасно слов. Завтра с наступлением дня я начинаю жизнь саманы. Не будем больше говорить об этом.

И Сиддхарта вошел в горницу, где на плетеной циновке сидел его отец. Он стал за его спиной и стоял так до тех пор, пока отец не почувствовал, что кто-то стоит позади него. И сказал браман:

— Ты ли это, Сиддхарта? Поведай же то, что ты пришел сказать.

И ответил Сиддхарта:

— С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что сердце велит мне завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать саманой — вот в чем мое желание. Да не воспротивится этому отец мой!

Браман молчал — молчал так долго, что звезды успели переместиться в маленьком окошечке и изменить свое расположение, пока в горнице длилось молчание. Безмолвно и неподвижно, со скрещенными руками, стоял сын, — безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец. Звезды же передвигались по небесному своду. И сказал отец:

— Не подобает браману говорить резкие и гневные слова. Но гнева исполнено мое сердце. Да не услышу я эту просьбу из твоих уст вторично.

Медленно поднялся с места браман. Сиддхарта же продолжал стоять, безмолвный, со скрещенными руками.

— Чего же ты ждешь? — спросил отец.

— Ты знаешь! — ответил Сиддхарта.

В гнев покинул горницу отец; в гнев он отыскал свое ложе и опустился на него.

Прошел час, а сон все еще не сомкнул его очей. Тогда браман встал, прошелся по комнате и вышел из дому.

Через маленькое окошечко заглянул он в горницу и увидел, что Сиддхарта стоит на том же месте, скрестив руки, непоколебимый. Белели в сумраке его светлые одежды. С тревогой в душе вернулся отец на свое ложе.

Прошел еще час, а сон все не приходил. Тогда браман снова встал, ходил взад и вперед, вышел из дому и увидал, что луна уже взошла. Через окошечко заглянул он в горницу — Сиддхарта стоял все на том же месте, со скрещенными руками, и лунный свет играл на его обнаженных коленях. И, полон заботы, вернулся отец на свое ложе.

И снова он приходил — через час, через два, заглядывал в маленькое окошечко; Сиддхарта все так же стоял — при свете луны, при свете звезд, в темноте. Каждый час молча браман выходил, заглядывал в горницу, видел неподвижно стоящего, — и сердце его наполнялось гневом, тревогой, трепетом и горем.

Но когда в последний час ночи, перед рассветом, он вышел опять, то вступил в горницу и, взглянув на стоящего юношу, который показался ему выросшим и каким-то чуждым, сказал:

- Чего ты ждешь, Сиддхарта?
- Ты знаешь.
- Ты все будешь стоять так и ждать, пока не наступит день, полдень, вечер?
- Я буду стоять и ждать.
- Ты устанешь, Сиддхарта!
- Устану.
- Ты умрешь, Сиддхарта!
- Умру.
- Ты предпочитаешь умереть, чем слушаться отца?
- Сиддхарта всегда слушался отца.





— Так ты отказываешься от своего намерения?

— Сиддхарта сделает то, что прикажет ему отец.

Первый проблеск зари проник в горницу. Браман увидал, что колени Сиддхарты слегка дрожат. Но в лице Сиддхарты не было дрожи. В бесконечную даль были устремлены его глаза. И понял отец, что Сиддхарта уже не с ним, не в родном доме, что он уже покинул его.

Тогда отец дотронулся до плеча Сиддхарты и сказал:

— Ты пойдешь в лес и станешь саманой. Если в лесу ты обретишь блаженство, приходи научить и меня. Если же постигнет тебя разочарование, вернись, и мы снова будем вместе творить жертвоприношения богам.

Он снял руку с плеча сына и вышел из дому. Сиддхарта пошатнулся, когда сделал первый шаг. Но он овладел своими членами, поклонился отцу и пошел к матери, как велел ему отец.

Когда при первых утренних лучах, медленно, онемевшими ногами он покидал еще спящий город, у последней хижины поднялась какая-то съездившаяся фигура и присоединилась к страннику. Это был Говинда.

— Ты пришел! — сказал Сиддхарта и улыбнулся.

— Я пришел, — сказал Говинда.

У САМАН

Вечером того же дня юноши догнали высохших аскетов-саман и выразили свое желание стать их спутниками и учениками.

Саманы согласились.

Сиддхарта подарил свое платье бедному встреченному по дороге браману. Теперь он имел на себе только



повязку вокруг чресл и кусок материи без швов, землистого цвета, служивший ему плащом.

Пищу он принимал только раз в день и притом лишь такую, которая не была приготовлена на огне.

Он постился пятнадцать дней подряд. Постился двадцать восемь дней. Тело его исхудало, щеки обтянулись. Знойные грозы горели в его ставших огромными глазах. На высохших пальцах выросли длинные ногти, подбородок оброс сухой, вклокоченной бородой. Ледяным становился его взгляд, когда он встречал женщин; уста кривились презрением, когда он проходил через город с нарядно одетыми людьми. Он видел, как торговали купцы, как отправлялись на охоту князя, как родственники оплакивали своих покойников; видел непотребных женщин, предлагающих свои ласки, врачей, хлопчущих у ложа больных, жрецов, назначающих день посева, видел обменивающихся ласками влюбленных, кормящих грудью матерей. Но все это казалось ему не стоящим его взгляда, все это была ложь, смрад, от всего смердело ложью, все имело только видимость смысла, счастья, красоты, на самом же деле было несознаваемым тленом. Горечью отзывалось все в мире. Мукой была вся жизнь.



Одну только, единственную цель ставил себе Сиддхарта: опустошать свою душу, выгравить из нее всякие стремления и желания, всякие грезы, всякие радости и страдания. Умереть для самого себя, перестать быть Я, обрести покой в опустошенном сердце, самоотрешившейся мыслью быть готовым к приятию чуда — такова была эта цель. Когда все личное будет преодолено и умрет, когда смолкнут в сердце все желания и страсти, тогда должно будет проснуться основное, сокровен-



нейшее в человеческом существе, — то, что уже не есть Я, — великая тайна.

Молча выстаивал Сиддхарта под отвесно падающими солнечными лучами, ожигаемый болью, сгорая от жажды, и стоял до тех пор, пока не переставал чувствовать и боль и жажду. Молча стоял он в дождливое время года; с волос его струилась вода на озябшие плечи, на мерзнувшие бедра и ноги, — стоял до тех пор, пока и плечи, и ноги не переставали ощущать холод, пока они не утрачивали всякую чувствительность. Молча садился он среди усеянных шипами растений; из обожженной кожи капала кровь, из нарывов выступал гной, но Сиддхарта продолжал сидеть как пригвожденный, не двигаясь с места, и сидел до тех пор, пока кровь не переставала течь, пока он не чувствовал более ни уколов, ни жжения.

Сиддхарта сидел прямо, как столб, и приучался сбегать дыхание, довольствоваться как можно меньшим количеством воздуха, приучался и совсем задерживать дыхание; вместе с дыханием он приучался замедлять и биение сердца, уменьшать число его ударов, пока сердце почти совсем не переставало биться.

Под руководством старейшего из аскетов Сиддхарта упражнялся в самоотрешении и самопогружении по новым правилам саман. Вот белая цапля пролетела над бамбуковым лесом. И Сиддхарта тотчас же воспринимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, сам становился цаплей, пожирая рыб. голодал вместе с цаплей, кричал голосом цапли, умирал смертью цапли. Мертвый шакал лежал на песчаном берегу, и душа Сиддхарты входила в труп, становилась мертвым шакалом, лежала на берегу, вздувалась, смердела, разлагалась, растерзывалась гиенами и коршунами, превращалась в



скелет, становилась прахом и развеивалась по полю. Но, испытав смерть, разрушение и распыление, изведав мутное опьянение круговорота, душа Сиддхарты возвращалась назад, снова томимая жаждою, и, как охотник, вновь высматривала лазейку, через которую можно было вырваться из круговорота вещей туда, где наступал конец закону причинности, где начиналась чуждая страданию вечность. Он умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память; он ускользал из своего Я в тысячу чужих оболочек, становился животным, падалью, камнем, деревом, водой, но всякий раз, пробуждаясь — при свете ли солнца или в сиянии месяца, — снова находил себя, снова становился Я, носился в круговороте, чувствовал жажду, подавлял ее и вновь томился жаждой.

Многому научился Сиддхарта у саман, много путей узнал он, чтобы уйти от Я. Он научился отрешаться от своего Я путем страдания, добровольным претерпением боли, голода, жажды, усталости. Он достигал самоотрешения и путем размышления, удалением из своего ума всяких представлений. Этими и другими путями он научился достигать желаемого — тысячи раз он покидал свое Я, часами и днями пребывал в Не-Я. Но, хотя этими путями он уходил далеко от Я, конец каждого пути неизменно подводил его обратно к Я. Хотя бы Сиддхарта тысячу раз ускользал от Я, пребывал в «Ничто», пребывал в животном или камне, — неминувшим было возвращение, неизбежно наступал час, когда он снова находил самого себя, — при свете ли солнца, в сиянии ли месяца, в тени или под дождем — снова становился Я и Сиддхартой и снова испытывал муки вынужденного кружения в круговороте.

Рядом с ним подвизался и Говинда, его тень; он шел





теми же путями, подвергал себя тем же истязаниям. Редко говорили они между собою о чем-нибудь ином, помимо того, что требовалось служением и упражнениями. Иногда они вдвоем отправлялись по деревням, чтобы выпрашивать пищу для себя и своих наставников.

— Как ты полагаешь, Говинда, — спросил однажды Сиддхарта, когда они шли побираться, — как ты полагаешь, подвинулись мы вперед? Достигли мы какой-нибудь из наших целей?

На что Говинда ответил:

— Мы учились и продолжаем свое учение. Ты, Сиддхарта, станешь великим саманой. Ты быстро усвоил все упражнения — старые саманы часто восторгались тобой. Ты со временем станешь святым, о Сиддхарта!

Но Сиддхарта заметил на это:

— Я смотрю на дело иначе, друг мой. Всему, чему я доньше научился у саман, я мог бы научиться скорее и более простым путем. В любой харчевне квартала, населенного публичными женщинами, среди извозчиков и игроков в кости я мог бы, о друг мой Говинда, научиться тому же.

И сказал Говинда:

— Ты шутишь, Сиддхарта! Каким образом ты мог бы у таких жалких созданий научиться самопогружению, задерживанию дыхания, нечувствительности к голоду и боли?

И Сиддхарта тихо, словно говоря с самим собой, ответил:

— Что есть погружение? Что означает оставление своего тела? Какой смысл имеет пост или задерживание дыхания? Все это — бегство от Я, все это лишь кратковременное убегание от мук своего бытия, кратковре-



менное самоусыпление, дабы не чувствовать страдания и бессмысленности жизни. Но то же временное освобождение, ту же кратковременную бесчувственность погонщик волов находит на постоялом дворе, когда выпьет несколько чашек рисового вина или перебродившего кокосового молока. Тогда он перестает чувствовать свое Я, перестает чувствовать страдание жизни; на короткое время ему удастся одурманить себя. В своей чаше с рисовым вином, над которой он задремал, он находит то же самое, что находят Сиддхарта и Говинда, когда путем продолжительных упражнений выходят из своей телесной оболочки и пребывают в Не-Я. Вот как обстоит дело, о Говинда!

И сказал Говинда:

— Ты говоришь так, друг, хотя и ты знаешь, что Сиддхарта не погонщик волов, а самана не пьяница. Правда, тому, кто пьет, удастся одурманить себя, он находит временное освобождение и покой, но ведь его самообман проходит, и он убеждается, что все осталось по-старому; он не стал мудрее, не приобрел познаний, не поднялся на высшую ступень.

Но Сиддхарта заметил на это с улыбкой:

— Не знаю, я никогда не напивался, но что я, Сиддхарта, в своих упражнениях и самопогружениях нахожу лишь временное усыпление и так же далек еще от мудрости, от искупления, как ребенок в чреве матери, это-то я знаю, о Говинда, это-то я хорошо знаю...

И в другой раз, когда оба они вышли из лесу, чтоб попросить в деревне для своих братьев и учителей немного пицци, Сиддхарта снова заговорил о том же:

— Ну что же, Говинда, как по-твоему — мы на верном пути? Ближе ли мы стали к познанию и искупле-





нило? Не вертимся ли мы, в сущности, в круте — мы, рассчитывавшие вырваться из круговорота?

И ответил Говинда:

— Многое мы узнали, Сиддхарта, и многое еще остается нам узнать. Нет, мы не вертимся в круте, мы поднимаемся вверх. Наш круг — это спираль, на несколько ступеней мы уже поднялись выше.

И сказал Сиддхарта:

— Сколько, по-твоему, лет старейшему самане, нашему достопочтенному учителю?

Ответил Говинда:

— Лет шестьдесят, верно, будет нашему старшему.

А Сиддхарта на это:

— Шестьдесят лет прожил он на свете, а Нирваны не достиг. Он проживет и семьдесят и восемьдесят. И мы с тобой проживем столько же, будем подвизаться, будем поститься и размышлять, а Нирваны все-таки не достигнем — ни он, ни мы. О Говинда, сдается мне: из всех саман, существующих в мире, быть может, ни один не достигнет Нирваны. Мы тешим себя надеждами, мы приобретаем знания и умения, которыми сами себя дурачим. Но того, что одно только и является существенным, — настоящего пути мы не находим.

— Не говори таких страшных слов, о Сиддхарта! — сказал Говинда. — Возможно ли, чтобы среди стольких ученых мужей, среди браманов и стольких ищущих и подвигающихся святых мужей ни один не нашел настоящего пути?

Сиддхарта же голосом, в котором звучало столько же печали, сколько насмешки, — тихим, немного печальным, немного насмешливым голосом ответил:

— Скоро, о Говинда, друг твой оставит стезю саман,



по которой так долго шел вместе с тобой. Я томлюсь жаждой, о Говинда, а на этом долгом пути, пройденном вместе с саманами, я ни капли не утолил этой жажды. Все время я жаждал познания, все время меня осаждали вопросы. Год за годом расспрашивал я браманов, вопрошал священные Ведаы, обращался к благочестивым саманам — год за годом... Быть может, о Говинда, было бы столь же умно и целесообразно обращаться с такими вопросами к птице-носорогу или шимпанзе. Сколько времени я потратил и все еще трачу на учение, а пришел лишь к тому выводу, что ничему нельзя научиться. Мне кажется, нет ничего такого, что мы называем «учением»: есть только, о друг мой, знание, и оно везде, оно — Атман, оно во мне и в тебе, и в каждом существе. И у меня является мысль, что этому знанию ничто так не враждебно, как желание знать, как учение.

Но тут Говинда остановился среди дороги, воздел руки к небу и проговорил:

— Не пугай, о Сиддхарта, своего друга такими речами! Воистину, твои слова пробуждают тревогу в моем сердце. Подумай только: к чему же тогда все благочестивые молитвы, к чему высокопочтенное сословие браманов, что толку в святости саман, если, как ты говоришь, ничему нельзя научиться? Что же, Сиддхарта, станется со всем, что на земле почитается священным, ценным, достойным уважения?

И Говинда тихо, про себя, проговорил стих их Упанишад:

Кто мыслями, с чистой душой, погрузится в Атмана,
Словами не выразить сердца его блаженство.





Сиддхарта же молчал. Он обдумывал слова, сказанные ему Говиндой, и старался продумать их до конца.

— Да, — размышлял он, стоя с опущенной головой, — что же в таком случае остается от всего, что кажется нам священным? Что вообще остается? Что сохраняет свое значение?

И он покачал головой.

Однажды, когда оба юноши пробыли уже около трех лет у саман, разделяя с ними их подвижническую жизнь, до них какими-то путями дошла не то подлинная весть, не то слух, молва: будто явился некто, прозванный Готамой, Возвышенным Буддой, и будто этот некто преодолел в себе страдания мира и остановил колесо возрождений. Окруженный учениками, он странствует по земле, возвещая свое учение, — нищий, не имеющий ни дома, ни жены, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, блаженный. И браманы и князья склоняются перед ним и становятся его учениками.

Эта молва, этот слух, эта сказка то и дело возникали вновь, звучали то здесь, то там. В городах об этом говорили браманы, в лесу саманы. Снова и снова имя Готамы-Будды доходило до юношей, поминаемое то добром, то злом, сопровождаемое то славословиями, то хулой.

Подобно тому, как в стране, опустошаемой чумой, когда возникнет слух, что там-то и там-то находится человек, мудрец, ученый, который одним только словом или дуновением уст своих в состоянии излечить всякого, заболевшего чумой, — слух этот быстро разносится повсюду, все говорят о нем: одни с верой, другие с сомнением, третьи же тотчас же пускаются в путь, чтобы разыскать этого мудреца, этого спасителя, — так точно пронеслась по стране эта благоуханная молва о Готаме-



Будде, мудреце из рода Сакия. Этот Будда, по словам верующих, обладал высшим знанием: он сохранил память о своих прежних существованиях, он достиг Нирваны и никогда больше не должен будет вернуться в круговорот, никогда не погрузится вновь в мутный поток перевоплощений. Много чудного и невероятного рассказывалось о нем — будто он творит чудеса, будто он поборол дьявола и беседует с богами. Враги же и неверующие говорили, что этот Готама — тщеславный совратитель, что он проводит свои дни в излишествах, презирает жертвоприношения, что он не обладает никакой ученостью, не признает подвижничества и истязания плоти.

Дивно звучала молва о Будде, какими-то чарами веяло от рассказов о нем. Ведь мир в самом деле страдал недугом. Тяжелым бременем была жизнь, а тут, в этой молве, словно забил целебный родник, зазвучала благая весть, полная утешений и высоких обетований. Везде, куда только проникал слух о Будде, во всех странах Индии юноши приходили в возбуждение, сердца их наполнялись томлением и надеждой. В городах и селах сыновья браманов радушно принимали всякого странника и пришельца, если он приносил какую-нибудь весть о нем, о Возвышенном, о Сакия-Муни.

И к саманам в лесу, к Сиддхарте и Говинде, проникла эта весть, — проникала медленно, по капле, и каждая капля была чревата надеждой, каждая капля была чревата сомнением. Между собой оба друга мало говорили об этом, так как старейший из саман относился неприязненно к этой молве. Он слышал, что этот якобы Будда раньше был аскетом и жил в лесу, но потом вернулся к мирской жизни и наслаждениям, и это внушило ему дурное мнение о Готаме.





— О Сиддхарта, — сказал однажды Говинда своему другу, — я сегодня был в деревне, и один браман предложил мне войти к нему в дом. Там оказался сын брамана из Магадхи, который видел Будду собственными глазами и слышал его проповедь. Поистине, у меня дыхание сперлось в груди, и я подумал: «О, если бы и я, если бы мы оба, Сиддхарта и я, сподобились услышать учение из уст Того Совершенного!» Скажи, друг мой, не пойти ли и нам туда, чтобы послушать проповедь самого Будды?

И ответил Сиддхарта:

— Я всегда, о Говинда, полагал, что ты останешься у саман, всегда думалось мне, что ты мечтаешь лишь о том, чтобы прожить свои шестьдесят или семьдесят лет, все более совершенствуясь в тех знаниях и подвигах, которые украшают саману. И что же? Оказывается, что я слишком мало знал Говинду, мало проникал в сердце, оказывается, что ты, дорогой, хочешь вступить на новую стезю и идти туда, где Будда возвещает свое учение.

— Тебе угодно насмехаться надо мной — что ж, смейся, Сиддхарта! Но разве и в тебе не проснулось желание услышать это учение?.. И не ты ли когда-то говорил мне, что уже не долго будешь ходить по стезе саман?

Тогда Сиддхарта засмеялся своим особенным, ему одному свойственным смехом и голосом, в котором звучала и легкая печаль, и легкая насмешка, сказал:

— Ты прав, Говинда. Верно то, что ты говоришь, и верно ты запомнил мои слова. Но припомни и другое, сказанное мною тогда же, — а именно: что я утратил веру во всякие учения и проповедь, что у меня мало доверия к словам, которые мы слышим от учителей. Но все-таки, милый, я готов услышать проповедь Будды, хотя сердце



говорит мне, что лучший плод его учения мы уже вкусили.

Говинда же сказал:

— Твоя готовность радует мое сердце. Но скажи, как понять твои слова? Каким образом мы могли вкусить лучший плод от учения Готамы еще раньше, чем услышали самое учение?

И сказал Сиддхарта:

— Будем наслаждаться этим плодом и ждать дальнейшего, о Говинда! Плод же, которым мы и теперь уже обязаны учению Готамы, заключается в том, что оно побуждает нас покинуть саман... Даст ли оно нам еще иное и лучшее, о друг мой, покажет будущее — будем ждать этого со спокойным сердцем.

В тот же день Сиддхарта сообщил старшему из саман, что они порешили уйти от них. Он высказал это решение с почтительностью и скромностью, какие подобают младшему и ученику по отношению к старшему, но самана рассердился, что оба юноши хотят оставить его, возвысил голос и осьпал их грубыми бранными словами.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхарта же подошел к нему близко и шепнул на ухо:

— Сейчас я покажу старику, что кое-чему научился у него.

И, подойдя вплотную к самане, с сосредоточенной душой, он взглянул ему прямо в глаза, приковал к себе его взгляд, заставил его замолкнуть, подчинил его воле своей и мысленно приказал ему сделать то, чего он желал от него. И старик замолк, взгляд его стал неподвижен, воля была парализована, руки повисли бессильно — он всецело подпал очарованию Сиддхарты. Мысль же пос-





ледного овладела аскетом, и тот должен был совершить то, что она внушала ему. И вот старик стал отвешивать поклоны, делать благословляющие жесты и бормотать напутственные пожелания. Юноши же ответили поклоном на поклоны, поблагодарили за добрые пожелания и ушли прочь.

По дороге Говинда заметил:

— О Сиддхарта, ты вынес от саман гораздо больше, чем я ожидал. Трудно, очень трудно зачаровать старого саману. Поистине, если бы ты остался у них, то скоро научился бы ходить по воде.

— У меня нет никакого желания ходить по воде, — сказал Сиддхарта. — Пусть старые саманы тешат себя подобными шутками!

ГОТАМА

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды; в каждом доме с готовностью наполняли чашу для сбора подаяний, безмолвно протягиваемую учениками Готамы. Близко от города находилось любимое местопребывание Готамы, роща Джетавана, которую богатый купец Анатхапиндика, ревностный почитатель Возвышенного, подарил ему и его ученикам.

В эти места и направляли все рассказы и ответы, которые оба молодых аскета получали на свои расспросы о местопребывании Готамы. И когда они прибыли в Саватхи, то в первом же доме, перед которым они остановились, прося подаяния, им предложили пищу. Они приняли угощение, и Сиддхарта спросил женщину, подававшую ему кушанье:

— Велико наше желание, о милосердная, узнать, где



пребывает Будда Достопочтеннейший. Мы оба саманы и пришли из лесу, чтобы увидеть его, Совершенного, и услышать учение из его собственных уст.

И женщина ответила:

— Поистине, в надлежащее место попали вы, саманы из лесу. Знайте, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает Возвышенный. Там вы, странники, можете и ночь провести — там достаточно места для всех тех бесчисленных, что стекаются сюда, чтобы внимать поучениям Возвышенного.

Тогда обрадовался Говинда и радостно воскликнул:

— Итак, наша цель достигнута и путь наш кончен! Но скажи нам, о мать, странствующим, знаешь ли ты его, Будду, случилось ли тебе видеть его собственными глазами?

— Много раз видела я Возвышенного, — ответила женщина. — В иные дни я вижу, как он проходит по улицам, безмолвно, в желтом плаще, как он молча протягивает у дверей домов свою чашу для подающих, как он уносит наполненную чашу.

С восторгом прислушивался к ее словам Говинда. Он готов был еще долго расспрашивать и слушать ее, но Сиддхарта заторопил его продолжать путь. Они поблагодарили и пошли дальше, не имея даже надобности расспрашивать о дороге, так как немало странников и монахов из общины Готамы направлялись туда же, в Джетавану. И хотя они прибыли туда ночью, но в роще еще царило большое оживление: то и дело прибывали новые люди, слышались возгласы, разговоры и рассказы о пристанище. Оба самана, привыкшие к жизни в лесу, скоро и бесшумно отыскивали себе местечко для ночлега и проспали там до самого утра.





Когда взошло солнце, они с изумлением увидели, какая огромная толпа верующих и любопытных провела тут ночь. По всем дорожкам чудной рощи расхаживали монахи в желтом одеянии; другие сидели под деревьями, погруженные в созерцание или занятые духовной беседой. Похожим на город был этот тенистый парк, в котором люди кишели, как пчелы в улье. Большинство монахов направилось в город с чашами для подаяний, чтобы собрать припасов для полуденной трапезы, единственной в течение дня. Сам Будда, Просвещенный, отправлялся по утрам за сбором подаяний.

Сиддхарта увидел его и тотчас же, точно по наитию свыше, узнал. Он увидел тихо идущего скромного человека в желтой рясе, с чашей для подаяний в руках.

— Взгляни туда, — тихо сказал Сиддхарта Говинде, — вон идет Будда!

Говинда внимательно взглянул на монаха в желтой рясе, с виду как будто ничем не отличавшегося от сотен других монахов. И скоро также сказал себе:

— Это он!

И оба пошли влед за Буддой, не спуская с него глаз.

Будда шел своей дорогой со скромным видом, погруженный в думы. Его спокойное лицо не было ни радостно, ни грустно, оно как будто освещалось улыбкой изнутри. Со скрытой улыбкой, тихо, спокойно, напоминая здоровое дитя, шел вперед Будда, нося свое одеяние и ставя ногу так же, как и все его монахи, по точно предписанным правилам. Но лицо его и походка, его тихо опущенный взор, его тихо свисающая рука и даже каждый палец на этой тихо спущенной руке дышали миром, дышали совершенством. В них не чувствовалось никаких исканий, никакой подражательности, от них веяло



кроткой, неувядаемой безмятежностью, неугасаемым светом, нерушимым миром.

Так шел Готама, направляясь в город за подаванием, и оба саманы узнали его по одному только этому безграничному спокойствию, по безмятежности всей его внешности, в которой не было заметно никаких исканий и желаний, ничего деланного и принужденного, в которой все было — свет и мир.

— Сегодня мы услышим учение из собственных его уст!— сказал Говинда.

Сиддхарта оставил это замечание без ответа. Он не особенно интересовался самим учением. Он не ожидал услышать что-нибудь новое — ведь ему, так же как и Говинде, уже не раз приходилось слышать о содержании проповеди Будды, хотя и в передаче из вторых и третьих уст. Но он внимательно глядел на голову Готамы, на его плечи, ноги, на тихо опущенную руку, и ему казалось, что каждый сустав на каждом пальце этой руки учил, говорил, дышал, благоухал, сияя правдой. Этот человек, этот Будда, был правдив до кончика ногтей. Этот человек был святой. Никогда Сиддхарта не испытывал по отношению к другому человеку такого благоговения; ни один человек не внушал ему такой любви.

Оба юноши следовали за Буддой до самого города и молча вернулись назад, так как намерены были в этот день воздержаться от пищи. Они дождались возвращения Готамы, видели, как он вкушал трапезу в кругу своих учеников — даже птичка не насытилась бы тем, что он съел, — видели, как он удалился под сень манговых деревьев.

А вечером, когда жара спала и лагерь оживился, все собрались вокруг Будды. Тогда и они слышали его про-





поведь. Они прислушивались к его голосу. И даже самый голос его был совершенен, звучал совершенным спокойствием, был полон мира. Готама излагал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его тихая речь. Страданием была жизнь, полон страданий был мир, но избавление от страдания найдено: спасется от него тот, кто пойдет путем Будды. Кротким, но твердым голосом говорил Возвышенный, излагая свои четыре главные истины, излагая восьмеричный путь к искуплению. Терпеливо шел он обычным путем поучений — путем примеров и повторений. Ясно и тихо парил его голос над слушателями — как свет, как звездное небо.

Когда Будда, с наступлением ночи, закончил свою проповедь, некоторые из прибывших странников выступили вперед и высказали свое желание вступить в общину и стать его учениками. И Готама принял их, говоря:

— Вы слышали учение, слышали, чего оно требует. Придите же к нам и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И тут — о диво — выступил Говинда, всегда такой робкий, и со словами: «И я прибегаю к Возвышенному и его учению» — попросил принять его в среду учеников, и был принят.

Вслед за тем, так как Будда удалился для ночного отдыха, Говинда горячо обратился к Сиддхарте:

— Сиддхарта, не подобает мне делать тебе упреки. Оба мы слышали Возвышенного, слышали его учение. Говинда внял ему и стал его учеником. Ты же, столь почитаемый мною, неужели не хочешь идти по стезе спасения? Неужели ты еще колеблешься, хочешь обождать?

Сиддхарта словно пробудился от сна, услышав слова

Говинды. Долго глядел он в лицо друга. Потом тихо, без малейшей насмешки в голосе, произнес:

— Говинда, друг мой, наконец-то ты сделал решительный шаг, наконец-то сам избрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был лишь моим другом, всегда шел только следом за мной. Часто думалось мне: неужели Говинда не сделает шага самостоятельно, без меня, по собственному почину? И вот ты возмужал наконец и сам избираешь свой путь. Да пройдешь ты его до конца, о мой друг! Да обретешь ты на нем спасение!

Но Говинда, не совсем поняв его слова, повторил свой вопрос тоном нетерпения:

— Отвечай же, прошу тебя, мой милый. Скажи мне, хотя иначе и быть не может, что и ты, мой ученый друг, изберешь своим прибежищем Возвышенного Будду¹.

Тогда Сиддхарта положил свою руку на плечо Говинды:

— Ты не расслышал моего напутственного пожелания, о Говинда. Я повторю его. Да удастся тебе пройти этот путь до конца! Да обретешь ты на нем спасение!

Тут только понял Говинда, что друг покинул его, и залился слезами.

— Сиддхарта! — жалобно воскликнул он.

Сиддхарта же ласково сказал ему:

— Не забывай, Говинда, что ты отныне принадлежишь к саманам Будды. Ты отрекся от родины и родных, от своего сословия и собственности, отрекся от собственной воли, отрекся от дружбы. Так требует устав, так требует Возвышенный. Ты сам захотел этого! Завтра, о Говинда, я расстанусь с тобой.



¹ «Я обращаюсь к прибежищу Будды, [его] учения и общины» — сакраментальная фраза, которую должен был произносить каждый при вступлении в число монахов, учеников Будды.



Долго еще оба друга ходили по роще, долго лежали они, не находя сна. И снова и снова Говинда умолял друга сказать ему, почему он не хочет обратиться к учению Готама, какой недостаток он находит в этом учении.

Сиддхарта же на все просьбы отвечал словами:

— Успокойся, Говинда, учение Возвышенного превосходно, как могу я находить в нем недостатки?

Рано утром один из старейших монахов, последователей Будды, обходил парк, сзывая всех новопоступивших учеников, чтобы облачить их в желтые рясы и наставить в первых правилах и обязанностях их нового знания. Тогда Говинда сделал над собою усилие, еще раз обнял своего друга молодости и присоединился к шестью послушников.

Сиддхарта в глубокой задумчивости стал прохаживаться по роще. Тут навстречу ему попался Готама, и после почтительного приветствия, ободренный взглядом Будды, полным доброты и кротости, юноша попросил у Возвышенного позволения говорить с ним. Безмолвным наклонением головы тот выразил согласие.

Тогда Сиддхарта сказал:

— Вчера, о Возвышенный, я имел счастье слушать твое дивное учение. Вместе с моим другом я прибыл издалека, чтобы услышать его. И вот мой друг остается с твоими учениками, он принял твое учение. Я же снова отправляюсь в странствие.

— Как тебе угодно, — учтиво заметил Возвышенный.

— Слишком смела моя речь, — продолжал Сиддхарта, — но мне не хотелось бы уходить от Возвышенного, не высказав перед ним с полной искренностью своих мыслей. Соболаговолит ли Достопочтенный уделить мне еще минуту внимания?

Будда молча кивнул головой в знак согласия.

— Одно, о Возвышенный, — продолжал Сиддхарта, — в особенности восхищает меня в твоём учении. Это его совершенная ясность и убедительность. Цельной, нигде и никогда не прерываемой цепью рисуешь ты мир, вечную цепью, сплетенной из причин и последствий. Никогда и никем эта мысль не была так ясно осознана, так бесспорно доказана. Поистине, сильнее должно забиться в груди сердце каждого брамана, когда он, при свете твоего учения, увидит, что все в мире неразрывно связано между собой, что в нем нет пробелов, все ясно, как хрусталь, и ничто не зависит от случая, но зависит от произвола богов. Хорош ли этот мир или нет, есть ли жизнь в нем страдание или благо — это остается вопросом. Быть может, оно и не существенно. Но единство мира, взаимная связь всех явлений, одинаковая подчиненность всего, как великого, так и малого, одному и тому же закону причинности, возникновения и смерти — все это ярко выступает в твоём возвышенном учении, о Совершенный. Но это единство и естественная преемственность всех вещей, судя по твоему же учению, все же прерывается в одном месте. Через один маленький пробел в этот мир единства вторгается нечто чуждое и новое, чего раньше не было и чего нельзя ни показать наглядно, ни доказать словами — это именно твоё учение о преодолении мира, об искуплении. Однако, благодаря этому маленькому пробелу, этому маленькому прорыву, этот вечный, проникнутый единством мировой закон разбивается и теряет силу. Прости, что я высказываю это возражение.



Тихо, бесстрастно выслушал его Готама. Своим кротким, благожелательным и ясным голосом ответил ему Совершенный:

— Ты слушал учение, о сын брамана, и благо тебе,



что ты так глубоко вникал в него. Ты нашел в нем пробел, ошибку. Продолжай и дальше вдумываться в него. Но избегай, любознательный, дебрей мнений и споров из-за слов. Не в мнениях дело, каковы бы они ни были — прекрасны или безобразны, умны или нелепы, каждый волен соглашаться с ними или отвергать их. Но учение, которое ты слышал от меня, не мнение, и не в том его цель, чтобы объяснить мир для людей любознательных. Его цель иная — искупление, избавление от страданий. Вот чему учит Готама, — и ничему иному.

— Да не прогневаешься на меня Возвышенный, — сказал юноша. — Не затем, чтобы спорить, препираться из-за слов, я позволил себе так говорить с тобой. Воистину, ты прав, не во мнениях дело. Но позволь мне заметить еще одно: ни на одно мгновение я не усомнился в тебе. Ни на одно мгновение не возникало во мне сомнение в том, что ты Будда, что ты достиг той высшей цели, к какой стремятся столько тысяч браманов и сыновей браманов. Ты наше спасение от смерти. Ты достиг этого собственными исканиями, собственным, тобой самим пройденным путем — размышлением, самоуглублением, познаванием, просветлением. Но не принятием какого-нибудь чужого учения. И моя мысль, о Возвышенный, такова — никому не достичь спасения благодаря какому бы то ни было учению. Никому, о Достопочтенный, не сумеешь ты передать и высказать словами и поучениями, что испытал ты в час просветления. Многое содержит в себе учение просвещенного Будды, многих оно научит жить по правде, избегать зла. Но одного нет в этом столь ясном, столь высоком учении — в нем не раскрыта тайна того, что Возвышенный пережил сам, он один среди сотен тысяч. Вот что думалось и выяснилось мне, когда я слушал тебя. И вот причина, почему я снова

пускаюсь в странствие. Не затем, чтобы искать другого, лучшего учения — такого, я знаю, нет, — а затем, чтобы порвать со всеми вообще учениями и учителями и одному либо достигнуть своей цели, либо погибнуть. Но часто буду я вспоминать, о Возвышенный, тот день и час, когда мои очи зрели святого.

Глаза Будды смотрели в землю; тихим, совершеннейшим бесстрашием сияло его непроницаемое лицо.

— Пусть твои мысли, — медленно проговорил он, — не окажутся заблуждениями. Желая тебе достигнуть своей цели. Но скажи мне: видел ли ты толпу моих саман, моих многочисленных братьев, прибегнувших к учению? И думаешь ли ты, чужой самана, что для них всех было бы лучше отказаться от этого учения и вернуться к мирской жизни с ее страстями?

— Далека от меня подобная мысль! — воскликнул Сиддхарта. — Пусть они все остаются верными учению, пусть достигают своей цели! Не подобает мне судить других. Только для себя, для себя одного, я должен составить себе суждение, должен избрать одно, отказаться от другого. Мы, саманы, ищем избавления от Я. Если бы я стал одним из твоих учеников, о Возвышенный, то боюсь, мое Я только с виду успокоилось бы, нашло бы только призрачное искупление, в действительности же продолжало бы жить и даже выросло бы еще более, ибо тогда самое учение и моя приверженность к нему, моя любовь к тебе и общность монахов стали бы моим Я.

С полуулыбкой, с непоколебимой ясностью и приветливостью во взоре Готама взглянул чужаку в глаза и попрощался с ним едва заметным движением.

— Ты умен, мой друг, — сказал Возвышенный, — и умно умеешь говорить! Остерегайся, однако, чрезмерного умствования.





И дальше проследовал Будда, но взгляд его и улыбка навсегда запечатлелись в памяти Сиддхарта.

«Никогда, ни у одного человека я не видал такого взгляда, такой улыбки, — думал Сиддхарта, — никогда не видал я, чтобы кто-нибудь так сидел и ступал, как он. Желал бы и я быть в состоянии так глядеть и улыбаться, сидеть и ходить — так непринужденно и величаво, так сдержанно и открыто, так детски-просто и таинственно. Поистине, так может смотреть, ступать только человек, проникший в сокровенную глубину своего Я. Ну, что ж — постараюсь и я достигнуть того же!»

«Одного только человека видел я, — продолжал свои размышления Сиддхарта, — одного-единственного, перед которым я должен был опустить глаза. Ни перед кем больше я не стану опускать глаз! Ни одно учение уже не может соблазнить меня, раз я не поддался учению этого человека.»

«Многое отнял от меня Будда, — думал Сиддхарта, — многого лишил он меня, но еще больше подарил мне. Он отнял у меня друга, человека, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Готамы. Но зато он подарил мне Сиддхарту, подарил меня самого...»

ПРОБУЖДЕНИЕ

Покидая рощу, где пребывал Будда и где оставался его друг, Сиддхарта почувствовал, что в этой же роще он оставил за собой и всю свою прежнюю жизнь, что он навсегда расстался с нею. И это ощущение так захватило его, что он ни о чем более не мог думать. Медленно продолжая свой путь, он старался разобраться в самом

себе. Словно человек, нырнувший в глубокую воду, он опустился на самое дно этого ощущения, к его причинам, ибо в выяснении причин, полагал он, и состоит цель мышления; только путем такого выяснения ощущение становится познанием и не улетучивается, а приобретает сущность и начинает излучать тот свет, который в нем заключается.

Медленно продолжая свой путь, Сиддхарта предавался размышлениям. Прежде всего он установил, что уже перестал быть юношей, что он возмужал. Установил, что, подобно змею, сбрасывающей с себя старую кожу, освободился от того, что существовало в нем, что сопутствовало ему в течение всей его молодости — от желания иметь наставников и учиться у других. Последнего учителя, встреченного им на своем пути, даже его, величайшего и мудрейшего из учителей, святейшего Будду, он покинул: он должен был уйти от него, не мог принять его учения.

И, еще более замедля свои шаги, погруженный в свои мысли, Сиддхарта спрашивал себя:

«Чему же, собственно, ты хотел научиться от учителей и из их учений, и чему именно, сколько тебя ни учили, они все-таки не сумели научить тебя?»

И пришел к заключению:

«Познать Я, его смысл и сущность — вот чего я добивался. Я хотел отрешиться от этого Я, побороть его. Но не смог. Я мог только обманывать его, убежать от него. Поистине, ничто в мире не занимало в такой степени мои мысли, как это мое Я, как та загадка, что я живу, что я представляю отдельное, обособленное от всех других существо, что я — Сиддхарта. И ни о чем другом в мире я не знаю так мало, как о себе — о Сиддхарте».





Погруженный в размышления, медленно подвигающийся вперед странник остановился, пораженный этой мыслью, и тотчас же из последней выскочила новая мысль, следующая: «То, что я ничего не знаю о самом себе, что Сиддхарта остался для меня таким чуждым и неизвестным, обусловлено одной только причиной: я боялся самого себя, я убегал от самого себя. Я искал Атмана, искал Брахму, я стремился разобрать свое Я по частям, очистить его от всех оболочек, чтобы отыскать в его неизведанной глубине ядро всех этих оболочек — Атмана, жизнь, Божественное, первооснову. Но себя-то самого я при этом потерял...»

Сиддхарта поднял глаза и оглянулся кругом. Улыбка заиграла на его лице, и все его существо пронизало такое чувство, точно он пробудился от долгого сна. Он двинулся дальше, но теперь он шел бодрым скорым шагом, как человек, знающий, что ему нужно делать.

«О, — думал он, вздохнув с облегчением, — теперь я не дам больше Сиддхарте ускользать от меня. Не стану больше посвящать все свои мысли и жизнь Атману и страданиям мира. Не стану больше умерщвлять и разрушать себя, чтобы найти за развалинами какую-то тайну. Ни Йога-Веда, ни Атхарва-Веда или какое-либо другое учение не будет больше руководить мною. К самому себе я поступлю в учение, у самого себя я буду изучать тайну, именуемую Сиддхартой».

Он стал оглядываться кругом, словно в первый раз увидел мир. Как прекрасен был этот мир, как разнообразен, как странен и загадочен был мир! Пестрели синие, желтые, зеленые краски, текли небо и река, поднимались лес и горы, — все было так прекрасно, загадочно и волшебну, а посреди всего этого великолепия — он,

Сиддхарта, пробуждающийся, на пути к самому себе. И все это — все это желтое и голубое. лес и река — впервые лишь входило в Сиддхарту через глаза, — все это больше не было чарами Мара¹ или покрывалом Майи², не было больше бессмысленной и случайной множественностью мира явлений, столь презренной в глазах глубоко мыслящего брамана, который пренебрегает множественностью и ищет единства. Синее было синим, река была рекой, и хотя и в голубом, и в реке, и в Сиддхарте пребывало в скрытом виде единое и божественное, но ведь в том именно и заключалось свойство и смысл божественного, чтобы здесь быть желтым или синим, там — небом или лесом, а тут Сиддхарттой. Смысл и сущность были не где-то вне вещей, а в ней, а в них самих, во всем.

«До чего же я был глух и туп! — думал Сиддхарта, быстро идя вперед. — Если кто-нибудь, читая рукопись, хочет доискаться ее смысла, то не станет же он презирать знаки и буквы и называть их обманом, случайностью, ничего не стоящей оболочкой. Нет, он будет разбирать и изучать их с любовью, букву за буквой. Я же, желавший прочесть книгу моего собственного существа, я, ради какого-то заранее предположенного смысла, смотрел с пренебрежением на знаки и буквы; я называл мир явлений призрачным, называл свои глаза, свой язык — случайными, лишеными всякой ценности явлениями. Нет, теперь всему этому конец! Я проснулся. Я в самом деле проснулся. Я как будто сегодня только родился».



¹ Мара (от корня mar — «умереть») — первоначально бог смерти, превратился ко времени Будды в образ искушителя, возбуждающего тщеславие и жажду наслаждений, враждебного познанию».

² Майя — сила заблуждения, благодаря которой обманчивый при зрак созданного мира кажется чем-то существующим.



Но, дойдя до этого пункта в своих размышлениях, Сиддхарта внезапно остановился, словно увидел под ногами змею.

Ибо внезапно ему ясно стало еще одно: раз он действительно как бы проснулся или родился вновь, то должен начинать жизнь сызнова, начинать ее с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавану, рощу Возвышенного, уже наполовину проснувшийся, уже по пути к самому себе, то у него было намерение — и оно казалось ему таким естественным, само собой понятным — вернуться на родину к своему отцу. Но теперь, в ту самую минуту, когда он остановился, словно увидел на дороге змею, в нем проснулось и сознание: «Да ведь я уже не тот, чем был. Я уже не аскет, не жрец, не браман. Что же я стану делать дома, у отца? Изучать священные книги? Приносить жертвы? Упражняться в самоуглублении? Да ведь с этим всем уже покончено, всего этого уже не будет на моем пути».

Словно окаменев, стоял Сиддхарта на одном месте. На миг сердце его остановилось; он почувствовал, как оно, словно маленькая птичка или зверек, похолодело и сжалось в груди при мысли о том, до чего он одинок. В течение многих лет он жил без родины и не чувствовал этого. Теперь он почувствовал. Все это время, как бы он ни отрешался от самого себя, он оставался сыном своего отца, оставался браманом, человеком высокого звания, ученым. Теперь же он был только Сиддхартой, правда, проснувшимся, но ничем больше. Он глубоко перевел дух и вздрогнул от холода. Никто не был так одинок, как он. Всякий человек благородного звания, всякий ремесленник принадлежал к своему сословию, находил у таких же, как он, благородных или ремесленников, убежи-



ще, делил их жизнь, говорил их языком. Не было такого брамана, который бы не причислял себя к браманам, не жил бы в их обществе, — не было такого аскета, который не нашел бы прибежища в среде саман. Даже наиболее уединившийся от людей лесной отшельник не бывает совершенно одинок; и он имеет общение с подобными ему, и он принадлежит к известному классу, заменяющему ему родину. Говинда стал монахом, и тысячи монахов стали его братьями; они носили такое же, как он, платье; имели такую же, как он, веру; говорили таким же, как он, языком. Но он, Сиддхарта, кому же он близок? Чью жизнь будет он разделять? С кем у него общий язык?

Из этого мгновения, когда окружающий мир как бы растаял и отошел от него, когда он стоял одинокий, как звезда на небе, — из этого мига душевного холода и упадка духа Сиддхарта вынырнул с резче выраженным, чем раньше, крепче сжавшимся Я. Это был последний — он чувствовал это — трепет пробуждения¹, последняя судорога рождения. Вслед затем он снова двинулся в путь и зашагал быстро и нетерпеливо — но не домой, не к отцу, не к старой жизни.



¹ Пробуждение — одно из главных понятий в философии Г. Гессе, означающих начало приобщения человека к Всединству. Примерно то психическое состояние, которое мы называем «вторым рождением».

***Вильгельму Гундерту,
моему двоюродному брату,
посвященному в Японию***



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КАМАЛА

С каждым шагом на своем пути Сиддхарта узнавал что-нибудь новое — ибо мир принял теперь в его глазах совсем иной вид, и все в нем очаровывало его сердце. Он видел, как солнце вставало над покрытыми лесом горами и опускалось за пальмами отдаленного морского берега. Ночью он видел на небе стройное движение звезд и серповидный месяц, плывший, как ладья, по синеве неба. Видел деревья, звезды, животных, облака, радуги, скалы, травы, цветы, ручьи и реки, видел, как сверкала на кустах утренняя роса, как синели и белели отдаленные высокие горы. Птицы распевали, пчелы жужжали, и ветер кольхал серебристые рисовые поля. Все это, со всем своим многообразием и пестротой, существовало всегда. И раньше светили солнце и луна, шумели реки и жужжали пчелы. Но раньше все это было для Сиддхарты лишь мимолетным и обманчивым видением, мелькавшей перед его глазами завесой, на которую надо смотреть с недоверием, которая на то и существует, чтобы быть сорванной и уничтоженной мышлением, так как она не была сущностью, так как сущность пребывала по ту сторону доступного зрению, видимого. Теперь же его раскрывшиеся глаза останавливались на всем, что лежало





по эту сторону; они видели и познавали видимое, искали родины в этом мире, не искали сущностей вещей, не стремились в потусторонний мир. И как прекрасен мир, когда глядишь на него таким образом — так просто, так по-детски, без всяких исканий! Прекрасны месяц и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и утесы, козы и золотые жуки, цветы и бабочки. Как славно, как чудесно ходить по белу свету с детской ясностью и бодростью во взгляде, с душой, раскрытой для всего близкого, чуждой недоверия! Не так палило теперь солнце голову, иначе прохлаждала лесная тень, иной вкус имели вода в ручье и цистерне, бананы и дыни. Короткими казались дни и ночи; каждый час быстро мелькал, словно парус на море, а под парусом плыло судно, наполненное сокровищами, наполненное радостью. Сиддхарта видел целое племя обезьян, куда-то перебиравшееся под высоким сводом леса, по самым верхним ветвям, слышал их дикое похотливое пение. Сиддхарта видел, как баран преследует овцу и овладевает ею. Он видел, как в поросшем тростником озере охотится терзаемая вечерним голодом щука, как в страхе убегает от нее молодая рыба, выскакивая из воды, сверкая на воздухе чешуей. Силой и упорною страстью веяло от быстро расходившихся кругов, поднятых на воде стремительным преследованием охотника. Все это всегда было, да он-то ничего не замечал — он был слишком далек от всего этого. Но и теперь его интересовало все, что его окружало, он сам был частицей окружающего мира. Через его глаза проносились и свет и тень, месяц и звезды проходили через его сердце.

Дорогою Сиддхарта припоминал все то, что пережил в саду Джетавана: ученье, которое он слышал там, божественного Будду, прощание с Говиндой, разговор с Возвышенным. Вспомнилось ему каждое слово, сказан-



ное им Будде, и с изумлением он заметил, что высказал тогда мысли, которых в сущности еще не сознавал хорошенько. Ведь он сказал Готама — что его, Будды, сокровище и тайна не в учении, а в том невыразимом и непередаваемом словами, что им когда-то пережито было в минуту просветления. Но ведь он затем именно и идет теперь в мир, чтобы пережить подобное же самому; да он уже и сейчас начал переживать это. Самого себя он должен теперь переживать. Правда, давно уже он знал, что его Я — есть Атман, что оно той же вечной субстанции, как и Брама. Но никогда на самом деле он не находил этого Я, потому что хотел уловить его в сеть мысли. Если, бесспорно, не тело было этим Я и не игра чувств, то им не были также ни мысль, ни ум, ни заимствованная от других мудрость, ни таким же путем приобретенное искусство выводить заключения, ткать из продуманного новые мысли. Нет, и мир мыслей принадлежит еще к посюстороннему, и нет никакой пользы убивать случайное Я чувств, чтобы взамен усиленно питать случайное же Я мыслей и приобретаемого от других знания. И то, и другое — как мысли, так и чувства, — прекрасные вещи, за которыми одинаково скрывается истинный смысл всего. К обоим надо прислушиваться, обоими играть, ничего в них не следует ни презирать, ни переоценивать, а во всем подслушивать звучащие в глубине тайные голоса. И он решил впредь стремиться лишь к тому, что внушал ему внутренний голос, задерживаться там, где советовал ему голос. Почему Готама когда-то, в тот великий час, сел именно под деревом Бо¹, где его осени-



¹ Дерево Бо — священное дерево буддистов, из семейства фиговых (*Ficus religiosa*). Ветвь этого священного дерева была пересажена на остров Цейлон за 288 лет до Рождества Христова, и, благодаря неустанным заботам монахов, дерево растет до сих пор. Это, насколько известно, древнейшее историческое дерево.



ло откровение? Потому что он услышал голос — в его собственном сердце раздался этот голос, повелевавший ему искать отдыха под этим деревом. И он не отдал предпочтения умерщвлению плоти, жертвоприношениям, омовениям или молитвам, не предпочел еду и питье, сон и грезы — он послушался голоса. Так именно повиноваться — не приказу извне, а внутреннему голосу, быть всегда готовым идти на его призыв — вот что хорошо и необходимо; ничто иное не является необходимым.

Ночью, когда он спал в соломенной хижине, принадлежавшей перевозчику через реку, Сиддхарте приснился сон: перед ним стоял Говинда, в желтом одеянии аскета. Лицо Говинды было печально. Печально он спросил: «Зачем ты покинул меня?» Тогда он обнял Говинду, обхватил его руками, но когда он прижал его к груди и поцеловал, то почувствовал, что перед ним не Говинда, а женщина. Из платья этой женщины выставлялась наружу полная грудь, а он, Сиддхарта, лежал у этой груди и пыл. Сладко и крепко было молоко из этой груди. От него исходили ароматы мужчины и женщины, солнца и леса, животных и цветов, аромат всевозможных плодов, всяческих наслаждений. Оно опьяняло, дурманило. Когда Сиддхарта проснулся, через дверь хижины видно было поблескивание бледной реки, а из лесу громко и звучно доносился призыв совы. Как только занялся день, Сиддхарта попросил хозяина-перевозчика переправить его на другой берег. Тот перевез его через реку на своем бамбуковом плоту. Красным светом мерцала широкая река на утреннем солнце.

— Прекрасная река! — заметил Сиддхарта своему спутнику.

— Да, — сказал перевозчик, — это прекрасная река,



я люблю ее больше всего. Часто я прислушиваюсь к ней, часто заглядываю ей в очи, и всякий раз чему-нибудь научаюсь от нее. Многому можно научиться у реки.

— Благодарю тебя, милостивец, — сказал Сиддхарта, выйдя на берег. — Мне нечем заплатить тебе за гостеприимство и за переправу. Я бездомный скиталец. Я сын брамана и самана.

— Я и сам догадался, кто ты, — сказал перевозчик, — и не ждал от тебя ни платы, ни иного вознаграждения. Ты отплатишь мне в другой раз.

— Ты думаешь? — весело спросил Сиддхарта.

— Уверен. Вот еще одно, что я узнал от реки: все возвращается. И ты, самана, вернешься сюда. А теперь прощай. Да будет твоя дружба мне наградой. Вспоминай меня всегда, когда будешь приносить жертвы богам.

С улыбкой они прощались друг с другом. С радостным чувством Сиддхарта думал о дружбе и приветливости перевозчика. «Он совсем как Говинда, — думал он, улыбаясь, — все, кого я ни встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами имеют право на благодарность. Все почтительны, все готовы стать друзьями, охотно повинуются и мало думают. Похожи на детей люди!»

Около полудня он пришел в какую-то деревню. На улице, у глиняных мазанок, возилась детвора. Они играли зернышками тыкв и раковинами, кричали и дрались, но при виде чужого саманы в испуге разбежались. В конце деревни дорогу пересекал ручей, а на берегу ручья стояла на коленях молодая женщина и стирала. Когда Сиддхарта приветствовал ее, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, причем он заметил, как блеснули белки ее глаз. Он крикнул ей обычное приветствие





странствующих монахов и спросил, как далеко еще до большого города. Тогда она поднялась с места и подошла к нему. Ее влажные губы красиво адели на молодом лице. Она стала обмениваться с ним шутками, спросила, поел ли он и правда ли, что саманы проводят ночи в лесу одни и не могут иметь при себе женщин. При этом она опустила свою левую ногу на его правую и сделала такое движение, какое делает женщина, приглашающая мужчину к любовному наслаждению. Сиддхарта почувствовал, как закипает в нем кровь, и так как в эту минуту ему вспомнился сон, то он смело наклонился к женщине и коснулся губами темного соска на ее груди. А когда он поднял глаза, то на ее улыбающемся лице прочел желание, а в сузившихся глазах страстную мольбу.

И Сиддхартой овладел прилив вождления. Но так как он ни разу еще не касался женщины, то с минуту помедлил, хотя руки его уже протягивались, чтобы обнять женщину. И в эту минуту он с содроганием услышал внутренний голос, и голос этот сказал: «Нет». И тотчас же улыбающееся лицо молодой женщины утратило для него все свое очарование, и он увидел лишь влажный взор охваченной вождлением самки. Ласково потрепал он ее по щеке, повернулся и проворно скрылся из глаз очаровательной женщины в бамбуковой роще.

В тот же день, еще до наступления вечера, он добрался до большого города, чему был очень рад, так как теперь его тянуло в общество людей. Уже много времени прожил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика была первым за все это долгое время кровом, под которым он проводил ночь. Перед самым городом, у обнесенной красивой оградой рощи, путнику попалось навстречу маленькое шествие из нагруженных корзинами слуг и



прислужниц. Среди них в разукрашенных носилках, несомых четырьмя слугами, сидела на красных подушках под пестрым паланкином женщина — их госпожа. Сиддхарта остановился у входа в рошу и глядел на шествие — видел слуг, служанок, корзины, видел паланкин и сидевшую под ним женщину. Под высокой прической черных волос он увидел очень светлое, очень нежное, очень умное лицо, ярко-красный, как только что вскрытая смоква, рот, выхоленные и нарисованные дугой брови, темные глаза, умные и зоркие, светлую длинную шею, выступавшую из золотисто-зеленой верхней одежды, спокойно лежавшие светлые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми обручами на сгибах.

Сиддхарта видел, как она прекрасна и сердце его радовалось. Он низко поклонился, когда носилки приблизились к нему, и, снова выпрямившись, взглянул на светлое прелестное лицо, на миг заглянул в умные, осененные высокой дугой бровей глаза, вдохнул в себя аромат неизвестных ему благовоний. С улыбкой ответила на его поклон прекрасная женщина, — еще миг и она скрылась в роше, а вслед за нею скрылись и слуги.

«Чудесное предзнаменование для моего вступления в этот город!» — подумал Сиддхарта. Его потянуло войти тотчас же в рошу, но он сдержался. Только теперь дошло до его сознания, как глядели на него слуги и прислужницы при входе, сколько пренебрежения, недоверия и презрения было в их взглядах.

«Ведь я пока еще самана, — думал он, — я все еще имею вид аскета и нищего. Не таким я должен оставаться, не в таком виде я могу вступить в рошу!»

И он засмеялся.

Первого встреченного по дороге человека он распро-





сил о роце и о том, кто эта женщина, и узнал, что это загородный сад знаменитой куртизанки¹ Камалы и что кроме него ей принадлежит еще дом в городе.

После этого Сиддхарта вступил в город. Теперь у него была цель.

Преследуя эту цель, он старался втянуться в городскую жизнь, смешивался с толпой на улицах, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он подружился с одним подмастерьем цирюльника, которого впервые увидел за работой в тени лавки, а потом снова встретил молящимся в храме Вишну и которому он рассказал историю про Вишну и Лакшми. Ночь он провел у лодок на берегу реки, а рано утром, прежде чем в лавку цирюльника явились первые клиенты, он дал подмастерью обрить ему бороду, постричь волосы, причесать и натереть их благовонной мазью. Потом пошел и выкупался в реке.

Когда вечером прекрасная Камала в носилках направлялась в свою роцу, Сиддхарта стоял уже у входа и на свой поклон снова получил ответный кивок куртизанки. Вслед за тем он сделал знак одному из слуг, который шел последним в ее свите и попросил его доложить своей госпоже, что с ней желает говорить молодой браман. Через некоторое время слуга вернулся, предложил дожидавшемуся Сиддхарте последовать за ним и молча повел его в павильон, где лежала на диване Камала, после чего оставил их одних.

— Не ты ли это вчера стоял у входа и кланялся мне? — спросила Камала.

¹ Куртизанки — «городские красавицы» в городах Индии в Ведийскую эпоху — отличались, подобно греческим гетерам, не только красотой, но и умом и образованием. Профессия их не считалась позорной.

— Да, я уже вчера видел и приветствовал тебя.

— Но ты, кажется, вчера носил бороду и длинные волосы, и волосы были покрыты пылью?

— Совершенно верно, ты очень наблюдательна: ты видела Сиддхарту, сына брамана, который оставил свою родину, чтобы стать саманой и в течение трех лет был таковым. Но теперь я оставил эту дорогу и пришел в этот город. И первым лицом, встреченным мной перед тем, как я вступил в город, была ты. И вот что я хотел сказать тебе, придя сюда, о Камала. Ты первая женщина, с которой Сиддхарта говорит не с опущенным взором. Никогда больше я не стану опускать глаза, когда встречу на пути прекрасную женщину.

Камала улыбнулась и стала играть своим веером из павлиньих перьев.

— И только для того, чтобы сказать мне это, пришел ко мне Сиддхарта? — спросила она.

— Чтобы сказать тебе это и чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если тебе благоугодно будет, то я попрошу бы тебя, Камала, быть моей подругой и наставницей, ибо я еще совершенный невежда в том искусстве, которое ты знаешь в совершенстве.

При этих словах Камала громко расхохоталась.

— Вот уж не случилось со мной, чтобы пришел самана из лесу и захотел учиться у меня! Ни разу еще не бывало, чтобы ко мне явился самана с длинными волосами и со старой рваной повязкой вокруг чресл! Многие юноши приходят ко мне, бывают между ними и сыновья браманов, но они являются в прекрасной одежде, в изящной обуви, с благоухающими волосами и с полными кошельками. Вот какого рода юноши посещают меня, о самана.

Сиддхарта же ответил:

— Вот я и получил от тебя первый урок. Да и вчера





уже я кое-чему научился благодаря тебе. Я сбрил бороду, причесался и умастил волосы. Мне, о прекрасная, недостает теперь только немногого — хорошей одежды и обуви, да денег в кошельке. Знай же, более трудные задачи ставил себе Сиддхарта, а не такие безделицы, и справлялся с ними. Как же мне не достичь того, что я вчера поставил себе целью: стать твоим другом и узнать от тебя радости любви. Ты увидишь, какой я способный ученик, Камала, — я научился более трудным вещам, чем то, чему должна научить меня ты. Итак, скажи: Сиддхарта такой, как он есть — с умощенными волосами, но без платьев, без обуви и денег, тебя не удовлетворяет?

Со смехом воскликнула Камала:

— Нет, почтеннейший, этого мне мало. У него должны быть платья, прекрасная обувь, много денег в кошельке и подарки для Камалы. Теперь ты знаешь, самана из лесу. Ты запомнил это?

— Да, я запомнил это! — воскликнул Сиддхарта. — Как могу я не запомнить того, что сказано такими устами? Твои уста, как свежевскрытая смоква, Камала. И мои уста алы и свежи; они подойдут к твоим, увидишь. Но скажи мне, прекрасная Камала, неужели ты совсем не боишься саманы, пришедшего из лесу, чтобы учиться любви?

— Почему же я должна бояться саманы, глупого саманы из лесу, который пришел от шакалов и еще совсем не знает, что такое женщина?

— О, он силен, этот самана, и ничего не боится. Он мог бы взять тебя силой, прекрасная девушка. Он мог бы похитить тебя, мог бы заставить тебя страдать!

— Нет, самана, этого я не боюсь. Разве стал бы какой-нибудь самана или браман опасаться, что кто-нибудь

может прийти, схватить его и похитить у него его ученость, его благочестие, его глубокомыслие? Нет, ибо все это составляет его неотъемлемую собственность, из которой он уделяет лишь столько, сколько хочет и кому хочет. Точно так же с Камалой и радостями любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их против воли Камалы — ни капли сладости не почувешь ты в поцелуе, который при иных условиях может быть таким сладким. Ты любознателен и способен, Сиддхарта, — узнай же и то: любовь можно вымолить, купить, получить, как дар, найти на улице, но взять силой нельзя. Ты избрал бы ложный путь. Нет, было бы жаль, если бы такой красивый юноша, как ты, взялся за дело совсем не так, как следует.

Сиддхарта с улыбкой отвесил ей поклон.

— Ты права, Камала, было бы жаль. Очень даже жаль! Нет, ни одной капли сладости с твоих уст я не хочу лишиться, так же, как и ты должна изведать всю сладость моего поцелуя. Итак, решено: Сиддхарта вернется, когда у него будет все, чего ему пока не хватает — платье, обувь, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет?

— Совет? Отчего же? Отчего не дать совета бедному, невежественному самане, пришедшему из лесу от шакалов?

— Посоветуй же, милая Камала — куда мне идти, чтобы как можно скорее найти те три вещи?

— Друг, это многие хотели бы знать. Ты должен делать то, чему научился, и требовать в уплату денег, платье и обуви. Иным путем бедному не добыть денег. Что же ты умеешь?

— Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.





— И больше ничего?

— Больше ничего. Впрочем, я еще умею сочинять стихи. Согласна ты дать мне за стихи поцелуй?

— Согласна, если твои стихи понравятся мне. Ну-ка, скажи их!

И Сиддхарта, после краткого раздумья, произнес следующие стихи:

В тенистую рощу свою вошла прекрасная Камала,
У входа же в рощу стоял самана — юноша смуглый.
Низко, лотоса прекрасный завидев цветок,
Склонился последний, улыбкой его наградила Камала.
Чем жертвы богам приносить, самана юный подумал,
Приятней в стократ поклоняться прекрасной Камале!

Громко захлопала Камала в ладоши, так что золотые браслеты зазвенели.

— Твои стихи прекрасны, смуглый самана. И, право же, я ничего не теряю, если заплачу тебе за них поцелуем.

Она взглядом привлекла его к себе; он же, склонив свое лицо к ее лицу, прижался губами к ее устам, походившим на свежевскрытую смокву. Долго длился поцелуй Камалы, и с глубоким изумлением почувствовал Сиддхарта, как умно она учит его, как ловко управляет им, то отталкивая, то привлекая, и что за этим первым поцелуем имеется еще длинный ряд других, один непохожий на другой, искусно рассчитанных и испробованных поцелуев, которые ему еще предстоит изведать. Он глубоко перевел дух, изумляясь, как дитя, той массе знания, достойного изучения, которая раскрывалась перед ним.

— Твои стихи великолепны!— воскликнула Камала.— Будь я богата, я бы наградила тебя за них золоты-

ми монетами. Но трудно тебе будет зарабатывать стихами столько денег, сколько тебе надо будет. А тебе понадобится много денег, если ты хочешь стать другом Камалы.

— Как ты умеешь целовать, Камала!— пробормотал Сиддхарта.

— Да, это-то я умею. Оттого у меня и нет недостатка в платьях, обуви, браслетах и всяких прекрасных вещах. Но что будет с тобой? Неужели ты только умеешь размышлять, поститься и сочинять стихи?

— Я умею также петь песни при жертвоприношениях,— сказал Сиддхарта, но я не хочу больше петь их. Я знаю и волшебные заклинания, но не хочу больше произносить их. Я читал священные книги.

— Стой!— прервала его Камала.— Ты умеешь читать? А писать?

— Конечно, умею. Многие это умеют.

— Большинство этого не умеет. И я не умею. Это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. И волшебные заклинания еще могут пригодиться тебе.

В эту минуту прибежала прислужница и что-то шепнула на ухо своей госпоже.

— Ко мне сейчас придут!— воскликнула Камала.— Уходи поскорей, Сиддхарта, никто не должен тебя видеть здесь — заметь себе это. Завтра мы свидимся снова.

Прислужнице же она приказала дать благочестивому браману белый плащ. Не отдавая себе отчета, как это случилось, Сиддхарта дал увести себя девушке, которая привела его окольными путями в садовую беседку, вручила ему верхнее платье и вывела в кустарник, с настоятельным напоминанием сейчас же выбраться из рощи.

Он охотно исполнил приказание. Привычный к лесу, он бесшумно выбрался из рощи и перелез через ограду.





С довольным видом вернулся он в город, неся под мышкой свернутое платье. В заезжем доме, где останавливались приезжие, он стал у дверей, молча прося накормить его, и молча принял кусок рисового пирога. «Быть может, завтра уже, — думал он, — я ни у кого не буду просить подаяния».

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он уже не был саманой и потому не подобало ему более просить милостыню. Он отдал пирог собаке и остался без пищи.

«Как проста жизнь, которую ведут в мире! — подумал Сиддхарта. — Она не представляет никаких затруднений. Все было трудно, тяжело и в конце концов безнадежно, пока я был саманой. Теперь же все легко, так же легко, как урок поцелуев, полученный мною от Камалы. Мне нужно добыть платье и денег, больше ничего. Это маленькая близкая цель, она не может лишать меня сна».

Он уже и раньше расспросил о городском доме Камалы и на другой день пошел к ней туда.

— Дела идут отлично, — воскликнула она, встречая его. — Тебя ждут у Камасвами — это богатейший купец в нашем городе. Если ты понравишься ему, он возьмет тебя к себе на службу. Будь умен, смуглый самана. Я устроила так, что о тебе рассказали ему другие. Будь любезен с ним, он обладает большим влиянием. Но и не скромничай слишком. Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен быть с ним на равной ноге, иначе я не буду довольна тобой. Камасвами начинает стариться и хотел бы отдохнуть. Если ты придешься ему по нраву, он сделает тебя доверенным лицом.

Сиддхарта весело поблагодарил ее. Узнав, что он уже который день ничего не ел, Камала приказала принести хлеба и плодов и угостила его.



— Тебе везет, — сказала она на прощание, — перед тобой раскрываются одна дверь за другой. Чем это объяснить? Ты обладаешь какими-нибудь чарами?

На что Сиддхарта ответил:

— Вчера я говорил тебе, что умею мыслить, ждать и поститься, а ты находила, что такие знания не могут приносить никакой пользы. А между тем они очень даже могут пригодиться. Камала, ты увидишь это. Ты увидишь, что глупые лесные саманы изучают и умеют делать много прекрасных вещей, чего вы не умеете. Третьего дня я был еще растрепанным нищим, вчера я целовал Камалу, а скоро я стану кучищем и буду обладать деньгами и всеми теми вещами, которыми ты придаешь цену.

— Так-то оно так, — согласилась она. — Но что было бы с тобой без меня? Чем был бы ты, если бы Камала тебе не помогла?

— Милая Камала! — сказал Сиддхарта, выпрямляясь во весь рост. — Когда я пришел к тебе, в твою рощу, я сделал первый шаг. Я принял тогда твердое намерение научиться любви у прекраснейшей из женщин. А с той самой минуты, как я возымел это намерение, я знал, что сумею его выполнить. Я знал, что ты мне поможешь, — знал уже с твоего первого взгляда у входа в рощу.

— А если бы я не захотела?

— Но ты захотела. Смотри, Камала: если ты бросаешь камень в воду, то он быстро, кратчайшим путем, идет ко дну. Так же точно поступает Сиддхарта, когда он ставит себе какую-нибудь цель. Сиддхарта ничего не делает, он только ждет, мыслит, постится, но он проходит через существующее в мире, как камень через воду, ничего не делая для этого, не шевельнув пальцем. Он отдает себя влекущей его силе, он дает себе упасть. Его





цель сама по себе уже влечет его, ибо он не допускает в свою душу ничего, что противодействовало бы этой цели. Вот чему Сиддхарта научился у саман! Глупцы называют это чарами и воображают, что эти чары приобретаются с помощью демонов. Но демоны тут ни при чем, да никаких демонов и нет. Всякий может колдовать, всякий может достигать своих целей, если он умеет мыслить, ждать и поститься.

Камала внимательно слушала его. Ей нравился его голос, нравился его взгляд.

— Может быть, оно так и есть, как ты говоришь, мой друг, — тихо проговорила она. — А может быть, все дело в том, что Сиддхарта красивый мужчина, что его взгляд нравится женщинам и поэтому счастье идет ему навстречу.

Сиддхарта попрощался с ней поцелуем.

— Пусть будет так, моя наставница! Хотел бы я, чтобы взор мой всегда нравился тебе, чтобы ты всегда приносила мне счастье!

У ЛЮДЕЙ-ДЕТЕЙ

Сиддхарта отправился к купцу Камасвами в указанный ему богатый дом. Через ряд комнат, украшенных драгоценными коврами, слуги проводили его в покой, где он должен был дожидаться хозяина.

Вошел Камасвами. Это был подвижный, гибкий человек, с сильно поседевшими волосами, с очень умным, осторожным взглядом, с чувственным ртом. Хозяин и гость обменялись, дружелюбными поклонами.

— Мне говорили, — начал купец, — что ты браман,

ученый, но желаешь поступить на службу к купцу. Ты, верно, впал в нужду, браман, если ищешь службы?

— Нет, — сказал Сиддхарта, — я не впал в нужду и никогда нужды не знал. Знай, что я пришел от саман, с которыми прожил долгое время.

— Если ты приходишь от саман, как же тебе не быть в нужде? Ведь саманы — люди совершенно неимущие.

— У меня действительно нет никакого имущества, если ты это имеешь в виду, — сказал Сиддхарта. — Конечно, я человек неимущий, но я неимущий по своей воле и, следовательно, в нужде не нахожусь.

— Чем же ты рассчитываешь жить, если у тебя ничего нет?

— Об этом я никогда еще не думал, господин. Я более трех лет оставался неимущим и никогда не думал о том, чем буду жить.

— Так ты жил на средства других.

— Пожалуй. Ведь и купец живет на чужое добро.

— Отлично сказано. Однако он берет у других их добро не даром — он дает им взамен свои товары.

— Так оно, по-видимому, и есть. Каждый берет и каждый дает — такова жизнь.

— Позволь, однако: раз у тебя ничего нет, что же ты можешь дать?

— Каждый дает то, что у него есть. Воин дает свою силу, купец — свой товар; учитель дает свои знания; крестьянин — рис, рыбак — рыбу.

— Очень хорошо! А ты что можешь дать? Чему ты научился, что ты умеешь?

— Я умею мыслить, умею ждать, умею поститься.

— Это все?

— Кажется, все.





— А какая от этого польза? Умение поститься, например, — к чему оно?

— Оно может приносить большую пользу, господин. Если человеку нечего есть, то самое разумное, что он может делать, — это поститься. Если бы, например, Сиддхарта не научился поститься, то он должен был бы сегодня же взять какую-нибудь службу — у тебя ли, у другого ли: он был бы вынужден к этому голодом. Теперь же Сиддхарта может спокойно выжидать; ему чуждо нетерпение, для него нет крайней необходимости. Он долго может выдерживать голод, да еще смеяться при этом. Вот какая польза, господин, от умения поститься.

— Ты прав, самана. Подожди минутку.

Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю со словами:

— Можешь ты это прочитать?

Сиддхарта заглянул в свиток, на котором написан был торговый договор, и начал читать вслух написанное.

— Превосходно! — сказал Камасвами. — Не напишешь ли мне чего-нибудь на этом листке?

Он дал ему листок и заостренную палочку для письма, Сиддхарта что-то написал на листке и вернул его хозяину.

Камасвами прочел: «Писать хорошо, мыслить — лучше. Ум хорош, терпение лучше».

— Отлично написано, — похвалил купец. — Нам о многом надо будет переговорить. А пока прошу тебя быть моим гостем и поселиться в моем доме.

Сиддхарта поблагодарил и принял приглашение. С тех пор он жил в доме купца. Ему принесли хорошее платье и обувь, ежедневно слуга приготавливал ему ванну. Дважды в день его приглашали к обильной трапезе, но он ел

только раз в день, причем не употреблял мяса и не пил вина. Камасвами рассказывал ему о своих делах, показывал свои склады и разные товары, посвящал в свои расчеты. Много нового узнавал Сиддхарта, — он много слушал и говорил мало. И, помня совет Камалы, никогда не держал себя с купцом как подчиненный и вынуждал его обращаться с ним как с равным, даже более чем равным. Камасвами занимался своими делами с усердием, часто даже со страстным увлечением. Сиддхарта же смотрел на дела, как на игру, старался как можно лучше изучить ее правила, но к самой игре оставался совершенно равнодушен.

В скором времени Сиддхарта стал и сам помогать хозяину в его торговле. Но ежедневно, в назначенный ею час, он посещал прекрасную Камалу, хорошо одетый и обутый, а скоро стал носить ей и подарки. Многому научили его ее алые умные уста. Много поведала ему ее нежная, гибкая рука. Еще новичок в любви, склонный слепо и ненасытно ринуться в наслаждение, как в бездонную бездну, он основательно, благодаря ей, усвоил правило, что нельзя получать наслаждение, не давая его самому, что каждый жест, каждая ласка, каждое прикосновение и взгляд, даже малейшее местечко на теле, имеют свою тайну, пробуждение которой доставляет сведущему особое счастье. Она научила его, что влюбленные после праздника любви не должны расходиться без проявлений своего обоюдного восторга, что каждый должен иметь в такой же степени вид побежденного, как и победителя, так чтобы ни у кого не могло возникнуть чувство пресыщения и пустоты или неприятное ощущение, что он злоупотреблял податливостью другого или сам был слишком податлив. Дивные часы проводил он у





прекрасной и умной Камалы. Он стал ее учеником, ее возлюбленным, ее другом. В ней, в Камале, и была вся ценность и смысл его теперешней жизни, а не в торговых делах Камасвами.

Последний поручил Сиддхарте писание важных писем и составление договоров и постепенно привык к тому, чтобы обсуждать вместе с ним все важные дела. Он скоро заметил, что хотя Сиддхарта мало смыслит в рисе и шерсти, в мореплавании и торговле, но зато у него счастливая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, а также искусством слушать и распознавать людей. «Этот браман, — сказал он однажды одному из своих друзей, — не настоящий купец и никогда им не будет, он не в состоянии увлечься делами. Но он принадлежит к числу тех людей, которые владеют тайной успеха, — оттого ли, что родился под счастливой звездой, оттого ли, что он обладает какими-то чарами. А может быть, этой тайне он научился у саман. Для него дела — точно игра. Они не овладевают им целиком, не подчиняют его себе. Он никогда не боится неудачи, не огорчается потерей».

Друг посоветовал купцу: «Дай ему в делах, которые он ведет для тебя, долю. Пусть получает третью часть барыша, но пусть в такой же степени участвует и в убытках, если таковые будут. Тогда он иначе будет относиться к делам».

Камасвами последовал этому совету. Но Сиддхарта оставался беззаботным по-прежнему. Если получался барыш, он равнодушно принимал его; если же терпел убыток, то смеялся и говорил: «Вот как! Это дело, значит, не выгорело».

Казалось, в самом деле, что он относится к делам

совершенно безразлично. Однажды он поехал в одну деревню, чтобы закупить урожай риса. Но когда он приехал, то оказалось, что рис уже запродан другому торговцу. Тем не менее Сиддхарта остался на несколько дней в этой деревне, угощал крестьян, наделял детей медными монетами, побывал на одной свадьбе и вернулся домой весьма довольный поездкой. Камасвами стал упрекать его, что он не вернулся тотчас же и напрасно потратил деньги и время. Но Сиддхарта заметил на это: «Перестань ругать меня, милый друг. Руганью никогда ничего не достигалось. Если я причинил тебе убыток, то беру его на себя. Но я-то очень доволен поездкой. Я познакомился с самыми различными людьми, подружился с одним браманом; дети ездили верхом на моих коленях, крестьяне показывали мне свои поля, никто не принял меня за торговца».

— Все это прекрасно! — воскликнул в сердцах Камасвами. — Но ведь на самом-то деле ты торговец и есть. Или ты поехал только для своего удовольствия?

— Конечно, — засмеялся Сиддхарта, — конечно, я поехал для своего удовольствия. А то для чего же? Я познакомился с новыми людьми и местами, наслаждался оказываемым мне расположением и доверием, приобрел друга. Посуди сам, милый. Будь на моем месте Камасвами, то, узнав, что покупка не может состояться, он тотчас же с досадой поспешил бы домой, и тогда деньги и время действительно были бы потеряны даром. Я же провел несколько приятных дней, кое-чему поучился, и ни себе, ни другому не повредил раздражением и поспешностью. А если когда-нибудь я снова поеду туда — для закупки ли новой жатвы или для другой какой-нибудь цели, — то приветливые люди встретят меня приветливо





и весело, и я буду радоваться тому, что в тот раз не выказал досады и поспешил уехать. И потому успокоюсь, друг, и не порть себе крови упреками. Если наступит день, когда ты убедишься, что Сиддхарта тебе приносит вред, то скажи лишь слово, и Сиддхарта уйдет. А пока — будем довольны друг другом!

Столь же напрасны были попытки купца убедить Сиддхарту, что последний ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхарта возражал, что он ест свой собственный хлеб, — вернее, что оба они едят хлеб других людей, хлеб, принадлежащий всем. Никогда Сиддхарта не выказывал сочувствия заботам Камасвами. А у последнего забот была тьма. Если какому-нибудь затеянному им делу грозила неудача, если возникали опасения, что отправленный товар пропал в дороге или что какой-нибудь должник окажется несостоятельным, — Камасвами никогда не удавалось убедить своего сотрудника, что он поможет горю, если громко будет выражать свое огорчение или гнев, ходить с нахмуренным лбом, плохо спать по ночам. Когда однажды Камасвами поставил ему на вид, что он научился делу у него, Сиддхарта ответил:

— Ты шутишь, и очень неудачно! От тебя я узнал, сколько стоит корзина с рыбой и сколько процентов можно потребовать за данные займы деньги. Вот и вся твоя наука! Мыслить я научился не у тебя, дорогой Камасвами, ты бы лучше постарался научиться этому у меня.

Несомненно, душа Сиддхарты не лежала к торговле. Он занимался делами лишь потому, что они доставляли ему деньги для Камалы. Они давали даже гораздо больше, чем ему требовалось. Вообще же его интерес возбуждали лишь те люди, чьи дела, занятия, заботы, увеселе-

ния и заблуждения были раньше чужды ему и далеки, как месяц на небе. Как ни умел он разговаривать и сходиться с людьми, узнавать от них новое, все же он ясно сознавал, что есть нечто, отделяющее его от других, и это нечто — его саманство. Он видел, какую ребяческую или чисто животную жизнь ведут люди, которых он в одно и то же время любил и презирал. Он видел, как они хлопочут, страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совсем не стоили этого — из-за денег, маленьких удовольствий, мелких почестей. Он видел, как они упрекают и поносят друг друга, как они стонут от боли, которую самана переносит с улыбкой, как страдают от лишений, которых самана и не чувствует.

Ко всем он относился одинаково приветливо. Одинаково радушно принимал он торговца, предлагавшего ему в продажу полотно, должника, просившего о новом займе, нищего, который добрый час рассказывал ему историю своей бедности, хотя и наполовину не был так беден, как любой самана. С богатым чужестранным купцом он держал себя одинаково, как со слугой, который брил его, и уличным торговцем, которому он позволял надувать себя на какую-нибудь мелочь при покупке бананов. Когда Камасвами приходил к нему с советами на свои печали или упреками по поводу его способа ведения дел, то он весело и с интересом выслушивал его, удивляясь и стараясь понять его, отчасти соглашался с ним, ровно настолько, сколько считал необходимым, и отворачивался от него, чтобы перейти к очередному нуждавшемуся в нем посетителю. А к нему приходили многие — одни по торговым делам, другие, чтобы надуть его или что-нибудь выведать от него, третьи старались вызвать его жалость, четвертые обращались к нему за со-





ветом. И он давал советы, проявлял свою жалость, дарил, давал немного надувать себя; и вся эта игра и страстность, с которой все люди предаются этой игре, занимали его мысли в такой же степени, как раньше их занимали боги и учения браманов.

По временам в своей груди он слышал голос — слабый, умирающий, звучащий жалобой и упреком, но так тихо-тихо, что он едва мог расслышать его. Тогда на короткое время у него являлось сознание, что он ведет странную жизнь, что все то, что он делает, — пустая игра, и хотя он чувствует себя недурно, весел, а подчас даже испытывает радость, но настоящая жизнь, в сущности, проходит мимо и его не задевает. Как жонглер играет мячами, так он играл своими делами, окружающими людьми; он глядел на них, развлекался ими; но сердцем, тем, что составляло источник его существа, он не был при всем этом. Этот источник протекал где-то далеко и невидимо для него, уходил все дальше, ничего общего не имел больше с его жизнью. Несколько раз эти мысли наводили на него ужас, и у него являлось сожаление, что и он не может участвовать во всех этих ребяческих мелочах жизни сердцем, относиться к ним со страстным увлечением. У него являлось желание жить, работать, наслаждаться этой жизнью на самом деле, а не оставаться в ней простым зрителем.

Но каковы бы ни были его настроения, он всегда возвращался к прекрасной Камале, изучал искусство любви, предавался культу наслаждения, при котором более, чем при чем бы то ни было, давать и получать становится неотделимым друг от друга; болтал с ней, учился у нее, давал ей и получал от нее советы. Она

понимала его лучше, чем когда-то понимал его Говинда, — у них было больше общего.

Однажды он заметил ей:

— Ты похожа на меня, ты не такова, как большинство людей. Ты — Камала, и только! — у тебя, как и у меня, внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой час и чувствовать себя дома. Немногие лишь имеют это прибежище, а могли бы иметь все.

— Не все люди обладают умом, — сказала Камала.

— Нет, — возразил Сиддхарта, — не в уме тут дело. Камасвами так же умен, как я, и все же не имеет в самом себе этого прибежища. А иные, по уму совсем дети, имеют его. Большинство людей, Камала, похожи на падающие листья; они носятся в воздухе, кружатся, но в конце концов падают на землю. Другие же — немного их — словно звезды; они движутся по определенному пути, никакой ветер не заставит их свернуть с него; в себе самих они носят свой закон и свой путь. Из всех многочисленных ученых и саман, каких я знал, только один был из числа таких людей, один был Совершенный. Я никогда не забуду его. Это был Готама, Возвышенный, провозвестник известного тебе учения. Тысячи учеников слушают ежедневно его учение, следуют ежечасно его предписаниям, но все они — словно листья падающие; они не носят в самих себе это учение и закон.

Камала взглянула на него с улыбкой.

— Опять ты говоришь о нем, — заметила она, — опять у тебя мысли саманы.

Сиддхарта замолк, и они предались любовной игре — одной из тех тридцати или сорока игр, которые знала Камала. Тело ее было гибко, как тело ягуара, как лук охотника. Тому, кто учился любви у нее, раскрывались





многие наслаждения, многие тайны. Долго играла она с Сиддхарттой, то привлекая, то отталкивая его, то беря его силою, обволакивая его целиком и наслаждаясь его мастерством, пока он не почувствовал себя побежденным и не почил в изнеможении рядом с нею.

Гетера склонилась над ним, долго глядела на его лицо, в его утомленные глаза.

— Ты лучший из влюбленных, каких я когда-либо видела, — заметила она задумчиво. — Ты сильнее других, гибче, податливее. Ты хорошо изучил мое искусство, Сиддхарта. Со временем, когда я буду постарше, я хочу иметь от тебя ребенка. И все же, милый, ты остался саманой. Все же ты не любишь меня, ты никого не любишь. Разве не так?

— Может быть, — устало ответил Сиддхарта. — Я — как ты. И ты ведь не любишь — иначе как могла бы ты предаваться любви как искусству? Люди, подобные нам, вероятно, и не способны любить. А люди-дети способны: это их тайна.

САНСАРА¹

Долгое время Сиддхарта вел мирскую, полную наслаждений жизнь, не отдаваясь ей, однако, всецело. Его плоть, подавленная в годы пламенного аскетизма, проснулась; он изведal богатство, изведal сладострастье, изведal власть. Но все же, в течение долгого времени, он оставался в душе саманой, — как верно заметила умная Ка-

¹ Сансара («странствование») — пребывание в земном чувственном бытии, греховную тяжесть которого можно преодолеть страданиями и духовными упражнениями.

мала. И теперь еще искусства мыслить, ждать и поститься играли руководящую роль в его жизни, и теперь еще люди, жившие в миру, люди-дети, оставались ему чуждыми, как он был чужд им.

Годы мчались; окутанный привольной жизнью, Сиддхарта едва замечал, как они уходили. Он разбогател, у него давно уже был собственный дом, слуги, парк за городом у реки. Люди любили его; они приходили к нему, когда им нужны были деньги или совет; но никто не был близок к нему, кроме Камалы.

То высокое светлое чувство пробуждения и напряженного ожидания, которое он испытал когда-то, в расцвете молодости, в дни, последовавшие за проповедью Готамы и разлукой с Говиндой, его тогдашнее гордое одиночество и независимость от всяких учений и учителей, его чуткость к божественному голосу в собственном сердце — все это оказалось преходящим и мало-помалу отходило в область воспоминаний. Далеко и чуть слышно шумел теперь священный родник, когда-то столь близкий, когда-то шумевший в нем самом. Правда, многое из того, чему он научился от саман, от Готамы, что он усвоил от своего отца — брамана, еще долгое время сохранялось в нем: он сохранил свою умеренность, свою любовь к мышлению, часы самопогружения, тайное знание о себе, о вечном Я, которое не есть ни тело, ни сознание. Многое из всего этого осталось в нем, но одно за другим опускалось в глубину и покрывалось пылью. Подобно тому, как гончарный круг, раз приведенный в движение, долго сохраняет сообщенную ему скорость и только медленно, понемногу, замедляет свое вращение, пока не остановится совсем, так и в душе Сиддхарты еще долго продолжало вертеться колесо аскетизма, колесо мышле-





ния, колесо распознавания. Оно и теперь еще вертелось, но медленно, с колебаниями и — того и гляди — должно было остановиться совсем. Подобно тому, как проникает сырость в умирающий древесный пень, медленно наполняя его и вызывая гниение, так мирское и лень понемногу проникали в душу Сиддхарты, понемногу заполняли ее, вызывая чувства тяжести и усталости, усыпляя ее. Зато желания в нем пробудились, и в этом отношении он многому научился, многое испытал.

Сиддхарта научился торговать, пользоваться властью над людьми, искать наслаждения у женщин. Он научился носить прекрасное платье, приказывать слугам, купаться в благовонной воде. Научился кушать тонкие и хорошо приготовленные блюда, — в том числе рыбу, мясо животных и птиц, пряности и сладости, пить вино, порождающее лень и забвение. Научился играть в кости и в шахматы, смотреть на пляски танцовщиц, пользоваться носилками, спать в мягкой постели. Но при всем том он все еще чувствовал себя отличным от других людей, стоящим выше их; все еще глядел на них с легкой насмешкой, с некоторым презрением, тем самым презрением, какое аскет-самана всегда питает по отношению к мирянам. Когда Камасвами бывал нездоров и раздражителен, когда он чувствовал себя кем-то обиженным, когда ему досаждали деловые заботы, Сиддхарта всегда относился к этому с насмешкой. Но медленно и незаметно, по мере того, как сменялись и уходили периоды дождей и жатвы, его насмешка становилась бледнее, а чувство превосходства слабее. Понемногу, среди своего возрастающего богатства, Сиддхарта сам усвоил некоторые черты, присущие людям-детям. И все же он завидовал им, завидовал тем сильнее, чем более сам начинал похо-

дять на них. Он завидовал им в одном — в той важности, какую они приписывали всем своим переживаниям, в страстности их радостей и тревог, в робком, но сладком счастье их вечной влюбленности. В себя ли самих, в женщин или в своих детей, в почести или в деньги, в планы или надежды, — но влюблены эти люди бывали всегда. Но как раз этого он не перенял у них — именно этому, их детской жизни, радостности и детскому безрасудству он не научился, а перенял как раз те неприятные черты, которые презирал в них. Все чаще случалось, что на другое утро после проведенного в обществе вечера он долго оставался в постели, чувствуя какую-то подавленность и усталость. Случалось, что он раздражался и выказывал нетерпение, когда Камасвами надоедал ему своими вечными опасениями. Случалось, что он смеялся слишком громко, когда ему не везло в игре в кости. Его лицо было все еще более умным и одухотворенным, чем у других людей, но улыбка на нем появлялась реже и мало-помалу на нем запечатлевалось то выражение, какое так часто встречаешь на лицах богатых людей, — выражение недовольства, болезненности, брюзгливости, вялости, бессердечия. Понемногу душевная болезнь богачей овладевала и Сиддхартой.

Как тонкая фата, как легкий туман, спускалась усталость на Сиддхарту — понемногу, но с каждым днем становясь немного гуще, с каждым месяцем немного мрачнее, с каждым годом немного тяжелее. Подобно тому, как новое платье с течением времени теряет свой красивый цвет, покрывается пятнами, расплзается на швах, а ткань здесь и там протирается и готова порваться, так и новая жизнь, которая началась для Сиддхарты после разлуки с Говиндой, с годами потеряла цвет и блеск, так





и на ней накоплялись пятна и складки и, пока еще скрытые в глубине, но здесь и там уже безобразно проглядывавая наружу, подстерегали его разочарование и отвращение. Сиддхарта этого не замечал. Он заметил только, что тот ясный и уверенный внутренний голос, который когда-то проснулся в нем и всегда руководил им в блестящий период его жизни, теперь что-то замолк.

Мир заполнил его — наслаждение, чувственность, лень, а под конец и тот порок, который он всегда считал самым нелепым и к которому относился с наибольшим презрением и насмешкой, — алчность. В конце концов и собственность, обладание, богатство также заполнили его — все это перестало быть для него игрой, мелочами, стало цепями и бременем. Станным и коварным путем Сиддхарта попал в эту последнюю и гнуснейшую зависимость — благодаря игре в кости. С тех пор как Сиддхарта перестал в душе быть саманой, игра на деньги и драгоценности, которой он раньше предавался с улыбкой и небрежно, как одному из принятых у людей-детей развлечений, мало-помалу стала для него настоящей страстью, захватывавшей его все сильнее. Он стал отчаянным игроком, с которым лишь немногие решались вступить в состязание — так велики и безрассудны были его ставки. Он играл как человек, желающий заглушить муку своего сердца, — проигравши и швыряние презренными деньгами доставляли ему какую-то злобную радость. Ничем иным он не мог резче и язвительнее проявить свое презрение к богатству, этому идолу купцов. Сам себя ненавидя, сам над собой насмехаясь, он рисковал огромными ставками, безжалостно обыгрывал других и сам проигрывал огромные суммы, проигрывал деньги, дра-

гоценности, проиграл загородный дом, снова выиграл его, снова проиграл. Это тревожное, сжимающее грудь чувство, которое он испытывал в момент бросания костей при крупной игре, было ему дорого, — он любил его, старался снова и снова вызвать его в себе, усилить, разжечь еще сильнее, ибо только в этих ощущениях он находил еще своего рода счастье, какое-то опьянение, какое-то повышенное самочувствие среди своей сытой, бесцветной, тусклой жизни. А после каждого крупного проигрыша приходилось добывать новые богатства, усерднее заниматься торговлей, строже взыскивать с должников, чтобы иметь возможность продолжать игру, снова швырять деньгами, снова выказывать свое презрение к богатству. Сиддхарта утратил спокойствие духа при проигрышах, потерял терпение по отношению к неисправным должникам, утратил свое добродушие по отношению к нищим, перестал находить удовольствие в раздаче денег, в виде подарков или займы, обращавшимся к нему просителям. Тот самый Сиддхарта, который проигрывал за один раз десятки тысяч и смеялся при этом, становился в торговых делах прижимистым и мелочным, и даже по ночам ему часто снились деньги. А когда ему удавалось очнуться от этих отвратительных чар, когда он замечал в зеркале, на стене своей спальни, свое постаревшее и подурневшее лицо, когда на него нападали стыд и отвращение, он убегал от себя, снова бросаясь в азартную игру, снова прибегая к дурману сладострастия и вина, чтобы затем вновь уходить в стремление к накоплению и приобретению. И в этом бессмысленном круговороте он носился до изнеможения, до потери сил и здоровья.

Но наступил день, когда он очнулся, и случилось это под влиянием одного сновидения. Вечером того дня он





был у Камалы, в ее прекрасном парке. Они сидели под деревьями и беседовали. Камала была настроена задумчиво, и в словах ее слышались грусть и усталость. Она просила Сиддхарту рассказать ей о Готаме и не могла досыта наслушаться о нем — о том, как чист был его взгляд, как тихи и прекрасны были его уста, какой добротой дышала его улыбка, каким спокойствием веяло от его поступи. Долго, побуждаемый ею, он рассказывал ей о Возвышенном, а Камала слушала его, вздыхала и наконец проговорила: «Когда-нибудь, и скоро, может быть, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему свой парк и сделаю своим прибежищем его учение». Но вслед за этим она стала заигрывать с Сиддхартой, разожгла его чувственность и в любовной игре с мучительной страстью приковала его к себе, — со слезами и жгучими ласками, словно в последний раз хотела выжать из этого плотского преходящего наслаждения последнюю каплю сладости. Никогда еще Сиддхарта не сознавал с такой ясностью, до какой степени сладострастье родственно смерти. Потом он лежал рядом с Камалой, видел совсем близко от себя ее лицо и ясно, как никогда, он прочел под ее глазами и в уголках губ жестокие письма, начертанные тонкими линиями и легкими морщинками, — письма, напоминавшие об осени и о старости. Да и сам Сиддхарта, которому пошел лишь четвертый десяток, уже не раз замечал седину в своих черных волосах. Усталость читалась на прекрасном лице Камалы, — усталость от пройденного длинного пути без радостной цели, начинающееся увядание и скрытая, не высказываемая, быть может, еще даже не сознаваемая тревога: страх перед старостью, перед осенью, страх перед неизбежной смертью. Сиддхарта со вздохом попрощался с ней — и его душа была полна тоски и невысказанной тревоги.

Потом у себя в доме Сиддхарта провел вечер в веселой компании, в обществе танцовщиц, причем держал себя по отношению к своим приятелям с видом превосходства, которое на самом деле уже ничем не оправдывалось, выпил много вина и лишь далеко за полночь удалился на покой, усталый и вместе с тем возбужденный, близкий к слезам и отчаянию. Долго и тщетно искал он сна; сердце его ныло от невыносимой тоски, и весь он был преисполнен отвращения и тошноты. Его тошнило от тепловатого противного вкуса вина, от слащавой бессмысленной музыки, от полных неги улыбок танцовщиц, от приторного аромата их волос и груди. Но еще большее отвращение он чувствовал к самому себе, к своим благоухающим волосам, к винному запаху своего рта, к вялости и дряблости своей кожи. Подобно тому, как человек, слишком много съевший и выпивший, может освободиться от излишка лишь рвотой и, несмотря на мучительность этого средства, жаждет получить от него облегчение, так и Сиддхарта, измученный бессонницей, в невыносимом приливе отвращения, жаждал освободиться от этих привычек и наслаждений, от всей этой бессмысленной жизни, от самого себя. Только на рассвете, когда на улице, где стоял его городской дом, уже начала пробуждаться деловая жизнь, он на несколько минут впал в забытие, в какое-то подобие сна. И в эти-то минуты ему приснился сон.

У Камалы в золотой клетке содержалась маленькая редкостная певчая птичка. И вот Сиддхарте приснилось, что птичка, всегда распевавшая на заре, внезапно замолкла. Удивленный этим, он подошел к клетке и увидел, что птичка мертва и лежит, окоченелая, на полу. Он вынул ее из клетки, с минуту подержал в руке и выбросил на улицу. Но в ту же минуту страшно испугался —





сердце его сжалось от боли, точно вместе с этой мертвой птичкой он отбросил от себя все ценное и хорошее.

Очнувшись от этого сна, он почувствовал себя обьятым глубокой печалью. Бестолково и нелепо, — думалось ему, — он провел свою жизнь: ничего живого, ничего хоть сколько-нибудь ценного, ничего такого, что стоило бы сохранить, не осталось у него на руках. Одиноким и нищим остался он, словно выброшенный на берег после кораблекрушения.

В самом мрачном настроении Сиддхарта отправился в принадлежавший ему парк, запер за собой ворота и сел под манговым деревом. Со смертельной тоской в сердце, с ужасом в груди он сидел и чувствовал, как что-то в нем умирало, увядало, близилось к концу. Понемногу он пришел в себя и мысленно прошел еще раз весь свой жизненный путь, начиная с первых дней, о которых у него сохранилась память. Чувствовал ли он себя когда-нибудь счастливым, испытывал ли когда-нибудь истинную радость? О да, много раз он испытывал нечто подобное. Мальчиком он бывал счастлив, когда ему удавалось заслужить похвалы браманов за чтение наизусть священных стихов, когда он отличался в словесных состязаниях с учеными или в качестве помощника жреца при жертвоприношениях. Тогда он чувствовал в своем сердце: «Вот путь, к которому ты призван, — тебя ждут боги». Потом юношей, когда в своих размышлениях он все выше и выше ставил свою цель, что выдвигало его над толпой подвизавшихся, подобно ему, товарищей, когда он в муках силится познать Брахму, когда каждое вновь приобретенное знание возбуждало в нем лишь новую жажду — тогда, при всей своей жажде, при всех муках, он чувствовал то же самое: «Вперед! Вперед! Ты призван!» Этот же голос он слышал, когда покидал свою родину и



избирал жизнь саманы, когда уходил от саман к Совершенному, когда и от последнего уходил в Неизвестное. Но как давно уже он не слышал этого голоса, как давно не поднимался выше! Как ровно и пустынно стлался его путь и как много долгих лет он шел по этому пути, без высокой цели, без жажды, без восхождений, довольствуясь маленькими радостями и все же никогда не удовлетворенный! Все эти годы он, сам того не сознавая, мечтал и стремился стать таким же человеком, как все остальные, как все эти люди-дети, и при этом его жизнь была гораздо беднее и бессодержательнее, чем их жизнь, ибо их цели, их заботы его не занимали. Ведь весь этот мир людей, вроде Камасвами, был для него лишь игрой, пляской, комедией, в которой он участвовал лишь в качестве зрителя. Одна только Камала была ему дорога. Но дорожит ли он ею и сейчас? Нужна ли она ему, а он ей, и теперь? Не представляют ли их отношения бесконечную игру? И стоит ли жить для этого? Нет, не стоит! Эта игра своего рода «сансара»; это игра для детей, в такую игру можно, пожалуй, с удовольствием сыграть раз, другой, десять раз, но играть вечно, без конца?

И Сиддхарта тут же почувствовал, что игра кончена, что он не в состоянии продолжать ее. Дрожь пробежала по его телу — он почувствовал, что внутри у него что-то умерло.

Весь тот день он просидел под манговым деревом, вспоминая отца, Говинду, Готаму. Неужели он покинул их всех для того, чтобы стать каким-нибудь Камасвами? Наступила ночь, а он все еще сидел под манговым деревом. Когда, подняв глаза, он увидал звезды, то подумал: «Вот я сижу под своим манговым деревом, в своем парке». Он слегка усмехнулся. Действительно ли это было нужно и правильно, не было ли это нелепой игрой, что





он обладал манговым деревом, обладал собственным парком?

И с этим было покончено; и это умерло в нем. Он поднялся с места, простился с манговым деревом, простился с парком. Так как он провел день без пищи, то почувствовал сильнейший голод и вспомнил о своем доме в городе, о своей комнате и постели, о столе, уставленном яствами. Он улыбнулся усталой улыбкой, встряхнулся и простился со всеми этими вещами.

В ту же ночь Сиддхарта оставил сад, оставил город, чтобы никогда больше не возвращаться. Долгое время Камасвами разыскивал его, полагая, что он попал в руки разбойников, но Камала не предпринимала никаких поисков. Узнав, что Сиддхарта исчез, она даже не удивилась. Ведь она всегда предчувствовала это. Ведь он как был, так и остался саманой, бездомным странником. В особенности она почувствовала это при последнем свидании. И теперь, несмотря на горе утраты, она радовалась тому, что в этот последний раз так горячо прижимала его к сердцу, так полно чувствовала, что всецело принадлежит ему, что вся проникнута им.

Получив первое известие об исчезновении Сиддхарты, она подошла к окну, где в золотой клетке содержалась редкая певчая птичка. Она открыла клетку, вынула певунью и пустила ее на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птичке. С того дня она не принимала больше посетителей, и дом ее оставался закрытым. А через некоторое время она почувствовала, что после этого свидания с Сиддхартой она забеременела.

У РЕКИ

Сиддхарта уже был далеко от города. Он шел лесом и сознавал одно, что он не может больше вернуться назад, что жизнь, которую он вел в течение стольких лет, кончилась — он изведаль ее и пресытился до тошноты. Умерла певчая птичка, которую он видел во сне. Умерла птичка в его собственном сердце. Он слишком запутался в Сансаре; со всех сторон он впитывал в себя отвращение и смерть, как губка впитывает воду — до полного насыщения. И теперь в нем уже не оставалось ничего, кроме этого отвращения ко всему, не было ничего такого на свете, что могло бы прельстить, порадовать, утешить его.

Одно только страстное желание еще жило в нем — не думать больше о себе, успокоиться, умереть. Хоть бы гром грянул с неба и поразил его! Хоть бы тигр выскочил из лесу и сожрал его! Если бы достать какое-нибудь вино или яд, который привел бы его в бесчувственное состояние, принес бы забвение и сон, но сон без пробуждения! Ведь нет такой грязи, которой бы он себя не загрязнил, нет такого греха и безумия, какого бы он не совершил, нет такой душевной муки, какую бы он не приготовил себе. Можно ли после этого оставаться жить? Можно ли по-прежнему дышать, чувствовать голод, по-прежнему есть, спать, жить с женщиной? Неужели это верчение в круте еще не закончилось для него?

Сиддхарта пришел к большой реке, протекавшей через лес, той самой, через которую некогда, когда он был еще молодым человеком и шел из города Готамы, его переправил один перевозчик. Дойдя до реки, он нерешительно остановился на берегу. Усталость и голод одолевали его. Да и к чему идти дальше, куда, для какой цели?





Нет, для него не существует больше никаких целей, есть только одно глубокое мучительно-страстное желание — стряхнуть с себя весь этот кошмар, выплунуть это выдохшееся вино, положить конец этой жалкой и позорной жизни.

У самого берега росло кокосовое дерево, склонявшееся к реке. Сиддхарта оперся о дерево плечом, обхватил рукой ствол и стал глядеть в зеленые воды, безостановочно катившиеся под ним. Он глядел и глядел, и его все сильнее охватывало желание оторваться от своей опоры и дать себя поглотить воде. Страшная пустота глядела на него из воды, и ей отвечала такая же пустота в его душе. Да, он дошел до последнего предела. Ничего больше не оставалось ему, как вычеркнуть себя, разбить неудавшуюся форму своей жизни, кинуть ее под ноги издевающимся богам. Вот то сильное рвотное средство, которого он искал: умереть, разбить форму, которую он ненавидел! Пусть он достается на съедение рыбам, этот пес — Сиддхарта, этот безумный, пусть пожирают рыбы это мерзкое, прогнившее тело, эту одряхлевшую от излишеств душу! Пусть пожирают его рыбы и крокодилы! Пусть терзают его демоны!..

С искаженным лицом глядел он в воду, увидел свое отражение и плюнул в него. Потом в глубоком изнеможении отнял руку от ствола дерева и слегка повернулся, чтобы прямо, во весь рост, грохнуться в воду и погибнуть. Закрыв глаза, он готов был броситься навстречу смерти.

В этот миг из каких-то отдаленных тайников его души, из давнишних переживаний его постылой жизни, вырвался звук. Это было одно лишь словечко, один слог, который он пробормотал про себя совершенно бессознательно, — древнее начальное и заключительное слово всех

браманских молитв, священное Ом, означающее приблизительно «Совершенное» или «Совершенство». И в этот самый миг, когда звук «Ом» коснулся слуха Сиддхарты, его заснувший ум внезапно проснулся.

Сиддхарта ужаснулся. Так вот до чего он дошел! До такой степени он сбился с пути, до такой степени позабыл все, когда-то уже познанное, что мог искать смерти, что в нем могло вырасти желание — такое ребяческое желание — найти успокоение путем уничтожения тела. То, к чему не привели все муки, все отрезвление, все отчаяние последнего времени, — произошло в ту самую минуту, когда слово «Ом», проникло в его сознание. Он пришел в себя, перед ним блеснул выход из его жалкого положения, из того лабиринта, в котором он очутился.

— Ом! — прошептал он. — Ом!

И вспомнил Брахму, вспомнил о неуничтожаемости жизни, вспомнил все то божественное, что он успел позабыть.

Но все это длилось один лишь миг, сверкнуло и исчезло, как молния. Сиддхарта опустился на землю у подошвы кокосового дерева. Сраженный усталостью, со словом «Ом» на устах, он положил голову на корни дерева и погрузился в сон.

Глубок был его сон, без всяких сновидений. Давно уже не знал он такого сна. Когда через несколько часов он проснулся, то ему показалось, что он проспал целые годы. Он слышал тихие всплески воды, но не мог дать себе отчет, где он и кто привел его сюда. Раскрыв глаза, с удивлением увидал над собой деревья и небо и вспомнил, где он и как сюда попал. Но вспомнил не сразу. В течение некоторого времени прошедшее было для него как бы окутано дымкой; оно казалось ему таким далеким, таким бесконечно далеким, бесконечно безразличным. Он





сознавал только то, что с прежней жизнью (в первые минуты проснувшегося сознания эта прежняя жизнь казалась ему одним из старых, давно уже пережитых воплощений, одним из прежних существований его теперешнего Я), что с этой прежней жизнью он покончил, что, полный отвращения и горя, он даже хотел положить конец самой жизни, но у какой-то реки под кокосовым деревом пришел в себя, с священным словом «Ом» на устах, заснул и теперь проснулся новым человеком. Тихо проговорил он слово «Ом», с которым заснул, и ему показалось, что весь его продолжительный сон был ничем иным, как только-длительным сосредоточенным выговариванием — вслух и мысленно — слова «Ом», погружением и полнейшим растворением в этом Ом, в безымянном Совершенном.

Какой, однако, это был чудесный сон! Никогда после сна он не чувствовал себя до такой степени свежим, обновленным, помолодевшим. Может быть, он и в самом деле умер и родился вновь, в новой телесной оболочке? Да нет, он узнавал свою руку, свои ноги, узнавал место, где лежал, узнавал это Я в своей груди, этого Сиддхарту, своенравного, странного... Но этот Сиддхарта все же как-то переменялся, обновился; этот Сиддхарта чувствовал себя замечательно выпавшимся, замечательно бодрым, радостным и полным интереса ко всему.

Сиддхарта приподнялся и тут только увидел чужого человека, монаха в желтом одеянии, с обритой головой, сидевшего против него в позе созерцания. Он внимательно поглядел на этого человека, у которого сбриты были не только волосы на голове, но и борода, и скоро узнал в монахе Говинду, друга своей юности, Говинду, ставшего учеником Возвышенного Будды. И он, Говинда, также

постарел, но лицо его сохранило свое прежнее выражение — выражение усердия, верности, искания, нерешительности. Когда же Говинда, почувствовав его взгляд, открыл глаза, Сиддхарта увидал, что тот его не узнает. Говинда высказал свою радость, что Сиддхарта очнулся. Очевидно, он давно уже сидел тут и ждал его пробуждения, хотя не узнавал его.

— Я спал, — сказал Сиддхарта. — Как же ты попал сюда?

— Да, ты спал, — ответил Говинда. — Нехорошо спать в таких местах, где водятся змеи и куда приходят лесные звери. А я, господин, ученик возвышенного Готамы Будды, Сакия-Муни, и проходил с толпой других монахов по этой дороге, когда увидал тебя лежащим и погруженным в сон в таком месте, где спать опасно. Я пытался разбудить тебя, господин, но, заметив, что сон твой очень глубок, отстал от своих и остался при тебе. А потом, по-видимому, я и сам заснул, несмотря на то, что намерен был охранять твой сон. Плохо же я исполняю свою обязанность — усталость одолела меня. Но теперь, раз ты проснулся, позволь мне уйти, чтобы я мог догнать своих братьев.

— Благодарю тебя, самана, за то, что ты охранял мой сон, — сказал Сиддхарта. — Благожелательные люди — ученики Возвышенного! Теперь, конечно, ты можешь уходить.

— Иду, господин. Желая тебе всегда доброго здоровья.

— Спасибо тебе, самана.

Говинда сделал знак приветствия и проговорил:

— Прощай!

— Прощай, Говинда! — сказал в ответ Сиддхарта.

Монах остановился.





— Позволь, господин, узнать — откуда тебе известно мое имя?

Сиддхарта улыбнулся:

— Я знаю тебя, о Говинда, знаю с того времени, когда ты еще жил в хижине своего отца, когда мы посещали вместе школу браманов, знаю со времени наших жертвоприношений и ухода к саманам до того часа, когда в роще Джетавана ты примкнул к ученикам Возвышенного.

— Ты Сиддхарта! — громко воскликнул Говинда. — Теперь-то я узнаю тебя! Не понимаю, как я не узнал тебя тотчас же. Приветствую тебя, Сиддхарта. Велика моя радость, что я снова вижу тебя.

— И я рад встрече с тобой. Ты охранял меня во время сна, и еще раз благодарю тебя за это, хотя я не нуждался в охране. Куда направляешься ты, друг?

— Никуда. Мы, монахи, всегда странствуем, пока не наступит дождливое время года. Мы постоянно переходим с места на место, живем по уставу, возвещаем учение, собираем подаяния и идем дальше. Всегда мы так живем. Но ты, Сиддхарта, куда идешь?

Сиддхарта ответил:

— Я, как и ты, мой друг, никуда не направляюсь. Я иду, куда глаза глядят — я странствую.

— Ты говоришь, что странствуешь, — сказал Говинда. — И я верю тебе. Но прости, о Сиддхарта, ты не похож на странника. Ты носишь платье богача, на тебе обувь знатного, и твои волосы, пахнущие ароматом благовонной воды, не могут быть волосами странника; такие волосы не бывают у саманы.

— Верно, дорогой, ты наблюдателен, все замечает твой зоркий глаз. Но ведь я не говорил тебе, что я самана. Я сказал лишь, что странствую. Так оно и есть: я странствую.



— Ты странствуешь, — сказал Говинда. — Однако немного встретишь ты странников, которые странствуют, одетые и обутые, как ты, с такими волосами. Много лет я хожу по белу свету, а такого странника ни разу не встречал.

— Верю, мой Говинда, что ни разу не встречал. Но на этот раз, сегодня — ты встретил именно такого странника, в таких именно башмаках, в таком платье. Вспомни. милый: все преходящие в мире формы — преходящи, в высшей степени преходящи наши одеяния, прическа наших волос, преходящи самые волосы и тело наше. Я ношу платье богача — это ты верно заметил. Ношу потому, что сам был богачом; я причесан, как миряне, люди, преданные наслаждениям, ибо и сам был одним из них.

— А теперь, Сиддхарта, кто ты теперь?

— Не знаю, столько же знаю, как и ты. Я иду куда глаза глядят. Я был богачом, а теперь перестал быть таковым. А чем стану завтра — не знаю.

— Ты потерял свое богатство?

— Я потерял его, или, вернее, — богатство потеряло меня. У меня больше нет состояния. Быстро вращается колесо перерождений, Говинда. Где теперь браман Сиддхарта? Где самана Сиддхарта? Где богач Сиддхарта? Быстро меняется все преходящее — ты знаешь это, Говинда.

Долго Говинда глядел на друга молодости, и во взгляде его читалось сомнение. Потом поклонился, как кланяются знатным, и пошел своей дорогой.

С улыбкой на лице глядел ему вслед Сиддхарта. Он все еще любил его, этого верного, нерешительного старого друга. Да и мог ли он в эту минуту, в этот чудный час после своего удивительного сна, весь проникнутый Ом, не любить кого и что бы то ни было? В том-то именно и





состояла волшебная перемена, совершившаяся в нем во время сна и благодаря слову «Ом», что он все любил теперь, что он преисполнен был радостной любви ко всему, что видел. И в том-то именно — казалось ему теперь — и состояла его прежняя болезнь, что он никого и ничего не мог любить.

С улыбкой на лице Сиддхарта глядел вслед уходящему монаху. Сон очень подкрепил его, но зато голод терзал сильнейшим образом — ведь он уже два дня ничего не ел, а давно уже прошло то время, когда он был нечувствителен к голоду. С болью, но вместе и с улыбкой, он вспомнил об этом времени. Тогда — припомнилось ему — он похвалялся перед Камалой тремя вещами, тремя благородными, все побеждающими искусствами: поститься, ждать, мыслить. В этом было его богатство, могущество и сила, в них была его твердая опора. В прилежные, посвященные упорной работе годы своей молодости он изучал эти три искусства и ничего более. А теперь он утратил их. Ни одним из них он не овладел более — ни искусством поститься, ни искусством ждать, ни искусством мыслить. И ради каких презренных вещей он пожертвовал ими! — ради того, что является самым преходящим, — ради чувственных наслаждений, ради привольной жизни, ради богатства. Странно в самом деле сложилась его жизнь. А теперь как будто бы похоже на то, что он стал таким же, как все люди — как люди-дети.

Сиддхарта продолжал размышлять о своем положении. Нелегко давалось ему теперь мышление; ему, в сущности, не хотелось думать, но он принуждал себя к этому.

«Теперь, — размышлял он, — когда все наиболее преходящие вещи ускользнули от меня, я снова стою в мире,



как стоял когда-то, ребенком, — ничего я не могу назвать своим, ничего я не умею, ничего не знаю, ничему еще не научился. Как все это странно! Теперь, когда молодость прошла, когда мои волосы наполовину поседел, когда силы убывают — теперь я, как ребенок, начинаю, все сызнова». Он снова невольно улыбнулся. Да, странная была его судьба! Его жизнь была уже на ущербе, а он снова остался с пустыми руками, гол как сокол, в полном неведении. Но никакого огорчения от этого сознания он не чувствовал, его даже смех разбирал — хотелось хохотать над собой, над этим странным нелепым миром!

— Твоя жизнь уже идет под гору, — сказал он самому себе и рассмеялся. Но тут взгляд его упал на реку, и он обратил внимание, что ведь и река всегда течет вниз, под гору, а все же шумит и поет так весело. Это понравилось ему. Он ласково улыбнулся реке. Разве это не та самая река, в которой он хотел утопиться — когда-то... лет сто тому назад? Или это ему только приснилось?

«Странно, в самом деле, сложилась моя жизнь, — думал он, — странными она шла зигзагами. Мальчиком я имел дело только с богами и жертвоприношениями. Юношей я предавался только аскетизму, мышлению и самопогружению, искал Брамму, почитал вечное в Атмане. Молодым человеком последовал за монахами, жил в лесу, претерпевал зной и холод, учился голодать, умерщвлял свою плоть. Потом учение великого Будды озарило меня дивным светом. Я почувствовал, как мысль о единстве мира обращается в моих жилах, как моя собственная кровь. Но и от Будды, и от великого знания меня потянуло прочь. Я ушел и изучал у Камалы искусство любви, у Камасвами — торговлю, накапливал богатства, мотал деньги, научился баловать свою утробу, уютж-





дать своим страстям. Много лет потерял я на то, чтобы растратить ум, разучиться мыслить, забыть единство, и не похоже ли на то, что медленно, кружными путями, я вернулся теперь к детству, из мыслящего мужа стал взрослым ребенком? И все же этот путь был очень хорош, все же птичка в моей груди, оказывается, не умерла. Но что это был за путь! Через сколько глупостей, пороков, заблуждений пришлось мне пройти, сколько мерзкого, сколько разочарований и горя пришлось пережить, — и все лишь для того, чтобы снова стать, как дитя, и начинать все сызнава! Но так оно и должно было быть. Мое сердце одобряет это, мои глаза улыбаются этому. Я должен был впасть в отчаяние, должен был докатиться до безумнейшей из всех мыслей — до мысли о самоубийстве, чтобы быть в состоянии принять благодать, чтобы снова услышать слово слов — Ом, чтобы снова спать и пробуждаться по-настоящему. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь обрести в себе Атмана. Должен был грешить, чтобы быть в состоянии начать жизнь сызнава. Куда же еще приведет меня путь мой? Он нелеп, этот путь, идет зигзагами, быть может, даже вертится в круге — но пусть. Я пойду дальше по этому пути».

Удивительно радостное чувство волновало его грудь.

— Откуда, — спрашивал он свое сердце, — откуда в тебе это веселье? Уж не от долгого ли хорошего сна, который так подкрепил меня? Или от слова «Ом», произнесенного мною? А может быть, оттого, что я бежал, что мое бегство удалось, что я наконец свободен и стою под небом, как дитя? О, как славно то, что я бежал, что я освободился! Как чист и прекрасен тут воздух, как легко дышится им! Там, откуда я бежал, все пахло притираниями, пряностями, вином, избытком, ленью. Как я ненавижу этот мир богачей, распутников, игроков! Как я

ненавидел самого себя за то, что так долго оставался в этом ужасном мире! Сколько зла я сам себе причинил, как я себя ограблял, отравлял, терзал, как состарил себя, каким стал злым! Нет, никогда больше не стану воображать, как бывало раньше, что Сиддхарта — человек мудрый. Но одно я хорошо сделал, за одно я должен похвалить себя — за то, что я перестал ненавидеть и причинять зло самому себе, что я покончил с той безумной и пустой жизнью. Хвала тебе, Сиддхарта,— после стольких лет, проведенных самым безрассудным образом, ты снова наконец попал на хорошую мысль, совершил нечто дельное: ты услышал пение птички в своей груди и последовал ее голосу!

Так он хвалил себя, радовался своему поступку и с любопытством прислушивался к своему желудку, урчавшему от голода. Порядочная доля страдания и муки — чувствовал он — изжита им до конца в последнее время; до отчаяния, до смерти чуть не довела его та жизнь. Но теперь все обстоит отлично. Он мог еще долго оставаться у Камасвами, наживать деньги, расточать их, ублажать свое тело и давать своей душе погибать от жажды. Еще долго мог бы он прожить в этом покойном, так мягко выстланном аду, не случись того, что с ним было: не настань тот миг полнейшей безнадежности и отчаяния, тот страшный миг, когда он висел над рекой и готов был уничтожить себя. Что он пережил это отчаяние, это глубочайшее отвращение и все-таки не поддался ему, что птичка — этот бодрый источник и внутренний голос — еще жива в нем,— вот что так радовало его, вот чему он улыбался, вот отчего так сияло лицо его под поседевшими волосами!

«Хорошо,— думал он,— изведать самому все то, что надо знать. Что мирские удовольствия и богатства не к





добрю — это я знал уже ребенком. Знал-то знал, да убедился лишь теперь. И теперь я знаю это не только понаслышке, я убедился в этом собственными глазами, собственным сердцем, собственным желудком. Благо мне, что я это знаю!»

Долго еще он размышлял о совершившейся в нем перемене и прислушивался к радостно распевавшей в нем птичке. Но разве эта птичка не умерла в нем, разве он не чувствовал ее смерти? Нет, что-то другое умерло в нем, нечто такое, что уже давно жаждало смерти. Уж не то ли самое, что он когда-то, в годы своего пламенного подвижничества, хотел убить в себе. Уж не его ли это Я, его маленькое тревожное и гордое Я, с которым он боролся столько лет и которое каждый раз заново одерживало над ним победу? То Я, которое после каждой попытки умерщвления, снова оживало, запрещало радость, испытывало страх? Уж не оно-то ли наконец умерло сегодня, вот здесь, в лесу, у этой прелестной реки. И не потому ли, что оно умерло, он чувствовал себя сегодня, как дитя, был так полон доверия, радости, так чужд страху?

Теперь только стал Сиддхарта догадываться, почему, будучи браманом и подвижником, он тщетно боролся с этим Я. В этой борьбе его чрезмерное знание — слишком много он заучил священных стихов и правил для жертвоприношений, — чрезмерное самоистязание и усердие были ему только помехой. Он был тогда полон высокомерия — ведь он всегда был самый умный, самый старательный, всегда на шаг впереди всех, всегда в нем преобладало духовное начало, всегда в нем чувствовался священник и мудрец. В это-то священничество, в это-то высокомерие и духовность и заползло его Я, там оно засело крепко и росло, в то время как он воображал, что



умерщвляет его постом и покаянием. Теперь он убедился, что прав был тот внутренний голос, который говорил ему, что никакой учитель не приведет его к искуплению. Оттого-то он и должен был уйти в мир, расточать свои силы на наслаждения и власть, на женщин и деньги, должен был стать торгашом, игроком в кости, пьяницей и корыстолюбцем, пока не умер в нем священник и монах. Оттого-то он и должен был влачить годами это безобразное существование, выносить с омерзением пустоту и бессмысленность загубленной жизни, выносить до конца, до горького отчаяния, пока не умер в нем Сиддхарта-кутила, Сиддхарта-корыстолюбец. Он умер наконец! Новый Сиддхарта проснулся после того сна. И этот Сиддхарта в свою очередь состарится, и этот когда-нибудь должен будет умереть. Бренным созданием был Сиддхарта, бренными были все создания в мире. Но сегодня этот новый Сиддхарта был молод, был как дитя, сегодня он полон был радости.

Вот какие мысли проносились в голове Сиддхарты, и в то же самое время он с улыбкой прислушивался к недовольству своего желудка, радовался жужжанию пчелы. Весело глядел он на катящуюся реку. Никогда ни одна река не нравилась ему так, как эта, никогда голос и образ уносимой течением воды не казался ему таким прекрасным и красноречивым. Ему казалось, что эта река может ему сказать что-то особенное, что-то такое, чего он еще не знает, но что ему необходимо узнать. В этой реке Сиддхарта хотел утопиться, в ней и потонул сегодня старей, усталый, отчаявшийся Сиддхарта. Новый же Сиддхарта чувствовал глубокую любовь к этой катящейся воде и решил про себя, что не так-то скоро уйдет от нее.





ПЕРЕВОЗЧИК

«Я тут останусь, — подумал Сиддхарта. — Это та самая река, через которую я переправлялся когда-то по пути к людям-детям. Тут был приветливый такой перевозчик — пойду и разыщу его. По выходе из его хижины и началась тогда моя новая жизнь, теперь уже старая и поконченная. Пусть и мой теперешний путь, предстоящая мне новая жизнь начнется на том же месте».

С нежностью глядел он на катящуюся реку, на прозрачную зелень, на хрустально-чистые линии ее загадочных очертаний. Светлые жемчужины поднимались на его глазах из глубины, тихие воздушные пузыри плавали по зеркалу воды; и в них отражалась синева неба. Тысячей глаз глядела на него река — зеленых, белых, чистых, как хрусталь, синих, как небо. Как он любил эту реку, как восхищался ею, как он был ей благодарен! И голос его сердца, только что проснувшийся голос говорил ему также: «Люби эту реку. Оставайся близ нее! Учись у нее!» О да. Он будет к ней прислушиваться, будет у нее учиться. Кто поймет эту реку и ее тайны — думалось ему — тот поймет и многое другое, перед тем откроется много тайн, все тайны...

Из тайн же самой реки он в этот день узнал лишь одну, и та поразила его душу. Он видел: эта вода текла и текла; она текла безостановочно и все же всегда была тут, всегда во всякое время была такою же, хотя каждую минуту была новой. О если бы постичь, раскрыть эту тайну! Он еще не понимал, не постигал этого, в нем только шевелились догадки, отдаленные воспоминания, божественные голоса...

Сиддхарта поднялся с места. Невыносимым стал терзавший его голод. С глубоким интересом пошел он далее

по береговой дорожке, вверх по течению, прислушиваясь к шуму воды, прислушиваясь к ворчанию голода в своих внутренностях.

Когда он пришел к перевозу, лодка как раз готова была отчалить, и в ней стоял тот самый перевозчик, который когда-то перевез через реку молодого саману. Сиддхарта узнал его, хотя и он сильно постарел.

— Ты перевезешь меня? — спросил он.

Перевозчик, удивленный тем, что такой знатный господин пришел один и пешком, принял его в свою лодку и отчалил от берега.

— Прекрасное занятие ты выбрал себе, — сказал Сиддхарта. — Чудесно, должно быть, жить всегда у этой реки и ездить по ней.

С улыбкой качнул головой гребец:

— Да это чудесно! Ты верно заметил, господин. Но разве не всякая жизнь, не всякий труд прекрасен?

— Возможно. Но мне кажется завидным именно твое занятие.

— Ну, тебе оно скоро надоело бы. Такая работа не подходит для хорошо одетых людей.

Сиддхарта рассмеялся.

— Вот уже второй раз за сегодняшний день ко мне из-за моего платья относятся с недоверием. Не хочешь ли, перевозчик, принять от меня это платье, которое мне надоело? Ты должен знать, что у меня нет денег, чтобы заплатить тебе за перевоз.

— Господин шутит, — рассмеялся перевозчик.

— Я не шучу, друг мой. Один раз ты уже перевез меня в своей лодке через эту реку, и перевез даром. Сделай же это и сегодня и прими взамен платы мое платье.

— Как же господин отправится дальше без платья?

— Видишь ли, я предпочел бы не отправляться даль-





ше. Приятнее всего мне было бы, перевозчик, если бы ты дал мне какой-нибудь старый фартук и взял бы к себе помощником — вернее, учеником, так как я должен еще научиться, как управлять лодкой.

Долго и пытливо глядывался перевозчик в лицо чужого.

— Теперь я узнаю тебя, — сказал он наконец. — Когда-то ты переночевал в моей хижине. Давно уж это было, пожалуй, больше двух десятков лет тому назад. Я перевез тебя через реку, и мы распрощались, как добрые друзья. Помнится, ты был тогда саманой? Но твоего имени я не могу припомнить.

— Меня зовут Сиддхартой, и я был саманой, когда ты видел меня в последний раз.

— Добро пожаловать, Сиддхарта! Меня зовут Васудева. Ты и сегодня, надеюсь, будешь моим гостем и проведешь ночь в моей хижине. Ты расскажешь мне, откуда ты идешь и почему твое прекрасное платье так надоело тебе.

Они выехали на середину реки, и Васудева сильнее приналег на весла, чтобы справиться с течением. Спокойно работал он своими сильными руками, следя за острым концом лодки. Сиддхарта сидел, глядел, как он работает, и вспоминал, как уже тогда, в последний день своей жизни аскета-саманы, в его сердце зародилась любовь к этому человеку. Он принял с благодарностью его предложение. Когда они причалили к берегу, он помог ему привязать лодку к кольишке, после чего перевозчик пригласил его войти в хижину, предложил ему хлеба, воды и плодов манго, и Сиддхарта поел всего с наслаждением.

Потом — солнце близилось уже к закату — они сели на древесный пенек у берега, и Сиддхарта рассказал пе-



ревозчику о своем происхождении и своей жизни, изобразив ее в том самом свете, в каком он видел ее сегодня, в час отчаяния. До поздней ночи длился его рассказ.

Васудева слушал с глубоким вниманием. Все он выслушал с одинаковым интересом: о происхождении и детстве Сиддхарты, о годах учения и исканий, о радостях и горестях. Это было, между прочим, одним из главных достоинств перевозчика — он умел слушать, как редко кто умеет. Хотя он не произносил ни слова, но рассказчик все время чувствовал, как Васудева вбирает в себя его слова — тихо, откровенно, терпеливо, не теряя ни одного слова, не проявляя нетерпения, не прерывая ни похвалой, ни порицанием. Сиддхарта чувствовал, какое это счастье — исповедаться перед таким слушателем, раскрыть перед ним всю свою жизнь, все свои искания, все свои страдания.

Но к концу повествования, когда Сиддхарта заговорил о дереве на берегу реки, о своем глубоком падении, о священном Ом и о том, как, проснувшись, он почувствовал такую сильную любовь к реке, внимание перевозчика, казалось, удвоилось: он был всецело захвачен рассказом и слушал его с закрытыми глазами.

Когда же Сиддхарта смолк и наступила продолжительная тишина, Васудева сказал:

— Так я и думал! Река заговорила с тобой. И тебе она друг, и тебе она говорит. Это хорошо, очень хорошо. Оставайся со мной, Сиддхарта, друг мой. У меня когда-то была жена; ее ложе было рядом с моим. Но ее уже давно нет в живых, давно уже я живу один. Будь ты теперь моим товарищем — места и пищи хватит на двоих.

— Благодарю тебя, — ответил Сиддхарта, — благодарю и принимаю твое предложение. И за то благодарю тебя, Васудева, что ты так хорошо слушал меня. Редко





встречаются люди, умеющие слушать, а такого, как ты, слушателя я не встретил ни разу. И в этом мне придется поучиться у тебя.

— Ты научишься этому,— сказал Васудева,— но не у меня. Я научился слушать от реки; и тебя она научит этому. Река все знает, у нее всему можно научиться. Смотри — одному тебя уже научила река: что хорошо стремиться вниз, опускаться, искать глубины. Богатый и знатный Сиддхарта становится гребцом; ученый браман Сиддхарта становится перевозчиком — ведь и это внушено тебе рекой. Она и другому тебя научит.

— В чем это другое, Васудева?— сказал Сиддхарта после продолжительной паузы.

Васудева поднялся с места.

— Уже поздно,— сказал он, — пора идти спать. Я не могу тебе сказать, в чем это «другое», друг мой. Ты узнаешь это сам, а может быть уже знаешь. Видишь ли ты, я не ученый, я не умею говорить, не умею также размышлять. Я умею только слушать и быть скромным — больше я ничему не научился. Если бы я мог это объяснить другим, я, может быть, прослыл бы мудрецом. Но я только перевозчик, и моя задача — перевозить людей через реку. Много народу перевез я на ту сторону, тысячи людей, но все они смотрели на мою реку лишь как на помеху в пути. Они отправлялись по делам и за деньгами, на свадьбы и на богомолье, река же преграждала им путь, и перевозчик на то и был тут, чтобы дать им возможность быстро преодолеть это препятствие. Только немногие из этих тысяч, весьма немногие — четверо или пятеро — перестали видеть в реке помеху — они услышали ее голос, они прислушались к нему, и река стала и для них такой же священной, как и для меня.

Сиддхарта остался у перевозчика и научился управ-

лять лодкой. А если на перевозе нечего было делать, он работал вместе с Васудевой на рисовом поле, собирал дрова, срывал плоды с банановых деревьев. Он научился делать весла, чинить лодку, плести корзины, радовался всякому вновь приобретенному навыку, и время быстро пролетало для него. Но еще больше, чем у Васудевы, он научился у реки. У нее он учился беспрестанно. Прежде всего он учился слушать — прислушиваться с тихим сердцем, с раскрытой, полной ожидания душой, без увлечения, без желания, без суждения и мнения.

Его отношения с Васудевой были самые дружеские. От времени до времени они обменивались несколькими словами — немногими, но глубоко продуманными. Васудева был не словоохотлив. Редко Сиддхарте удавалось вызвать его на разговор.

— Ты также, — спросил он его однажды, — узнал от реки ту тайну, что время не существует?

Лицо Васудевы просияло улыбкой.

— Да, Сиддхарта, — сказал он. — Ты хочешь сказать, что река одновременно находится в разных местах — у своего источника, и в устье, у водопада, у перевоза, у порогов, в море, в горах — везде в одно и то же время, и что для нее существует лишь настоящее — ни тени прошедшего, ни тени будущего?

— Ты верно понял меня, — ответил Сиддхарта. — И когда я познал это, то оглянулся на свою жизнь и увидел, что и жизнь моя похожа на реку, что мальчика Сиддхарту отделяют от мужа Сиддхарты и старика Сиддхарты только тени, а не реальные вещи. Точно так же и прежние воплощения Сиддхарты не были прошедшими, а его смерть и возвращение к Бrame не представляют будущего. Ничего не было, ничего не будет: все есть, все имеет реальность и настоящее.





Сиддхарта говорил все это с восторгом — это снизошедшее на него откровение доставляло ему глубокое счастье. Разве всякое страдание не существовало во времени, разве все душевные терзания и тревоги не были во времени? И разве все тяжелое, все враждебное в мире не исчезало, не оказывалось побежденным, как только человек побеждал время, как только он отрешался умом от времени? Сиддхарта проговорил это с восторгом. Васудева же улыбнулся ему с сияющей улыбкой и кивнул утвердительно головой. Кивнул безмолвно, провел правой рукой по плечу Сиддхарты и снова принялся за работу.

В другой раз, когда река в период дождей вздулась и сильно шумела, Сиддхарта заметил:

— Не правда ли, друг, у реки много голосов, очень много? Ты не находишь, что у нее бывает то голос царя или воина, то голос быка или ночной птицы, то голос, напоминающий крик женщины во время родов или вздохи несчастного, и еще тысячи других голосов?

— Это верно, — кивнул головой Васудева, — все голоса в мире заключены в голосе реки.

— И знаешь, — продолжал Сиддхарта, — какое слово она произносит, когда тебе удастся услышать одновременно все ее десять тысяч голосов?

Со счастливой улыбкой Васудева склонился к Сиддхарте и шепнул ему на ухо священное слово «Ом». Его-то именно и расслышал Сиддхарта в шуме реки.

И со дня на день улыбка последнего становилась все более похожей на улыбку перевозчика, становилась почти такой же сияющей, почти столь же светилась счастьем; так же, как и у Васудевы, она светилась в тысяче морщинок, была такая же детская и такая же старческая. Многие проезжие, видя обоих перевозчиков, принимали их за братьев. Часто по вечерам они сидели рядом на пне

у берега и молча прислушивались к шуму воды, который был для них не простым шумом, а голосом жизни, голосом сущего, вечно образующегося вновь. И подчас случалось, что оба, слушая реку, одновременно думали об одном и том же: о недавнем разговоре, об одном из проезжих, заинтересовавшем их своей наружностью или судьбой, о смерти, о своем детстве, и оба они, если река говорила им что-нибудь хорошее, одновременно взглядывали друг на друга с одной и той же мыслью, одинаковым ответом на один и тот же вопрос.

От этого перевоза и от обоих перевозчиков исходило что-то особенное, и оно ощущалось многими из проезжих. Случалось иногда, что проезжий, взглянув в лицо одного из перевозчиков, начинал вдруг рассказывать про свою жизнь, про свое горе, сознавался в содеянном зле, просил утешения и совета. Случалось, что иной просил позволения провести у них вечер, чтобы слушать реку. Случалось также, что к ним приходили любопытные, просльшавшие, что у этого перевоза живут двое мудрецов, или волшебников, или святых. Любопытные забрасывали их вопросами, но, не получая ответов, приходили к заключению, что тут нет никаких волшебников или мудрецов, а просто два приветливых старичка, казавшиеся немymi, немного странные и придурковатые. И любопытные смеялись и толковали между собою о том, до чего глупы и легковверны те, которые распространяют подобные слухи.

Годы уходили и никто не считал их. Но вот однажды пришли монахи, последователи Готамы Будды, и просили перевезти их через реку. От них перевозчики узнали, что они спешат к своему великому учителю, так как распространилась весть, что Возвышенный опасно болен и скоро в последний раз умрет человеческой смертью,





дабы достигнуть окончательного искупления. В скором времени пришла новая партия монахов, потом еще одна. Все они, как и большинство проезжих и странников, не говорили ни о чем ином, как о Готаме и его близкой кончине. И подобно тому, как при известии о военном походе или предстоящем венчании какого-нибудь царя со всех сторон стекаются люди и собираются в кучи, подобно муравьям, так точно, словно привлеченные чарами, стекались монахи туда, где великий Будда ждал смерти, где должно было свершиться событие неизмеримой важности, где великий Совершенный того века должен был почить в блаженстве.

Много думал за это время Сиддхарта об умирающем мудреце, о великом учителе, чей голос поучал народы и пробудил сотни тысяч людей, чей голос и он когда-то слышал, на чье святое лицо и он когда-то взирал с благоговением. С хорошим чувством вспоминал он о том времени, представлял себе пройденный учителем путь к совершенству и с улыбкой вспоминал слова, с которыми он, молодой человек, обратился к Возвышенному. То были гордые, не по летам рассудительные слова, — думал он с улыбкой. Давно уже он сознавал, что его ничто не разделяет с Готамой, хотя учения его он принять не мог. Да и никакого вообще учения не может принять истинно ищущий, истинно желающий найти. Тот же, кто нашел, тот может признать любое учение, любой путь, любую цель — его ничто более не отделяет от тысячи других, живущих в Вечном, вдыхающих в себя Божественное.

В один из тех дней, когда так много народу совершало паломничество к умирающему Будде, к нему отправилась и Камала, когда-то прекраснейшая из куртизанок. Давно уже она оставила прежнюю жизнь. Она

подарила свой сад монахам Готамы, приняла его учение и стала одной из тех, которые возлагали на себя заботу и попечения о странниках. Услыхав о близкой смерти Готамы, она тотчас же вместе со своим мальчиком Сиддхартой пустилась в путь. Пешком, одетая в простое платье, она шла со своим маленьким сыном по течению реки; но мальчик скоро утомился и проголодался; ему захотелось вернуться домой, и он стал капризничать и хныкать. Камала из-за него должна была часто останавливаться, чтобы дать ему отдохнуть, чтобы покормить его или пожурить. Мальчик привык настаивать на своем. Он не понимал, зачем ему надо вместе с матерью совершать такое тяжелое и скучное паломничество, отправляться в незнакомое место, к чужому человеку, который был святым и собирался умереть. Пусть себе умирает, ему-то, Сиддхарте, какое до этого дело?

Паломники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхарта снова заставил мать сделать привал для отдыха. Камала, впрочем, и сама уже утомилась, и в то время, как мальчик кушал банан, она опустилась на землю, полузакрyla глаза и предалась отдыху. Вдруг она испустила жалобный крик. Мальчик с испугом взглянул на мать, увидел ее побледневшее от ужаса лицо и выползающую из-под ее платья маленькую черную змею, ужалившую Камалу.

Тотчас же оба бросились бежать по дороге, чтобы встретить людей. Они уже почти достигли перевоза, когда Камала свалилась, не в силах идти дальше. Мальчик стал кричать и плакать, поминутно целуя и обнимая мать, та же стала громко звать на помощь, пока эти крики не были услышаны Васудевой, стоящим у перевоза. Прибежав на место, он взял женщину на руки и отнес в лодку; мальчик последовал за ним, и скоро они пришли в





хижину, где Сиддхарта стоял у очага, разводя огонь. Он поднял глаза и прежде всего увидел лицо мальчика, показавшееся ему странно знакомым, напоминающим что-то забытое. Потом увидел Камалу и тотчас же узнал ее, хотя она и лежала без чувств на руках перевозчика. И тогда он понял, что этот мальчик со столь знакомым ему обликом — его родной сын, и сердце у него затрепетало в груди.

Рану обмыли, но она уже успела почернеть и кожа вздулась. Камале влили в рот лекарство, и она очнулась. Она лежала на ложе Сиддхарты, в хижине, а над ней склонился человек, который когда-то так сильно любил ее. Ей показалось, что она видит все это во сне. С улыбкой глядела она в лицо друга, но понемногу пришла в себя, вспомнила об укусе и с тревогой спросила о мальчике.

— Он тут, не беспокойся! — сказал Сиддхарта.

Камала взглянула ему в глаза. Она с трудом ворочала языком, парализованным ядом.

— Ты постарел, милый, — сказала она. — Ты совсем седой. Но ты похож на того молодого саману, который когда-то, почти нагишом, с запыленными ногами, пришел ко мне в сад. Ты теперьходишь на него гораздо больше, чем тогда, когда ты покинул меня и Камасвами. Глазами ты похож на него, Сиддхарта. Увы, и я постарела, очень постарела. Ты узнал меня все-таки?

Сиддхарта улыбнулся:

— Я тотчас же узнал тебя, милая Камала.

— А его ты узнал? — сказала она, указывая на мальчика. — Это твой сын.

Глаза ее приняли блуждающее выражение и скоро закрылись. Мальчик заплакал. Сиддхарта взял его на колени, дал ему поплакать, гладил ему волосы и, глядя

на это детское лицо, вспомнил одну из браманских молитв, которую заучил когда-то, когда сам был маленьким мальчиком. Медленно, нараспев, он стал произносить ее вслух, слова сами собою всплывали в его памяти. И под его напевом мальчик успокоился, перестал плакать и, только изредка всхлипывая, заснул на его коленях. Сиддхарта положил его на постель Васудевы. Последний стоял у очага и варил рис. Сиддхарта кинул ему взгляд, на который тот ответил улыбкой.

— Она умрет, — шепотом сказал Сиддхарта.

Васудева кивнул головой. По его приветливому лицу пробежал отблеск горевшего на очаге огня.

Еще один раз Камала пришла в сознание. Лицо ее исказилось болью. Сиддхарта читал страдания на ее губах, на побледневших щеках. Тихо читал он их, не спуская глаз, и ждал, погруженный в ее страдания. Камала почувствовала это и глазами искала его взгляда. Уловив его, она проговорила:

— Теперь я вижу, что и глаза твои изменились: они теперь совсем иные. Почему же я, однако, узнаю, что ты Сиддхарта? Это ты и как будто не ты.

Сиддхарта не отвечал. Глаза его безмолвно глядели в ее глаза.

— Ты достиг своей цели? — спросила она. — Ты обрел мир?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее руку.

— Я вижу, — сказала она. — Я вижу это. И я обрету мир.

— Ты обрела его, — шепотом проговорил Сиддхарта.

Камала продолжала, не отрываясь, глядеть ему в глаза. Она думала о том, что вот она шла к Готаме, чтобы увидеть лицо Совершенного, чтобы подышать исходящим от него миром, а вместо того нашла Сиддхарту, и что это





так же хорошо, как если бы она видела самого Готаму. Она хотела сказать это Сиддхарте. Но язык уже не повиновался ей. Молча глядела она на Сиддхарту, и он видел по ее глазам, что жизнь в ней угасает. Когда взгляд ее в последний раз выразил страдание и потух, когда последняя судорога пробежала по ее телу, Сиддхарта сам закрыл ей глаза.

Долго сидел он и глядел на ее точно заснувшее лицо. Долго созерцал он ее рот, усталый рот со сжатými губами и вспомнил, что когда-то, в весну своей жизни, сравнил этот рот с только что раскрывшейся смоквой. Долго сидел он, читал в бледном лице, в его усталых складках, впитывал в себя черты покойной, видел себя самого лежащим в таком же положении, таким же побелевшим и угасшим и в то же самое время видел и свое и ее лицо молодыми, с алыми губами, с горящими глазами, и его всецело охватило чувство одновременности настоящего и прошлого, чувство вечности. Глубоко, глубже, чем когда-либо, он почувствовал в этот час неуничтожаемость всякой жизни, вечность каждого мгновения.

Когда он поднялся с места, Васудева предложил ему приготовленного им риса. Но Сиддхарта отказался. В сарае, где помещалась их коза, оба старика устроили себе постель на соломе, и Васудева лег спать. Сиддхарта же вышел и просидел всю ночь перед хижинкой, прислушиваясь к шуму реки, окруженный волнами прошлого, в одно и то же время переживая все периоды своей жизни. От времени до времени он вставал, подходил к дверям и прислушивался, спит ли мальчик.

Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел из сарая и подошел к своему другу.

— Ты не спал? — спросил он.

— Нет, Васудева, я сидел тут и слушал реку. Многое



она мне сказала, глубоко проникся я, благодаря ей, спасительной мыслью — мыслью о единстве.

— Тебя постигло горе, Сиддхарта, но я вижу — скорбь не проникла в твоё сердце.

— Нет, милый, как могу я печалиться? Я, и без того богатый и счастливый, стал теперь ещё богаче и счастливее. Я получил в подарок своего сына.

— И я рад появлению твоего сына. Но теперь, Сиддхарта, нам надо приняться за дело — работы много. Камала умерла на том самом ложе, на котором когда-то умерла моя жена. И костер для Камалы мы соорудим на том же холме, на котором когда-то я воздвиг костер для жены.

Пока мальчик спал, костер был готов.

СЫН

Со страхом и слезами мальчик присутствовал при погребении матери. С испуганным и утрюпым видом он слушал Сиддхарту, когда тот называл его своим сыном и приветствовал его появление в хижине Васудевы. Целыми днями он просиживал, бледный, на могильном холме, едва дотрагивался до пищи, отворачивал свой взгляд от отца, закрывал для него свое сердце, всем видом своим и поведением протестуя против постигшей его судьбы.

Сиддхарта снисходительно относился ко всем выходкам мальчика. Он уважал его печаль. Он понимал, что он еще чужой для сына, что тот не может любить его, как отца. Мало-помалу он заметил, что одиннадцатилетний мальчик — избалованный маменькин сыночек, выросший в богатстве, привыкший к тонким кушаньям, к





мягкой постели, к покорности слуг. Сиддхарта понял, что опечаленный утратой, избалованный мальчик не может сразу и добровольно примириться с жизнью в такой чуждой ему и бедной обстановке. Он поэтому не принуждал его ни к чему, делал за него многие работы, выбирал для него всегда самый лучший кусок, утешая себя надеждой, что понемногу, лаской и терпением, приобретет его любовь.

Богатым и счастливым назвал он себя, когда нашел сына. Но время шло, а мальчик по-прежнему оставался чуждым и мрачным, обнаруживал гордое строптивое сердце, не хотел ничего делать, был непочтителен со стариками, опустошал плодовые деревья Васудевы. И Сиддхарта начал понимать, что сын принес ему не счастье и мир, а горе и заботу. Но он любил сына, и милее ему были горе и забота, внушаемые любовью, чем счастье и радость, но без мальчика.

С тех пор как молодой Сиддхарта жил вместе с ними, оба старика поделили между собой работу. Васудева стал один справляться с перевозом, а Сиддхарта, чтобы не отлучаться от сына, принял на себя все домашние и полевые работы.

Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхарта, что сын наконец поймет его, примет его любовь, быть может, ответит взаимностью. Долгие месяцы ждал и Васудева, молчал и не вмешивался. Но однажды вечером, после того как Сиддхарта-мальчик снова измучил отца своими капризами и упрямством, причем умышленно разбил обе имевшиеся в хижине миски для риса, он отвел своего друга в сторону и заговорил с ним о сыне.

— Прости, — сказал он, — но моя дружба к тебе не позволяет мне больше молчать. Я вижу, что тебя мучает, вижу, какое у тебя горе. Твой сын, милый, причина-



ет тебе заботу, да и мне также. Не к такой жизни, не к такому гнезду привыкла птичка. Ты отказался от города и богатства из пресыщения и отвращения, он же против воли должен был покинуть все это. Я спрашивал реку, друг мой, много раз спрашивал ее. Но река смеется — она смеется над нами обоими, над нашей глупостью. Вода стремится к воде, молодость тянет к молодости. Твоему сыну здесь не место — ему нужна для правильного роста другая почва. Спроси и ты реку, прислушайся и ты к тому, что она говорит.

С горестью взглянул Сидхарта на морщинистое лицо друга, всегда такое ясное и приветливое.

— Но как могу я расстаться с ним? — сказал он тихо и сконфуженно. — Дай мне еще сроку, мильй. Ведь я борюсь, я всеми силами стараюсь покорить его сердце; любовью и ласковым терпением я хочу полонить его. Пусть и он со временем научиться понимать реку. И он из числа призванных.

Улыбка Васудевы расцвела еще теплее.

— О да — и он из числа призванных, и ему предстоит жизнь в вечности. Но знаем ли мы — ты и я, к чему он призван, к какому пути, к каким делам, к каким страданиям? Немало ждет его в жизни страданий, ведь сердце у него гордое и суровое, много страданий, много ошибок, много несправедливостей выпадет на его долю, немало грехов он взвалит себе на плечи. Скажи мне, мильй: ты ведь не воспитываешь своего сына? Не неволишь его? Не бьешь, не наказываешь?

— Нет, Васудева, я ничего подобного не делаю.

— Знаю. Ты не неволишь, не бьешь, не приказываешь ему, так как знаешь, что мягкое крепче твердого, вода сильнее скалы, любовь сильнее насилья. Прекрасно, я одобряю твой образ действий. Но не ошибся ли ты,





полагая, что ты его не принуждаешь, не наказываешь? Разве ты не налагаешь на него цепей своей любовью? Не пристыжаешь его ежедневно, не подавляешь своей добротой и терпением? Разве ты не вынуждаешь его, этого высокомерного и избалованного мальчика, жить в хижине в обществе двух стариков, питающихся бананами, считающих даже рис лакомством, в обществе людей, мысли которых не могут быть его мыслями, сердца которых стары, бьются тише и иначе, чем его сердце? Разве все это не является для него принуждением, наказанием?

Пораженный Сиддхарта опустил глаза. Потом тихо проговорил:

— Что же, по-твоему, я должен делать?

И Васудева ответил:

— Отведи его обратно в город, верни в дом матери — там, наверно, еще остались прежние слуги. А если никого не осталось, то отведи его к учителю — не ради учения, но чтобы он попал в общество других мальчиков и девочек, чтобы он попал в тот круг, к которому принадлежал раньше. Тебе никогда не приходило это в голову?

— Ты видишь мое сердце насквозь, — печально произнес Сиддхарта. — Не раз я думал об этом. Но посуди — как могу я оставить его в том мире, при его и без того не кроткой натуре? Не станет ли он еще более своенравным, не увлечется ли наслаждениями и властью, не повторит ли он все ошибки своего отца? Кто знает, не погибнет ли он окончательно в сансаре?

Еще ярче засияла улыбка перевозчика. Он ласково дотронулся до руки Сиддхарты и сказал:

— Спроси об этом у реки, друг. Послушай, как она будет смеяться над твоим вопросом. Неужели ты серьезно полагаешь, что твои ошибки могут избавить твоего сына от подобных же ошибок. И каким способом ты

можешь уберечь его от сансары? Учением, молитвой, увещаниями? Милый, неужели ты совсем позабыл ту историю, ту поучительную историю о сыне брамана Сиддхарте, которую ты когда-то рассказал мне на этом самом месте? Кто уберег саману Сиддхарту от сансары, от греха, от алчности и безумства? Разве уберегли его от всего этого благочестие отца, наставления учителей, его собственное знание, собственные искания? Какой отец, какой учитель мог помешать ему самому переживать свою жизнь, самому познакомиться со всей ее грязью, самому грешить, самому испытать горькую чашу и самому же выйти на дорогу? Неужели ты, мой милый, думаешь, что кого-нибудь может миновать эта чаша? И что таким исключением будет именно твой сыночек, потому что ты его любишь, потому что тебе так хотелось бы уберечь его от горя, страдания и разочарования? Но хотя бы ты ради него десять раз претерпел смерть, тебе все же не удастся избавить его ни на йоту от ожидающей его участи.

Никогда еще Васудева не говорил так долго. Сиддхарта дружески поблагодарил его, горестно вошел в хижину и долго не находил сна. Друг не сказал ему ничего такого, чего бы он сам не думал и не знал. Но это знание он не в состоянии был применить на деле. Сильнее этого знания была его любовь к мальчику, его нежность, его страх потерять сына. Разве случалось ему до такой степени отдавать кому-нибудь свое сердце, разве когда-нибудь случалось ему любить человека так слепо, с такой болью, не встречая взаимности и чувствуя себя все-таки счастливым этой любовью?

Сиддхарта не мог последовать совету друга — он не в состоянии был расстаться с сыном. Он позволял мальчику командовать над ним, держать себя с ним непочтительно. Он молчал и ждал, каждый день начиная сяз-





нова немую борьбу кротости, безмолвную войну терпения. Молчал и Васудева и ждал, приветливый, всепонимающий, долготерпеливый. По части терпения оба не имели себе равных.

Однажды, когда лицо мальчика особенно сильно напомнило ему Камалу, Сиддхарта внезапно вспомнил слова, когда-то, в дни молодости сказанные ею: «Ты неспособен любить», — сказала она ему — и он согласился и сравнил себя со звездой, а людей-детей — с падающими листьями. И все же в словах Камалы он почувствовал тогда упрек. В самом деле, он никогда не мог всецело, до самозабвения отдаться другому человеку, никогда не совершал ради другого безумств любви. Он считал себя совершенно неспособным на это, и в этой-то его неспособности — казалось ему тогда — и заключалось то большое различие, которое существовало между ним и людьми-детьми. Но теперь, с тех пор, как у него появился сын, и сам он, Сиддхарта, стал одним из последних; и он страдал из-за другого человека, любил другого человека, весь отдаваясь этой любви, совершал ради нее безрассудства. Теперь и он наконец, хоть и поздно, испытал эту самую странную, самую могучую из всех страстей, страдал от нее, страдал мучительно, и все же чувствовал себя счастливым, словно в чем-то обновленным, словно чем-то обогащенным.

Конечно, он сознавал, что такая слепая любовь к сыну есть слабость, обыкновенная человеческая страсть, что и она — сансара, не совсем чистый источник, мутная вода. Но вместе с тем он чувствовал, что и такая любовь имеет свою ценность, что она даже необходима, как все вытекающее из глубины человеческого существа. И эту жажду следовало утолить, и эти страдания надо было изведать, и такие безрассудства надо было совершить.

А сын между тем заставлял его совершать их одно за другим — он заставлял отца ухаживать за ним, смиряться перед его капризами. Этот отец не обладал ничем, что могло бы восхищать мальчика или внушать ему страх. Он был добряк, этот отец, — добрый, ласковый, кроткий человек, быть может, очень благочестивый, быть может, даже святой. Но все это были такие качества, которые ничуть не пленяли мальчика. Скучно было ему в обществе этого отца, державшего его как в плену в своей жалкой хижине. Надоел он ему смертельно, а то, что на каждую скверную проделку мальчика он отвечал улыбкой, на каждое обидное слово — отзывался ласковым словом, на каждую злобную выходку отвечал добротой — это-то именно и представлялось ему самой ненавистной уловкой со стороны старого ханжи. Гораздо приятнее было бы мальчику услышать от отца угрозы, претерпевать наказание.

Но наступил день, когда чувства молодого Сиддхарты прорвались наружу, и он открыто выступил против отца. Последний поручил ему набрать хвороста. Но мальчик не пошел, а остался в хижине с дерзким и взбешенным видом, топнул ногой о землю, сжал кулаки и в неистовой вспышке бросил отцу в лицо всю свою ненависть и презрение.

— Сам ступай за хворостом! — крикнул он с яростью. — Я тебе не слуга. Я ведь знаю, почему ты меня не бьешь — ты не смеешь! Я знаю — своей всегдашней кротостью и снисходительностью ты хочешь только унижить меня — это твой способ наказания. Ты хотел бы, чтобы я стал таким же, как ты — таким же смиренным и кротким, таким же мудрым. А я — так и знай — тебе назло я предпочту стать грабителем и разбойником и попасть в ад, чем стать таким, как ты. Я ненавижу тебя.





Ты не отец мне, хотя бы ты десять раз был любовником моей матери.

Гнев и горе так и душили его и вырывались в необузданных и злобных словах, направленных против отца. Потом он убежал и вернулся домой лишь поздно вечером.

Но на другое утро он окончательно исчез. Вместе с ним исчезла и маленькая сплетенная из двухцветной коры корзинка, в которой перевозчики хранили те медные и серебряные монеты, которые они получали как плату за перевоз. Исчезла и лодка. Сиддхарта увидел ее лежащей на другом берегу. Мальчик бежал.

— Я должен пойти за ним, — сказал Сиддхарта, который после вчерашней сцены с мальчиком еще весь дрожал от горя. — Ребенку нельзя ходить одному через лес. Он погибнет. Мы должны соорудить плот, Васудева, чтобы переправиться через реку.

— Мы построим плот, чтобы привести обратно лодку, похищенную мальчиком, — сказал Васудева, — а за ним гоняться не следует, мой друг. Он уже не ребенок, он сам за себя постоит. Он направился в город, и он прав — не забывай этого. Он делает то, что тебе следовало сделать. Он сам заботится о себе, идет своей дорогой. Ах, Сиддхарта, я вижу, что ты страдаешь, но над такими страданиями следовало бы посмеяться. Да ты и сам скоро будешь смеяться над ними.

Сиддхарта ничего не ответил. Он уже взял в руки топор и начал сколачивать плот из бамбука, а Васудева помогал ему, связывая стволы сплетенной из трав бечевой. Потом они переправились на ту сторону, и так как их унесло вниз течением, то им пришлось тащить плот по берегу против течения.

— Зачем ты захватил топор? — спросил Сиддхарта.



— На случай, если весло пропало, — ответил Васудева.

Но Сиддхарта понял, почему его друг захватил топор. Он опасался, что мальчик забросил или сломал весло, чтобы отомстить и помешать им преследовать его. И в самом деле, в лодке весла не оказалось. Васудева показал рукой на дно лодки и взглянул на друга с улыбкой, словно говоря: «Разве ты не видишь, что говорит тебе твой сын? Разве не видишь, что он не хочет, чтобы его преследовали?» Но он не сказал этого вслух и принялся обтесывать новое весло. Сиддхарта же попрощался с ним, чтобы отправиться на поиски бежавшего, и Васудева не возражал.

Но когда он успел уже пройти лесом значительное расстояние, у Сиддхарты явилась мысль, что напрасны поиски. Либо — подумал он — мальчик уже далеко опередил его и теперь находится в городе, либо же, если он еще в лесу, то, наверно, будет прятаться от своего преследователя. Продолжая размышлять, он пришел к сознанию, что он, в сущности, совсем не тревожится за сына, что он в глубине души знает, что тот не погиб, что ему в лесу не грозила никакая опасность. И все же он шел безостановочно — уже не для того, чтобы спасти мальчика, но из желания хоть раз еще повидать его. Так он дошел до самого города.

Когда поблизости от города он вышел на большую дорогу, то остановился у входа в прекрасный парк, который когда-то принадлежал Камале и где он впервые увидел ее в носилках. В душе его оживили воспоминания о том времени; он увидел себя таким, каким стоял тогда у входа, — молодым, обросшим бородой, почти ничем не прикрытым саманой, с запыленными волосами. Долго стоял он и смотрел в открытые ворота сада, где монахи





в желтых рясах рассказывали между прекрасными деревьями.

Долго стоял он, погруженный в раздумье, созерцая картины прошлого, прислушиваясь к истории своей жизни. Долго стоял он, глядя вслед монахам, но вместо них видел молодого Сиддхарту, видел молодую Камалу гуляющими под высокими деревьями. Он с совершенной ясностью видел самого себя, видел, как его угощала Камала, как он получил ее первый поцелуй, как он гордо и презрительно оглянулся на свое прошлое брамана, как гордо и жадно устремился в мирскую жизнь. Он видел вновь Камасвами, видел своих слуг, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую птичку Камалы в клетке, вновь переживал все это, дышал воздухом сансары и затем снова чувствовал себя старым и утомленным, снова переживал тогдашнее отвращение и желание покончить с собой и снова исцелялся священным «Ом».

Простояв долгое время у ворот сада, Сиддхарта понял, как нелепо было то желание, которое привело его сюда. Он понял, что не может ничего сделать для сына, что он не вправе приставать к нему. Словно рана, горела у него глубоко в сердце любовь к бежавшему, но в то же время он чувствовал, что не следует растревлять эту рану, что надо дать ей распуститься в цветок и излучать из себя свет.

Но в этот час рана еще не цвела, еще не излучала света, и потому он оставался печальным. То желание-цель, которое привело его сюда, вослед убежавшему сыну, теперь сменилось чувством пустоты. Печально опустился Сиддхарта на землю, чувствуя, как что-то умирает в его сердце, чувствуя пустоту, не видя перед собой никакой радости, никакой цели. Так сидел он, погруженный в себя, и ждал. Этому-то он научился у реки: ждать, иметь



терпение, прислушиваться. И он сидел и слушал, сидел в пыли проезжей дороги и прислушивался к своему сердцу, которое билось так устало и печально, и ждал какого-нибудь голоса. Не один час просидел он таким образом — он уже не видел никаких картин, он все глубже погружался в пустоту, не видя перед собой дороги. А когда рана начинала гореть особенно сильно, он беззвучно произносил слово «Ом», преисполнялся этого Ом. Монахи в саду увидали его, и так как он уже много часов сидел, съезжившись, на одном месте и на его седых волосах накоплась пыль, то один из монахов вышел из сада и положил перед ним два банана. Старик даже не заметил этого.

Из этого оцепенения его пробудила чья-то рука, коснувшаяся его плеча. Он тотчас же узнал это нежное, стыдливое прикосновение и пришел в себя. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который последовал за ним. А когда он взглянул в приветливое лицо Васудевы, в его маленькие, словно заполненные одними улыбками морщинки, в ясные глаза, тогда и он улыбнулся. Тут он увидал перед собой положенные монахом бананы, поднял их, один протянул перевозчику, а другой съел сам. После чего молча отправился с Васудевой в лес и вернулся к перевозу. Никто не обмолвился ни словом о том, что произошло в этот день, — никто не произнес имени мальчика, не говорил об его бегстве, не вспоминал про нанесенную им рану. Придя в хижину, Сиддхарта лег на свое ложе, и когда Васудева через некоторое время подошел к нему, чтобы предложить чашку кокосового молока, то нашел его уже погруженным в сон.





Долго еще горела рана Сиддхарты. Не раз случалось ему переправлять через реку проезжих, имевших при себе сына или дочь, и ни разу не случалось, чтобы он не почувствовал зависти, не подумал: «Столько людей, столько тысяч людей обладают этим сладостнейшим счастьем — почему же я лишен его? Ведь и злые люди, воры и убийцы имеют детей, любят их и любимы ими — один лишь я лишен этого блага». Так просто, так неразумно рассуждал он теперь, до такой степени уподобился он людям-детям.

Совсем иными глазами глядел он теперь на людей — менее рассудочно, менее гордо, зато с большей теплотой, с большим интересом и сочувствием. Когда он перевозил людей обычного типа — людей-детей, дельцов, воинов, женщин, то они уже не казались ему чуждыми, как бывало, он понимал их, понимал и сочувствовал их жизни, руководимой не мыслями и умозрениями, а инстинктами и желаниями. Он чувствовал себя таким же, как они. Уже близкий к совершенству, переживая свое последнее личное горе, он все же смотрел на этих людей как на своих братьев. Их суетные, мелкие желания и вожделения перестали казаться ему смешными — они были ему теперь понятны, достойны любви, даже уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость отца, восторгающегося воображаемыми достоинствами своего сынка, слепая неукротимая страсть к украшениям и жажда восхищенных мужских взоров у молодой, тщеславной женщины — все эти ребячества, все эти простые, нелепые, но необыкновенно сильные, живучие и властно требующие удовлетворения инстинкты

и страсти уже не казались Сиддхарте ребячеством. Он убедился, что люди живут ими, что ради них они совершают бесконечно многое — предпринимают путешествия, ведут войны, претерпевают всевозможные лишения и страдания. И он научился теперь любить их за это. Он видел жизнь, живое, неуничтожаемое, видел Брахму в каждой из человеческих страстей, в каждом человеческом поступке. Достоянными любви и удовлетворения казались ему теперь люди в своей слепой верности, слепой силе, упорстве. Ничем они не стояли ниже, ни одного преимущества не имел над ними ученый и мыслитель, кроме одного, единственного: сознания, сознательной мысли об единстве всего живущего. И подчас у Сиддхарты даже возникало сомнение, действительно ли это знание, эта мысль имеют такую высокую ценность, не представляет ли и это знание одно из ребячеств мыслящих людей, мыслящих людей-детей. Во всем прочем, на его взгляд, мирские люди стояли не ниже, а часто даже выше мудреца, подобно тому, как и животные в своем упорном, не уклоняющемся в сторону стремлении к достижению необходимого им, подчас кажутся стоящими выше людей.



Медленно развивалось и созревало в Сиддхарте сознание, что такое в сущности мудрость, в чем заключалась цель его многолетних исканий. Ведь, в конце концов, она сводилась лишь к готовности души, к способности, к тайному искусству — во всякую минуту, среди всяких переживаний, мыслить, чувствовать, вдыхать в себя Единство. Медленно, словно цветок, распускалось в нем сознание, и на старом детском лице Васудевы он находил отблеск его сияния: гармонию, уверенность в вечном совершенстве мира, улыбку, Единство.



Но рана в душе все еще горела — с тоской и горечью вспоминал Сиддхарта своего сына, лелеял в сердце свою любовь и нежность, растравляя свое горе, совершал все безумства любви. Вовек неугасимым казалось это пламя.

И вот однажды, когда рана горела особенно сильно, Сиддхарта, снедаемый тоской, переправился через реку, вышел из лодки и готов был уже отправиться в город, чтобы разыскать сына. Река текла медленно и тихо — это было в сухое время года, — но голос ее звучал как-то странно, словно она смеялась. Да, несомненно, она смеялась! Река звонко и явственно смеялась над старым перевозчиком. Сиддхарта остановился, склонился над водой, чтобы лучше слышать, и в медленно протекавшей воде увидел свое лицо. В этом отраженном лице было нечто, напомнившее ему о чем-то позабытом. Он подумал и вспомнил: это лицо походило на другое, которое он когда-то знал, любил и вместе с тем боялся. Оно походило на лицо его отца, брамана. И Сиддхарта вспомнил, как некогда, юношей, вынудил отца отпустить его к аскетам, как он простился с ним, как ушел и никогда не возвращался. Не заставил ли он своего отца страдать столько же, сколько он страдал теперь из-за собственного сына? Разве отец его не умер уже давно в одиночестве, ни разу не повидав своего сына? Не ожидает ли и его, Сиддхарту, такая же участь? Не комедия ли это, не странная ли глупая вещь это повторение, этот бег в роковом круге?

Река смеялась. Да, это так — все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено. Одни и те же страдания повторяются без конца. И Сиддхарта снова сел в лодку и вернулся в свою хижину, вспоминая своего отца и сына, осмеянный рекой, борясь с самим собой, близкий к отчаянию и в то же самое время склон-



ный громко хохотать над собой и всем миром. Увы, еще не зацвела его рана, еще не примирилось сердце с судьбой, еще не засияла радость победы из его страдания. Но все же в нем уже шевелилась надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувствовал непреодолимое желание раскрыть свою душу перед Васудевой, все показать, все высказать другу, с таким совершенством умевшему слушать.

Васудева сидел в хижине и плел корзину. Он уже не работал у перевоза: его зрение ослабело, и не только зрение, но и руки. Неизменным и цветущим оставалось только ясное, исполненное благожелательности выражение его лица.

Сиддхарта подсел к старику и начал медленно рассказывать. Все, о чем они до сих пор ни разу не заговаривали, все рассказал он теперь: о том, как он побежал вслед за сыном в город, о своих жгучих страданиях, о своей зависти при виде счастливых отцов, о том, что он сам сознает всю безрассудность своих желаний и о тщетности своей борьбы с ними. Все он поведал своему другу — обо всем он мог теперь свободно говорить, даже о самом мучительном. Он раскрыл перед ним свою рану, рассказал и о своем сегодняшнем бегстве, о своей ребяческой затее отправиться в город и о том, как его высмеяла река.

И в то время, как он говорил, а Васудева спокойно слушал, Сиддхарта сильнее, чем когда-либо, ощущал, как благотворно на него действует это свойственное его другу умение слушать. Он чувствовал, как все его страдания, тревоги и тайная надежда переливаются в слушателя, и только последняя возвращается к нему назад. Показать такому слушателю свою рану было все равно, что купать и охлаждать ее в реке, пока жар не спадет и она не сольется с рекой.





И, продолжая говорить и исповедоваться, Сиддхарта все более и более чувствовал, что тот, кто слушает его, уже не Васудева, не человек, что этот неподвижно сидящий слушатель всасывает в себя его исповедь, как всасывает дерево дождевую воду, что этот неподвижно сидящий — сама река, само божество, само вечное. И по мере того, как Сиддхарта переставал думать о себе и о своей ране, сознание происшедшей с Васудевой перемены все более овладевало им. Но чем более он чувствовал эту перемену, тем менее она его удивляла, тем яснее он сознавал, что все это совершенно естественно, что Васудева уже давно, почти всегда был таким, только он, Сиддхарта, не замечал этого — мало того, что он и сам почти ничем не отличается от Васудевы. Он понял, что видит теперь старого Васудеву в таком свете, в каком народ видит богов, и что это не может долго продолжаться. В своем сердце он уже начал прощаться с Васудевой. Но при всем том он продолжал рассказывать о себе по-прежнему.

Когда он кончил свою исповедь, Васудева поднял на него свои ласковые, несколько ослабевшие глаза, и, молча, без слов, озарил его взглядом, полным любви, радости, понимания и знания. Он взял руку Сиддхарты, повел его к их обычному месту на берегу, сел рядом с ним и улыбнулся реке.

— Ты слышал, как она смеялась, — сказал он. — Но ты не все слышал. Давай прислушиваться, ты услышишь еще многое.

Они стали слушать. Мягко звучало тысячеголосое пение реки. Сиддхарта глядел в воду, и в текущей воде перед ним проходили образы: сначала показался отец, одинокий, оплакивающий своего сына, потом он увидел себя, также одинокого, также прикованного цепями тоски



к далекому сыну. Прошел и этот сын, такой же, как он, одинокий, бурно стремящийся вперед по горючей стезе своих молодых желаний — все они стремились к своей цели, каждый был словно одержим своей целью, и каждый страдал. Река пела голосом, в котором звучали страдание и страстная тоска. Со страстным нетерпением она стремилась к своей цели, страстной жалобой звучал ее голос.

«Слышишь?» — спросил немой взор Васудевы.

Сиддхарта кивнул головой.

— Слушай лучше! — прошептал Васудева.

Сиддхарта напряг все свое внимание. Образ отца, его собственный и образ сына слились вместе, один за другим всплывали образы Камалы, Говинды и других людей, но все расходились, растворялись в реке и, вместе с нею тоскуя, желая, страдая, стремились к цели. И голос реки звучал тоскою, жгучею болью, неутолимым желанием. Сиддхарта видел, как спешила к своей цели эта река, состоявшая из него, его близких и всех когда-либо виденных им людей. Все волны и воды стремились к какой-нибудь цели — к водопаду, озеру, к стремнине, морю; все цели достигались, а взамен их являлись новые цели. Вода превращалась в пар, поднимавшийся к небу; пар становился дождем и устремлялся вниз, становился источником, ручьем, рекой и снова начинал стремиться, катиться к цели. Но вот звучащий страстным томлением голос реки изменился. Он слышался и теперь, горестный и ищущий, но другие голоса присоединились к нему — голоса радости и горя, добрые и злые, смеющиеся и печальные, сотни, тысячи голосов...

Сиддхарта все слушал. Он теперь весь превратился в слух. Словно совершенно пустой, он впитывал в себя все звуки и чувствовал, что теперь и сам изучил вполне ис-





кусство слушать. Он и раньше не раз слышал все эти многочисленные голоса в реке, но сегодня они звучали как-то особенно. Уже он не мог больше различать одни голоса от других — радостные от плачущих, детские от голосов взрослых. Все сливалось теперь в одно — жалобы тоскующих и смех умудренных, крики гнева и стоны умирающих — все составляло одно, все сочеталось вместе, все переплелось в тысячекратном сплетении. И все вместе — все голоса, все цели, все порывы и страдания, все наслаждения, все доброе и злое — все вместе взятое составляло мир. Все вместе взятое было потоком событий, было музыкой жизни. А когда Сиддхарта внимательно прислушивался к реке, к ее тысячеголосой песне, когда он не обращал преимущественного внимания ни на жалобы, ни на смех, не уходил к своим Я в один какой-либо голос, а слушал их все одновременно, внимал всему и слышал единство, тогда эта великая песнь, распеваемая тысячами голосов, оказывалась состоящей из одного единственного слова; это было слово «Ом» — совершенство.

— Слышишь? — снова спросил глазами Васудева.

Ярко сияла улыбка Васудевы; она светилась над всеми морщинами его старого лица, как парило Ом над всеми голосами реки. Ярко светилась его улыбка, когда он взглядывал на друга, и так же ярко засияла теперь такая же улыбка и на лице Сиддхарты. Его рана зацвела, его горе стало излучать свет, его Я слилось с вечностью.

В этот час Сиддхарта перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его расцвела радость знания, которому не противится уже воля, которое познало совершенство, примирилось с течением событий — с потоком жизни, которое страдает и радуется вместе со всеми, отдается общему потоку, входит в Единство.



Когда Васудева поднялся с своего сиденья на берегу и, заглянув в глаза Сиддхарты, увидал в них радостный свет знания, он слегка, со свойственной ему нежной и осторожной манерой, коснулся рукой его плеча и сказал:

— Я ждал этого часа, мой милый. Теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго я был перевозчиком Васудевой. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхарта!

Сиддхарта низко склонился перед уходящим.

— Я это знал, — тихо проговорил он. — Ты уходишь в леса?

— Я уйду в леса, я уйду в Единство! — сказал Васудева с сияющим лицом.

И все с тем же сияющим видом он ушел. Сиддхарта провожал его глазами. С глубокой радостью и глубокой серьезностью он смотрел ему вслед, видел его полную мира походку, его озаренную сиянием голову, его светящуюся фигуру.

ГОВИНДА

Вместе с другими монахами Говинда провел однажды время отдыха в парке, подаренном куртизанкой Камалой ученикам Готамы. Тут он не раз слышал об одном старом перевозчике, живущем на расстоянии одного дня пути по берегу реки. Многие считали его мудрецом. Когда Говинда опять пустился в странствие, то направился к перевозу, чтобы иметь возможность познакомиться с перевозчиком. Ибо, хотя он всю свою жизнь провел в строгом согласии с уставом, хотя благодаря своему возрасту и своей скромности пользовался большим уважением со





стороны более молодых монахов, но в сердце его еще не улеглись тревога и искания.

Придя к реке, он попросил старика перевезти его, и, когда они вышли из лодки на другом берегу, он сказал перевозчику: «Много добра ты делаешь нам, монахам и странникам; многих из нас ты уже перевозил. Не принадлежишь ли и ты, перевозчик, к числу ищущих истинного пути?»

На что Сиддхарта, улыбаясь своими старыми глазами, ответил:

— Ты называешь себя ищущим, о почтеннейший, но ведь ты уже в преклонном возрасте и носишь одеяние монахов Готама.

— Стар я, — ответил Говинда, — а искать никогда не переставал. И не перестану — так уж, видно, мне суждено. И ты, сдаётся мне, искал: не скажешь ли ты мне чего-нибудь, почтеннейший?

— Что же я могу сказать тебе, достопочтенный? Разве то, что ты слишком много ищешь; из-за чрезмерного искания ты не успеваешь находить.

— Как так? — спросил Говинда.

— Если кто-нибудь слишком усердно ищет, — сказал Сиддхарта, — то глаз его становится нечувствителен ко всему, помимо того, что он разыскивает, и тогда он ничего не замечает, ничего не воспринимает, потому что его мысль всегда занята искомым, потому что у него есть цель и он одержим этой целью. Искать — значит иметь цель. Находить же — значит: быть свободным, оставаться открытым для всяких восприятий, не иметь цели. Ты, достопочтенный, видно, и в самом деле принадлежишь к числу искателей, ибо, поглощенный своей целью, не замечаешь многого, что у тебя перед глазами.



— Я не совсем понимаю тебя, — сказал Говинда, — что ты хочешь сказать?

— Однажды, о достопочтенный, много лет тому назад, ты уже был в этих местах. Ты увидал на берегу реки спящего человека и остался подле него, чтобы охранять его сон. Ты знал этого спящего, о Говинда, а все-таки не узнал.

Изумленный, словно зачарованный, глядел монах в глаза перевозчика.

— Неужели ты Сиддхарта? — спросил он неуверенным голосом. — Я бы и на этот раз не узнал тебя. От всего сердца приветствую тебя, Сиддхарта. Как я рад, что вижу тебя еще раз! Ты очень изменился, друг. Так ты теперь стал перевозчиком?

С ласковой улыбкой ответил Сиддхарта:

— Да, я стал перевозчиком. Некоторым людям, Говинда, приходится часто менять свой облик, надевать всяческое платье — я из числа таких людей, милый. Добро пожаловать, Говинда, переночуй сегодня в моей хижине.

Говинда провел ночь в хижине Сиддхарты и спал на ложе, принадлежавшем Васудеве. Он осыпал вопросами друга своей молодости, и Сиддхарта должен был рассказать ему многое из своей жизни.

На другое утро, перед тем, как пуститься снова в путь, Говинда — не без колебания — обратился к своему другу со словами:

— Прежде чем продолжать свой путь, Сиддхарта, позволь задать тебе еще вопрос: есть ли у тебя какое-нибудь учение? Есть ли у тебя какая-нибудь вера или знание, которым ты следуешь, которые помогают тебе жить, и жить по правде?

Ему ответил Сиддхарта:





— Ты знаешь, мой милый, что я еще молодым человеком, когда мы жили у аскетов в лесу, перестал доверять учителям и учениям и повернулся к ним спиною. Я и теперь таких же взглядов. Тем не менее у меня с того времени было много учителей. Долгое время моей учительницей была одна прекрасная куртизанка. Еще были у меня учителями богатый купец и несколько игроков в кости. Однажды моим учителем был странствующий ученик Будды. Он сидел подле меня, когда я заснул в лесу во время странствия. И от него я кое-чему научился, и ему я благодарен, весьма благодарен. Но больше всего я учился у этой реки и у моего предшественника, перевозчика Васудевы. Это был совсем простой человек, он не был мыслителем, но он знал то, что знать необходимо, так же хорошо, как и сам Готама. Он и сам был Совершенный, святой.

Говинда же сказал:

— Ты, кажется, и поныне еще любишь немного насмеяться. Я верю тебе, Сиддхарта, и понимаю, что у тебя были многие учителя. Но нет ли у тебя самого если не учения, то хоть известных мыслей, известных познаний, которые выношены тобой одним и помогают тебе жить? Если бы ты поделился ими со мною, то порадовал бы мое сердце.

— Да, — ответил Сиддхарта, — у меня бывали свои мысли, от времени до времени даже являлись откровения. Иногда — в течение часа или целого дня — я чувствовал в себе знание, точь-в-точь, как чувствуешь жизнь в своем сердце. Разные это были мысли, но мне трудно было бы передать их тебе. Вот, к примеру, одна из мыслей, принадлежавших мне лично: мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать другому, всегда смахивает на глупость.

— Ты шутишь? — спросил Говинда.

— Я не шучу. Я говорю то, в чем убедился на деле: передать можно другому знание, но не мудрость. Последнюю можно найти, проводить в жизнь, ею можно руководиться, с ее помощью можно творить чудеса; но передать ее словами, научить ей другого — нельзя. Еще когда я был юношей, у меня временами мелькала эта мысль: она-то и заставила меня уйти от учителей. А вот еще одна мысль, которую ты, Говинда, примешь снова за шутку или за глупость, но которую я считаю лучшей из своих мыслей. Она гласит: по поводу каждой истины можно сказать нечто совершенно противоположное ей, и оно будет одинаково верно. Дело, видишь ли, в том, что истину можно высказать, облечь в слова лишь тогда, когда она одностороння. Односторонним является все, что мыслится умом и высказывается словами — все односторонне, все половинчато, во всем не хватает целостности, округленности, единства. Когда Возвышенный Готама говорил в своих проповедях о мире, то должен был делить его на Сансару и Нирвану, на призрачность и правду, на страдание и искупление. Иначе и нельзя. Нет иного способа для того, кто хочет поучать других. Но сам мир, все сущее вокруг нас и в нас самих, никогда не бывает односторонним. Никогда человек или деяние не бывает исключительно Сансарой или исключительно Нирваной, никогда человек не бывает ни совершенным святым, ни совершенным грешником. Нам представляется так, потому что мы находимся под влиянием ложного представления, будто время есть нечто действительно существующее. Время не существует, Говинда, я часто убеждался в этом. А если время не есть нечто действительно существующее, то грань, по-видимому, отделяющая мир от





вечности, страдание от блаженства, зло от добра, оказывается также призрачной.

— Как так? — испуганно спросил Говинда.

— Слушай, мой милый, слушай внимательно. Грешник, вроде меня или тебя, конечно, грешник и есть, но когда-нибудь он снова будет Брамой; когда-нибудь он достигнет Нирваны, будет Буддой. Так вот, заметь себе: это «когда-нибудь» — только ложное представление, только образное выражение. Грешник не есть человек, еще только находящийся на пути к совершенству Будды; он не находится в какой-нибудь промежуточной стадии развития, хотя наше мышление не в состоянии иначе представлять себе эти вещи. Нет, в грешнике уже теперь, уже сейчас живет будущий Будда, его будущее уже налицо. И в нем, и в тебе, и в каждом человеке ты должен почитать грядущего, возможно, скрытого Будду. Мир, друг Говинда, не есть нечто совершенное или медленно подвигающееся по пути к совершенству. Нет, мир совершенен во всякое мгновение; каждый грех уже несет в себе благодать, во всех маленьких детях уже живет старик, все новорожденные уже носят в себе смерть, а все умирающие — вечную жизнь. Ни один человек не в состоянии видеть, насколько другой подвинулся на своем пути; в разбойнике и игроке ждет Будда, в брамане ждет разбойник. Путем глубокого созерцания можно приобрести способность отрешаться от времени, видеть все бывшее, сущее и грядущее в жизни, как нечто одновременное, и тогда все представляется хорошим, все совершенно, все есть Брама. Оттого-то все, что существует, кажется мне хорошим, смерть, как и жизнь, грех, как и святость, ум, как и глупость. — все должно быть таким, как есть. Нужно только мое согласие, моя добрая воля, мое лю-

бовное отношение — чтобы все оказалось для меня хорошим, полезным, неспособным повредить мне. На собственном теле и на собственной душе я убедился в том, что мне нужен был грех, что и сладострастие, и стремление к земным благам, и тщеславие — мне нужны были в такой же степени, как и мое постыдное отчаяние, дабы наконец отказаться от противодействия миру, дабы научиться любить его таким, как он есть, не сравнивая его более с каким-то желательным, созданным моим воображением миром, с придуманным мною видом совершенства. Вот, о Говинда, некоторые из мыслей, до которых я додумался.

Сиддхарта нагнулся, поднял с земли камень и взвезил его в руке.

— Вот камень, — сказал он, играя последним. — Через некоторое время он, может быть, превратится в прах, а из земли станет растением или человеком. В прежнее время я бы сказал: «Этот камень — только камень. Он не имеет никакой ценности, он принадлежит к миру Майи. Но так как в круговороте перевоплощений он может стать человеком или духом, то я и за ним признаю ценность». Так, вероятно, я рассуждал бы раньше. Ныне же я рассуждаю так: «Этот камень есть камень; он же и животное, он же и бог, он же и Будда. Я люблю и почитаю его не за то, что он когда-нибудь может стать тем или другим, а за то, что он камень, что теперь, сегодня представляется мне камнем — именно за то я люблю его и вижу ценность и смысл в каждой из его жилок и скважин, в его желтом или сером цвете, в его твердости, в звуке, который он издает, когда я постучу в него, в сухости или влажности его поверхности. Бывают камни, которые на ощупь словно масло или мыло; другие напоминают листья, третьи песок; каждый представ-





ляет что-нибудь особенное, каждый молитвенно произносит Ом на свой манер, каждый есть Брама и в то же самое время, в той же самой степени — камень, маслянистый или сочный». И это-то именно нравится мне; это-то и кажется мне удивительным, достойным благоговения. Но довольно об этом. Слова вредят тайному смыслу. Стоит только высказать какую-нибудь мысль вслух, как она уже получает несколько иной характер, звучит немного фальшиво, немного глупо. Впрочем, и это хорошо и нравится мне. Пусть то, что один человек считает своим сокровищем и мудростью, звучит для другого как глупость — я и против этого ничего не имею.

Безмолвно выслушал его Говинда.

— Почему ты выбрал для примера камень? — спросил он нерешительно, после некоторого раздумья.

— Я сделал это случайно. А впрочем я, может быть, и хотел тебе показать, что я одинаково люблю и камень, и реку, и все вещи, на которые мы смотрим и у которых мы можем чему-нибудь поучиться. Камень я могу любить, Говинда, так же, как и дерево или кусок коры. Это вещи, а вещи можно любить. Но слова я любить не могу. Оттого-то всякие учения ничего для меня не стоят; они не обладают ни твердостью, ни мягкостью, у них нет цвета, запаха и вкуса, нет граней — они представляют одни лишь слова. Быть может, именно это, именно обилие слов мешало тебе обрести душевный мир. Ведь искупление и добродетель, Сансара и Нирвана — также одни только слова. Нет такой вещи, которую можно назвать Нирваной. Есть только слово Нирвана.

— Нирвана не одно только слово, друг мой, — заметил Говинда. — Это мысль.

— Мысль — пожалуй, — продолжал Сиддхарта. —

Только признаюсь тебе, мой милый: я не вижу большого различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, я не придаю особого значения и мыслям. Для меня важнее вещь. Здесь, на этом перевозе, например, моим предшественником и учителем был святой человек, который много лет верил в одну только реку, другой религии у него не было. Он заметил, что река имеет голос, и стал прислушиваться к нему. Этот голос стал его учителем и руководителем, сама река представлялась ему божеством. В течение многих лет он и не подозревал, что каждый ветерок, каждое облако, каждая птица или жук в такой же степени божественны, столько же знают и могут научить, как почитаемая им река. Но к тому времени, когда этот святой ушел в леса, он уже знал больше, чем я или ты, и без помощи учителей и книг, — только потому, что он верил в реку.

— Но разве то, что ты называешь «вещами», представляет что-нибудь действительно существующее, имеет реальность? Не являются ли они только обманчивыми, призрачными образами Майи? Разве твой камень, твое дерево, твоя река — реально существующие вещи?

— И это меня мало тревожит, — ответил Сиддхарта. — Пусть вещи имеют только кажущееся бытие. Но ведь в таком случае и мое бытие есть только кажущееся — значит, в том и другом случае они одинаково сродни мне. Оттого я и отношусь к ним с любовью и уважением. Оттого-то я и могу любить их. А вот наконец и мое учение, над которым ты наверно будешь смеяться: **ЛЮБОВЬ**, о Говинда, по-моему, важнее всего не свете. Познать мир, объяснить его, презирать его — все это я предоставляю великим мыслителям. Для меня же важно только одно — научиться любить мир, не презирать его, не ненавидеть





его и себя, а смотреть на него, на себя и на все существа с любовью, с восторгом и уважением.

— Это я понимаю, — сказал Говинда. — Но именно это Возвышенный признал заблуждением. Он предписывает доброжелательность, терпимость, кротость, снисходительность, но не любовь. Он запретил нам отдавать наше сердце любви к земному.

— Знаю, — сказал Сиддхарта, и улыбка засияла на его лице. — Я знаю это, Говинда. Вот мы и забрели с тобой в дебри мнений, в спор из-за слов. Не могу отрицать, мои слова о любви как будто находятся в противоречии со словами Готамы. Оттого я и не доверяю словам. Но это противоречие только кажущееся. Я знаю, что я совершенно согласен с Готамой. Возможно ли, чтобы не знал любви тот, кто, познав свою бренность и ничтожность человеческого бытия, тем не менее настолько любил людей, что посвятил долгую, тяжелую жизнь исключительно на то, чтобы помочь им, просветить их. И в нем, твоём великом учителе, дело мне милее слов, его жизнь и дела важнее его речей, движение его руки важнее его мнений. Не в словах и мыслях я вижу его учение, а в делах, в жизни.

Долго молчали оба старика. Наконец Говинда произнес с прощальным поклоном:

— Благодарю тебя, Сиддхарта, за то, что ты высказал мне некоторые из своих мыслей. Они кажутся мне несколько странными, я не все сразу и понял. Но как бы то ни было, я благодарен тебе и желаю тебе спокойных дней.

Про себя же он подумал: «Странный человек этот Сиддхарта! Странные у него мысли, и нелепо звучит его учение. Не таково чистое учение Возвышенного. Послед-

нее яснее, понятнее, в нем нет ничего странного, нелепого или смешного. Но совсем иными, не похожими на его мысли кажутся мне руки и ноги Сиддхарты, его глаза, его лоб, его дыхание, его улыбка, его поклон и походка. Ни разу с тех пор, как наш Возвышенный Готама ушел в Нирвану, ни разу не встречал я человека, при виде которого я бы почувствовал: вот святой. Один только Сиддхарта внушает мне такое чувство. Пусть его учение звучит странно, пусть его слова кажутся нелепыми — но его взгляд и его рука, его кожа и волосы — все в нем сияет такой чистотой, таким спокойствием, такой ясностью, кротостью и святостью, каких я не видал ни у кого из людей с тех пор, как умер последней человеческой смертью наш Возвышенный Учитель».

С такими мыслями в голове, с противоречивыми чувствами в сердце, Говинда еще раз склонился перед Сиддхартой. Побуждаемый любовью, он низко склонился перед спокойно сидящим.

— Сиддхарта, — сказал он, — мы с тобой уже старики. Вряд ли мы еще раз увидим друг друга в этом образе. Я вижу, возлюбленный, что ты обрел покой. Я же, признаюсь, его не нашел. Скажи же мне, почитаемый, еще одно слово, напутствуй меня чем-нибудь таким, что было бы доступно моему уму. Тяжел и мрачен по временам бывает мой путь, о Сиддхарта!

Сиддхарта молчал и смотрел на него с своей всегдашней тихой улыбкой... Говинда же не спускал глаз с его лица. Он глядел на него робко, с тоской. Страдание и вечное, неудовлетворенное искание читалось в его взоре.

Сиддхарта видел это и улыбался.

— Нагнись ко мне! — прошептал он на ухо Говинде. —





Нагнись ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Поцелуй меня в лоб, Говинда.

Но когда Говинда, изумленный и все же влекомый великой любовью и предчувствием, исполнил желание друга, в ту минуту, когда, низко склонившись, коснулся губами его чела, произошло нечто удивительное. В то время, как его мысль была все еще занята странными словами Сиддхарты, в то время, как он тщетно и против воли старался представить себе время несуществующим, а Сансару и Нирвану — как нечто единое, в то время, как в нем боролись некоторое презрение к словам друга с необъятной любовью и благоговением к его личности, с ним произошло следующее.

Лицо его друга Сиддхарты куда-то ступевалось. Вместо него он увидел перед собой другие лица, множество лиц, длинный ряд, катящийся поток из сотен, тысяч лиц. Все они проходили и исчезали и в то же время все, казалось, существовали одновременно, все непрерывно менялись и возобновлялись и тем не менее все были Сиддхартой. Он видел перед собою голову умирающей рыбы — карпа с бесконечно-страдальчески раскрытым ртом, с угасающим взглядом, он видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искривленное плачем, он видел лицо убийцы, видел, как последний вонзает нож в тело человека, — и тут же видел этого преступника связанным и упавшим на колени, и рядом палача, отрубаяющего ему голову одним взмахом меча. Он видел тела мужчин и женщин, обнаженные, в позах и судорогах неистовой страсти, видел распростертые трупы, тихие, холодные, пустые, видел головы разных зверей: кабанов, крокодилов, слонов, быков, птиц, видел богов: Кришну, Агни. Все эти лица и фигуры он видел в

тысячах сочетаний, то любящими и помогающими друг другу, то ненавидящими и уничтожающими друг друга, то вновь возрождающимися. Каждое было воплощенным стремлением к смерти, было страстно-мучительным признанием бренности, и ни одно, однако, не умирало, каждое только менялось, рождалось вновь, получало новое лицо — и все это без всякого промежутка во времени между тем и другим видом. Все эти образы и лица то находились в покое, то текли, рождали друг друга, плыли куда-то и сливались вместе, а над всем этим потоком постоянно лежало что-то тонкое, бесплотное и все-таки имеющее субстанцию, словно тонкое стекло или яйцо, словно прозрачная кожа или скорлупа, или маска из воды, и эта маска улыбалась, и этой маской было улыбающееся лицо Сиддхарты, которого он, Говинда, в эту самую минуту касался своими губами. И эта улыбка маски, эта улыбка Единства над стремительным потоком образований, эта улыбка Единоновременности над тысячами рождений и смертей, эта улыбка Сиддхарты была точь-в-точь такая же, как тихая, тонкая, непроницаемая, не то благостная, не то насмешливая, мудрая, имевшая тысячу оттенков улыбка Готама Будды, которую он, Говинда, сотни раз созерцал с благоговением. Так — сознавал Говинда — могут улыбаться только Совершенные.

Уже не сознавая, существует ли время, продолжалось ли это созерцание один миг или целый век, не зная даже, существует ли действительно Сиддхарта или Готама, Я и Ты, словно пронзенный насквозь божественной стрелой, от которой сладка и рана, до глубины души очарованный и потрясенный — Говинда еще с минуту простоял, склонившись над тихим лицом Сиддхарты, которое он только что поцеловал, которое только что было ареной





всевозможных образований, зарождений и существований. Теперь, после того как под его поверхностью снова сомкнулась глубина множественности, это лицо приняло свое прежнее выражение. Сиддхарта опять улыбался — тихой, чуть заметной кроткой улыбкой, не то исполненной доброты, не то насмешливой — точь-в-точь, как улыбался он, Возвышенный.

Низко поклонился ему Говинда. Слезы, которых он даже не чувствовал, струились по его старому лицу. Ярким пламенем горело в его сердце чувство глубочайшей любви, смиреннейшего преклонения. Низко-низко поклонился он — до самой земли — перед неподвижно сидящим, чья улыбка напомнила ему все, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в его жизни было для него дорого и священо.

НАРЦИСС И ГОЛЬДМУНД





ПЕРВАЯ ГЛАВА

Перед круглой аркой входа в монастырь Мариабронн, покоящейся на двойных колоннах, прямо у дороги стоял каштан, одинокий сын юга, принесенный в давние времена каким-то римским пилигримом, благородный каштан с мощным стволом; ласково склонилась его круглая крона над дорогой, во всю грудь дышала на ветру, весной, когда все вокруг уже зеленело, и даже монастырский орешник уже покрывался своей красноватой молодой листвой, приходилось еще долго ждать его листьев, потом ко времени самых коротких ночей он выбрасывал вверх из пучков листьев матовые, бело-зеленые стрелы своих необычных цветов, так призывно и удушливо-терпко пахнувших, а в октябре, когда уже собраны были фрукты и виноград, ронял на осеннем ветру из желтеющей кроны колючие плоды, не каждый год вызревавшие, из-за которых монастырские мальчики затевали потасовки, а субприор Грегор, выходец из Италии, жарил их в своей комнате на каминном огне. Необычно и ласково развернуло свою крону над входом в монастырь прекрасное дерево, нежный и слегка зябнувший гость из другого края, родственник тайным родством стройным песчанниковым двойным колонкам портала и каменным украшениям





оконных арок, карнизов и пилястров, любимец итальянцев и латинян, на которого местные жители глазели как на чужака.

Уже несколько поколений монастырских учеников прошло под чужеземным деревом; с грифельными досками под мышкой, болтая, смеясь, играя, споря, босиком или обутые, смотря по времени года, с цветком в губах, орехом меж зубов или снежком в руке. Приходили все новые, каждые несколько лет другие лица, в большинстве своем друг на друга похожие: белокурые и кудрявые. Некоторые оставались, становились послушниками, становились монахами, остригали волосы, носили рясу и веревку, читали книги, обучали мальчиков, старели, умирали. Других, по прошествии учебы, родители забирала домой, в рыцарские замки, в дома купцов и ремесленников, они уходили в мир и занимались своими делами и ремеслами, может быть, раз навевывались в монастырь, возмужав, приводили маленьких сыновей в ученики к патерам, улыбаясь и глубокомысленно посмотрев какое-то время вверх на каштан, исчезали опять. В кельях и залах монастыря между круглыми тяжелыми арками окон и строгими двойными колоннами из красного камня жили, учили, штудировали, распорядились, управляли: здесь из поколения в поколение занимались всякого рода искусствами и науками, духовными и мирскими, светлыми и темными. Писались и комментировались книги, измышлялись системы, собирались писания древних, рисовались миниатюры на рукописях, поддерживалась вера в народе, над верой народа посмеивались. Ученость и смиренность, простота и лукавство, евангельская мудрость и мудрость греков, белая и черная магия, всего понемногу процветало здесь, всему было место;



место было как для уединения и покаяния, так и для общительности и беззаботности; перевес и преобладание того или иного зависели всякий раз от личности настоятеля и господствующего течения времени. Временами монастырь славился и посещался благодаря своим заклинателям бесов и знатокам демонов, временами благодаря своей замечательной музыке, временами благодаря какому-нибудь святому отцу, совершавшему исцеления и чудеса, временами благодаря своей щучьей ухе и паштетам из оленьей печени, каждому в свое время. И всегда среди множества монахов и учеников, ревностных в благочестии и равнодушных, постников и чревоугодников, всегда среди многих, что приходили сюда, жили и умирали, был тот или иной единственный и особенный, один, которого любили все, или все боялись, один, казавшийся избранным, один, о котором еще долго говорили, когда современники его бывали забыты.

Вот и теперь в монастыре Мариабронн было двое единственных и особенных, старый и молодой. Среди многих братьев, наполнявших дортуары, церкви и классные комнаты, было двое, о которых знал каждый, на которых обращал внимание любой. То был настоятель Даниил, старший, и воспитанник Нарцисс, младший, который совсем недавно стал послушником, но благодаря своим особым дарованиям, против обыкновения, уже использовался в качестве учителя, особенно в греческом. Оба они, настоятель и послушник, снискали уважение в монастыре, за ними наблюдали, они вызывали любопытство, ими восхищались, и им завидовали, а тайно и порочили.

Настоятеля любило большинство, у него не было врагов, он был полон доброты, полон простоты, полон сми-





рения. Лишь ученые монастыря прибавляли к своей любви нечто от снисходительности; потому что настоятель Даниил, хотя, быть может, и святой, однако ученым не был. Ему была свойственна та простота, которая и есть мудрость; но его латынь была скромной, а по-гречески он вообще не знал.

Те немногие, что при случае слегка посмеивались над простотой настоятеля, были тем более очарованы Нарциссом, чудо-мальчиком, прекрасным юношей с изысканным греческим, рыцарски безупречной манерой держаться, спокойным проникновенным взглядом мыслителя и тонкими, красиво и строго очерченными губами. За то, что он великолепно владел греческим, его любили ученые. За то, что был столь благороден и изящен, любили почти все, многие были в него влюблены. За то, что он был слишком спокоен и сдержан и имел изысканные манеры, некоторые его недолюбливали.

Настоятель и послушник, каждый на свой лад, несли судьбу избранного, по-своему царили, по-своему страдали. Оба чувствовали близость и симпатию друг к другу более, чем ко всему остальному монастырскому люду; и все-таки они не искали сближения, все-таки ни один не мог довериться другому. Настоятель обходился с юношей с величайшим тщанием, крайне предупредительно, лелеял его как редкого, нежного, может быть, слишком рано созревшего, возможно, находящегося в опасности брата. Юноша принимал каждое приказание, каждый совет, каждую похвалу настоятеля с совершенным самообладанием, никогда не возражая, никогда не досадуя, и если суждение о нем настоятеля и было правильно, и единственным его пороком была гордыня, то он великолепно умел скрывать этот порок. Против него ничего нельзя



было сказать, он был совершенством, он превосходил всех. Разве что, кроме ученых, немногие стали ему действительно друзьями, разве что его изысканность окружала его как остужающий воздух.

— Нарцисс, — сказал ему настоятель как-то после исповеди, — я, признаюсь, виноват, что строго судил о тебе. Я часто считал тебя высокомерным и, возможно, был в этом несправедлив к тебе. Ты совсем один, юный брат, ты одинок, у тебя есть поклонники, но нет друзей. Я хотел бы иметь повод иногда пожуричь тебя; но нет никакого повода. Я хотел, чтобы иногда ты был непослушным, как это легко случается с молодыми людьми твоего возраста. Ты никогда им не был. Я временами немного беспокоюсь за тебя, Нарцисс.

Юноша поднял свои темные глаза на старика.

— Я очень хотел бы, отец мой, не доставлять Вам беспокойства. Пусть я буду высокомерным, отец мой. Я прошу Вас, накажите меня за это. У меня самого иногда бывает желание наказать себя. Пошлите меня в скит, отец, или назначьте более низкую службу.

— Для того и другого ты еще слишком молод, дорогой брат, — сказал настоятель. — Кроме того, ты очень способен к языкам и размышлениям, сын мой, поручать тебе более низкую службу было бы расточительством этих божьих даров. Ведь ты, видимо, станешь учителем и ученым. Разве ты не хочешь этого сам?

— Простите, отец, я еще точно не знаю своих желаний. Я всегда буду испытывать радость от наук, как может быть иначе? Но я не думаю, что науки будут моим единственным поприщем. Ведь судьбу и призвание человека не всегда определяют желания, а иное, predetermined.





Настоятель выслушал и стал строгим. Однако на его старом лице появилась улыбка, когда он сказал: «Насколько я успел узнать людей, все мы склонны, особенно в юности, путать между собой провидение и наши желания. Но коль ты полагаешь, что заранее знаешь свое призвание, скажи мне что-нибудь об этом. К чему же ты чувствуешь себя призванным?»

Нарцисс полузакрыв свои темные глаза, так что они исчезли за длинными черными ресницами. Он молчал.

— Говори, сын мой, — попросил после долгого ожидания настоятель. Тихим голосом с опущенными глазами Нарцисс начал говорить:

— Я, кажется, знаю, отец мой, что прежде всего призван к жизни в монастыре. Я стану, так мне кажется, монахом, стану священником, субприором и, может быть, настоятелем. Я думаю так не потому, что хочу этого. Я не желаю должностей. Но их на меня возложат.

Долго оба молчали.

— Почему ты уверен в этом? — спросил нерешительно старик. — Какое же это свойство, кроме учености, укрепляет в тебе эту веру?

— Это — свойство, — медленно сказал Нарцисс, — чувствовать характер и призвание людей, не только свои, но и других. Это свойство заставляет меня служить другим тем, что я властвую над ними. Не будь я рожден для жизни в монастыре, я, должно быть, стал бы судьей или государственным деятелем.

— Пусть так, — кивнул старик. — Проверял ли ты свою способность узнавать людей и их судьбы на ком-нибудь?

— Проверял.

— Готов ли ты назвать мне кого-нибудь?



— Готов.

— Хорошо. Поскольку мне не хотелось бы проникать в тайны наших братьев без их ведома, может быть, ты скажешь мне, что ты, по-твоему, знаешь обо мне, твоим настоятеле Данииле?

Нарцисс поднял веки и посмотрел настоятелю в глаза.

— Это Ваше приказание, отец мой?

— Мое приказание.

— Мне трудно говорить, отец.

— И мне трудно, юный брат, принуждать тебя к этому. Я все-таки сделаю это. Говори.

Нарцисс опустил голову и заговорил шепотом:

— Я мало что знаю о Вас, уважаемый отец. Я знаю, что Вы слуга Господа, который охотнее пас бы коз или звонил в колокольчик где-нибудь в скиту и выслушивал исповеди крестьян, чем управлял большим монастырем. Я знаю, что Вы особенно любите святую Богоматерь и больше всего молитесь ей. Иногда Вы просите о том, чтобы греческие и другие науки, которыми занимаются в монастыре, не внесли смятение и опасность в души, вверенные Вам. Иногда просите, чтобы Вас не оставляло терпение по отношению к субприору Грегору. Иногда Вы просите покойной кончины. И, я думаю, Вы будете услышаны и покойно отойдете.



Тихо стало в маленькой приемной настоятеля. Наконец старик заговорил.

— Ты одержимый, и у тебя видения,— сказал седой владыка ласково.— Даже благие и приятные видения могут быть обманчивы; не полагайся на них, как и я на них не полагаюсь. Не можешь ли ты увидеть, брат-одержимый, что я думаю об этом в душе?

— Я вижу, отец, что Вы очень благосклонно думаете



об этом. Вы думаете так: «Этот молодой ученик немного в опасности, у него видения, возможно, он слишком много предавался размышлениям. Я наложу на него епитимию, пожалуй, она ему не повредит. Но епитимию, которую я наложу на него, возьму и на себя». Вот что Вы думаете теперь.

Настоятель поднялся. С улыбкой он подал знак к прощанию.

— Хорошо, — сказал он. — Не принимай свои видения слишком всерьез, юный брат. Господь требует от нас кое-что иное, а не видений. Положим, ты польстил старику, пообещав ему легкую смерть. Положим, старик охотно выслушал это обещание. А теперь довольно. Ты должен почитать молитвы Розария¹, завтра после утренней мессы ты должен помолиться с полным смирением, а не кое-как, и я сделаю то же самое. А теперь иди, Нарцисс, достаточно поговорили.

В другой раз настоятель Даниил должен был улаживать спор между младшим из обучающих патеров и Нарциссом, которые не могли прийти к согласию по одному месту учебной программы: Нарцисс с большим упорством настаивал на введении определенных изменений в обучении, умело подтверждая их убедительными доводами; патер Лоренц, однако, из какого-то чувства ревности не хотел согласиться на это, и за каждым новым обсуждением следовали дни недовольного молчания и обиды, пока Нарцисс из упрямства не заводил разговор снова. В конце концов патер Лоренц сказал, несколько задетый: «Ну, Нарцисс, хватит спорить. Ты же знаешь, что решаю я, а не ты, мне ты не коллега, а помощник и

¹ Розарий — свод основных молитв, читаемых в определенном порядке по четкам (*католич.*).



должен подчиняться. Ну уж коль это дело для тебя так важно, я, хоть превосхожу тебя по должности, но не по знаниям и дарованиям, не хочу принимать решение сам, давай изложим его отцу настоятелю, и пусть он решает».

Так они и сделали, и настоятель Даниил терпеливо и ласково выслушал спор обоих ученых по вопросу обучения грамматике. После того как оба подробно изложили свое мнение и обосновали его, старик весело взглянул на них, покачал слегка седой головой и сказал: «Дорогие братья, вы ведь оба не считаете, что я разбираюсь в этих делах столь же хорошо, как и вы. Похвально со стороны Нарцисса, что он принимает дело обучения близко к сердцу и стремится улучшить его. Но если его старший другого мнения, Нарциссу следовало бы помолчать и подчиниться, да и все улучшения обучения не стоят того, чтобы из-за них нарушался порядок и послушание в этом доме. Я порицаю Нарцисса за то, что он не сумел уступить. А вам обоим, молодым ученым, я желаю, чтобы у вас никогда не было недостатка в руководителях, которые глупее вас; нет ничего лучше этого против гордыни». С этой добродушной шуткой он их отпустил. Но в последующие дни он отнюдь не забыл проследить, наладились ли добрые отношения между обоими учителями.

И вот случилось так, что в монастыре, который видел столь много лиц, приходивших и уходивших, появилось новое, и это новое лицо принадлежало не к тем незаметным и быстро забываемым. Это был юноша, который, с давних пор уже записанный отцом, как-то весенним днем прибыл в школу. Они, юноша и его отец, привязали лошадей у каштана и из портала им навстречу вышел привратник.

Мальчик посмотрел вверх на дерево, еще по-зимнему голое.





— Такое дерево, — сказал он, — я еще никогда не видел. Прекрасное, удивительное дерево! Мне очень хотелось бы знать, как оно называется.

Отец, пожилой человек с озабоченным и несколько замкнутым лицом, не обратил внимания на слова юноши. Привратник же, у которого мальчик сразу вызвал симпатию, ответил ему. Юноша любезно поблагодарил, подал ему руку и сказал: «Меня зовут Гольдмунд, я буду здесь учиться». Привратник приветливо улыбнулся ему и пошел впереди прибывших через портал и дальше вверх по широкой каменной лестнице, а Гольдмунд вошел в монастырь без робости с чувством, что встретился здесь уже с двумя существами, с которыми мог подружиться, — с деревом и привратником.

Прибывших принял сначала патер, управляющий школой, а к вечеру и сам настоятель. И там, и там отец, императорский чиновник, представил своего сына Гольдмунда, его самого пригласили какое-то время погостить в монастыре. Но он воспользовался гостеприимством всего на одну ночь, объяснив, что завтра должен отправиться обратно. В качестве подарка монастырю он предложил одного из двух своих коней, и дар был принят. Беседа с духовными лицами проходила чинно и сдержанно; но и настоятель, и патер радостно посматривали на почтительно молчавшего Гольдмунда, красивый, нежный юноша сразу понравился им. На следующий день они без особого сожаления отпустили отца, а сына охотно оставили. Гольдмунд был представлен учителям и получил постель в дортуаре для учеников. Почтительно с грустным лицом попрощался он с отъезжавшим верхом отцом и смотрел ему вслед, пока тот не скрылся между амбаром и мельницей за узкой аркой ворот внешнего монастырского



двора. Слеза повисла на его длинных светлых ресницах, когда он повернулся; но тут его уже встретил привратник, ласково похлопывая по плечу.

— Барин, — сказал он утешительно, — не печалься. Многие поначалу немного тоскуют по дому, по отцу, матери, братьям и сестрам. Но ты скоро увидишь: и здесь жить можно, и даже неплохо.

— Спасибо, брат привратник, — сказал юноша. — У меня нет ни братьев, ни сестер, ни матери, у меня есть только отец.

— Зато здесь ты найдешь товарищей, и ученость, и музыку, и новые игры, которых еще не знаешь, и то, и се, вот увидишь. А если понадобится кто-то, кто желает тебе добра, то приходи ко мне.

Гольдмунд улыбнулся ему.

— О, я очень Вам благодарен. И если Вы хотите порадовать меня, покажите, пожалуйста, поскорее, где стоит наша лошадка, которую оставил здесь мой отец. Мне хотелось бы поздороваться с ней и посмотреть, хорошо ли ей живется.

Привратник не преминул тотчас отвести его в конюшню возле амбара. Там в теплом полумраке остро пахло лошадьми, навозом и ячменем, а в одном из стойл Гольдмунд нашел своего бурого коня, на котором приехал сюда. Он обнял животное, которое уже узнало его и потянулось навстречу, за шею, приник щекой к его широкому лбу с белым пятном, нежно погладил и прошептал на ухо: «Здравствуй, Блесс¹, мой дружок, мой славный, как тебе живется? Ты меня еще любишь? У тебя есть, что поесть? Ты тоже думаешь о доме? Блесс, коняшка, милый, как



¹ Немецким словом «блесс» называют всякое животное с белым пятнышком на лбу.



хорошо, что ты остался здесь, я буду часто приходить к тебе и присматривать за тобой». Он достал из-за обшлага кусок хлеба, который оставил от завтрака, и, крошив, покормил животное. Потом попрощался и последовал за привратником во двор, широкий, как базарная площадь большого города, и частично заросший липами. У внутреннего входа он поблагодарил привратника и подал ему руку, но заметил, что уже не помнит дорогу в свою классную комнату, которую ему показали накануне, посмеялся и, покраснев, попросил привратника проводить его, что тот охотно сделал. Когда он вошел в классную, где на скамьях сидели двенадцать мальчиков и юношей, помощник учителя Нарцисс обернулся.

— Я — Гольдмунд, — сказал он, — новый ученик.

Нарцисс сухо поздоровался, не улыбувшись, указал ему место на задней скамье и сразу же продолжил занятие.

Гольдмунд сел. Он удивился такому молодому учителю, всего лишь на несколько лет старше себя, удивился и очень обрадовался, заметив к тому же, что этот молодой учитель так красив, так благороден, так серьезен, при этом столь обаятелен и достоин любви. Привратник был мил с ним, настоятель встретил так приветливо, там в конюшне стоял Блесс, частичка родины, и вот теперь этот удивительно молодой учитель, серьезный как ученый и прекрасный как принц, а какой спокойный, строгий, деловой, властный голос! Он слушал с признательностью, еще не понимая, о чем шла речь. У него стало хорошо на душе. Он попал к добрым, милым людям, и сам готов был любить их и завоевать их дружбу. Проснувшись утром в постели, он чувствовал себя подавленным, да и усталым еще после долгого путешествия, а прощаясь с от-



цом, немного всплакнул. Но теперь было хорошо, он был доволен. Подолгу и все снова и снова смотрел он на молодого учителя, любовался его прямой стройной фигурой, холодно сверкавшим взглядом, строгими, ясно и четко произносящими слоги губами, захватывающим, неутомимым голосом.

Но когда урок кончился и ученики с шумом поднялись, Гольдмунд вздрогнул и заметил, несколько смущенный, что долгое время спал. И не он один заметил это, а и его соседи по скамье видели это и передали шепотом дальше. Едва молодой учитель покинул классную, товарищи начали дергать и толкать Гольдмунда со всех сторон.

— Выспался? — спросил один и осклабился.

— Достойный ученик! — издевался другой. — Из него выйдет замечательное светило церкви. Заснул, как урок, на первом же уроке!

— Отнесите мальчика в постель, — предложил кто-то, и его схватили за руки и за ноги и потащили под общий хохот.

Разбуженный таким образом Гольдмунд пришел в ярость; он колотил направо и налево, пытаясь освободиться, получал тумаки, и в конце концов его повалили, а кто-то все еще держал его за ногу. Он с силой вырвался от него, бросился на первого попавшегося и тотчас сцепился с ним в яростной схватке. Его противник был сильный мальчик, и все жадно следили за поединком. Когда же Гольдмунд не отступил, а нанес противнику несколько хороших ударов кулаком, среди товарищей у него уже появились друзья, прежде чем он узнал хотя бы одного из них по имени. Но вдруг все стремительно бросились в разные стороны, и едва они успели скрыться, как вошел патер Мартин, управляющий школой, и остановился





перед мальчиком, который остался один. Он удивленно посмотрел на мальчика, голубые глаза которого на раскрасневшемся и несколько побитом лице выражали смущение.

— Да что это с тобой? — спросил он. — Ведь ты Гольдмунд, не так ли? Не обидели ли они тебя чем-нибудь, эти лодыри?

— О нет, — сказал мальчик, — я справился с ним.

— С кем это?

— Не знаю. Я еще никого не знаю. Со мной боролся кто-то один.

— Ах вот как? Начал он?

— Не знаю. Нет, кажется, я сам начал. Они меня дразнили, я и разозлился.

— Ну, хорошо же ты начинаешь, мой мальчик. Запомни: если ты еще раз затеешь драку здесь в классной, будешь наказан. А теперь приведи себя в порядок и ступай на ужин, марш!

Улыбаясь, смотрел он Гольдмунду вслед, как тот, пристыженный, убежал, стараясь на бегу расчесать пальцами взлохмаченные белокурые волосы.

Гольдмунд сам считал, что его первый поступок в этой монастырской жизни был очень дурен и глуп; с сознанием некоторой вины искал он товарищей и нашел их за ужином. Но его встретили с уважением и радушием, он рыцарски помирился со своим врагом и с этой минуты почувствовал себя благосклонно принятым в этом кругу.



ВТОРАЯ ГЛАВА

Между тем как со всеми он был в приятельских отношениях, настоящего друга, однако, он нашел не скоро: ни к одному из учеников он не чувствовал близости или хотя бы склонности. Они же в ловком драчуне, которого склонны были считать достойным уважения забиякой, с удивлением нашли весьма миролюбивого товарища, стремившегося, казалось, скорее к славе примерного ученика.

Два человека было в монастыре, к которым Гольдмунд чувствовал сердечную привязанность, которые ему нравились, занимали его мысли, вызывали у него восхищение, любовь и благоговение: настоятель Данвил и помощник учителя Нарцисс. Настоятеля он склонен был почитать за святого, его простодушие и доброта, его ясный заботливый взгляд, манера отдавать приказания и управлять со смирением служения, его добрые мягкие жесты, — все это неудержимо влекло его. Охотнее всего он стал бы личным слугой этого благочестивого старца, был бы всегда при нем, подчиняясь и прислуживая, покорно принес бы ему в жертву все свое мальчишеское стремление к преданности и самоотдаче, учась у него чистой и благородной, праведной жизни. Ведь Гольдмунд собирался не только окончить монастырскую школу, но по возможности навсегда остаться в монастыре и посвятить свою жизнь Богу; такова была его воля, таково было желание и требование его отца, и так было предопределено, видимо, самим Богом. Никто, казалось, не замечал этого в прекрасном, сияющем мальчишке, и все-таки на нем лежала какая-то печать, бремя происхождения, тайное предопределение к искупительной жертве. Даже





настоятель не видел этого, хотя отец Гольдмунда сделал ему несколько намеков и ясно выразил желание навсегда оставить сына здесь в монастыре. Какой-то тайный порок, казалось, тяготел над рождением Гольдмунда, что-то утаенное, казалось, требовало искупления. Но отец не очень-то понравился настоятелю, на его слова и все его несколько надменное поведение он ответил вежливой холодностью и не придавал большого значения его намекам.

Другой же, пробудивший любовь Гольдмунда, был пронизательнее и предвидел большее, но был сдержан. Нарцисс очень хорошо понял, что за прелестная диковинная птица залетела тогда к нему. Он, такой одинокий в своем благородстве, тотчас почувствовал в Гольдмунде родственную душу, хотя тот, казалось, был его противоположностью во всем. Если Нарцисс был темным и худым, то Гольдмунд светлым и цветущим. Нарцисс — мыслитель и строгий аналитик, Гольдмунд — мечтатель и дитя. Но противоположности перекрывало общее: оба были благородны, оба были отмечены явными дарованиями по сравнению с другими и оба получили от судьбы особое предназначение.

Горячо сочувствовал Нарцисс этой юной душе, чей склад и судьбу он вскоре узнал. Пылко восхищался Гольдмунд своим прекрасным, необыкновенно умным учителем. Но Гольдмунд был робким; он не находил иного способа завоевать расположение Нарцисса, как до переутомления стараться быть внимательным и смущенным учеником. И не только робость сдерживала его. Удерживало также чувство, что Нарцисс опасен для него. Нельзя было иметь идеалом и образцом доброго, смиренного настоятеля и одновременно чересчур умного, ученого, вы-



сокодуховного Нарцисса. И все-таки всеми силами молодой души он стремился к обоим идеалам, несоединимым. Часто он страдал от этого. Иногда в первые месяцы учебы Гольдмунд чувствовал в душе такое смятение и потерянности, что испытывал сильное искушение бежать из монастыря или на товарищах сорвать свой гнев и беды. Нередко он, добродушный, на какое-то легкое подтрунивание или дерзость товарищей совершенно неожиданно вспыхивал такой дикой злобой, что ему с невероятным трудом удавалось сдержаться, и он молча, с закрытыми глазами и смертельно бледный отворачивался. Тогда он разыскивал в конюшне Блесса, клал голову ему на шею, целовал его, горько плача. И постепенно его страдание так возросло, что стало заметно. Щеки ввалились, взгляд потух, его всеми любимый смех слышался редко.

Он сам не знал, что с ним происходит. Он честно желал быть хорошим учеником, со временем быть принятым в послушники и потом стать благочестивым, смиренным братом патеров; ему казалось, что все его силы и способности устремлены к этим благочестивым, скромным целям, других стремлений он не знал. Как же странно и грустно было видеть, что эта простая и прекрасная цель столь трудно достижима. С каким унынием и неприятным удивлением замечал он порой за собой предосудительные склонности и состояния: рассеянность и отвращение к учебе, мечтания и фантазии или сонливость во время занятий, нерасположение и протест против учителя латыни, раздражительность и гневное нетерпение по отношению к товарищам. А больше всего смущало то, что его любовь к Нарциссу так плохо уживалась с его любовью к настоятелю Даниилу. К тому же иногда в самой глубине души он, казалось, чувствовал уверен-





ность, что и Нарцисс любит его, сочувствует ему и ждет его.

Намного больше, чем мальчик предполагал, мысли Нарцисса были заняты им. Он желал, чтобы этот красивый, светлый, милый юноша стал его другом, он угадывал в нем свою противоположность и дополнение себе, он охотно взял бы его под свою защиту, руководил бы им, просвещал, вел бы все выше и довел до расцвета. Но он сдерживался. Делал он это по многим соображениям, и почти все они были осознанными. Прежде всего его останавливало то отвращение, которое он испытывал к тем нередким учителям и монахам, что влюблялись в учеников или послушников. Достаточно часто он сам с неудовольствием ловил на себе жадные взгляды более старших мужчин, достаточно часто молча давал отпор их любезностям и ласкам. Теперь он лучше понимал их — и его манило полюбить красивого Гольдмунда, вызывать его прелестный смех, нежно гладить по белокурым волосам. Но он ни за что бы не сделал этого, никогда. Кроме того, в качестве помощника учителя, состоя в ранге учителя, но не обладая его полномочиями и авторитетом, он привык быть особенно осторожным и бдительным. Он привык относиться к ученикам, лишь немногим моложе себя, так, как будто он был на двадцать лет старше, он привык строго запрещать себе любое предпочтение какого-либо ученика, по отношению же к неприятному для себя ученику принуждал себя к особой справедливости и заботе. Его служение было служением духу, этому была посвящена его строгая жизнь, и лишь втайне, в минуту наибольшей слабости он позволял себе наслаждаться высокомерием, всезнайством и умничаньем. Нет, как бы ни была соблазнительна друж-



ба с Гольдмундом, она была опасна, и он не смел позволить ей касаться сути своей жизни. Суть же и смысл его жизни были в служении духу, слову, спокойно, обдуманно, бесстрастно поведет он своих учеников — и не только их — к высоким духовным целям.

Уже больше года учился Гольдмунд в монастыре Мариабронн, уже сотни раз играл он с товарищами под липами двора и под красивым каштаном: бегал наперегонки, играл в мяч, в разбойников, в снежки: теперь была весна, но Гольдмунд чувствовал себя усталым и слабым, у него часто болела голова, и он с трудом заставлял себя быть бодрым и внимательным во время занятий.

Однажды вечером с ним заговорил Адольф, тот самый ученик, первое знакомство с которым когда-то закончилось потасовкой и с которым он этой зимой начал изучать Эвклида. Произошло это после ужина в свободный час, когда разрешались игры в дортуарах, болтовня в классных, а также прогулки за внешним двором монастыря.

— Гольдмунд, — сказал он, увлекая того за собой вниз по лестнице, — я хочу тебе кое-что рассказать, нечто забавное. Правда, ты пай-мальчик и, конечно, хочешь стать епископом — дай сначала слово товарища, что не выдашь меня учителям.

Гольдмунд не задумываясь дал слово. Существовала честь монастыря, существовала и ученическая честь, и обе подчас вступали в противоречие, и он это знал, но, как везде, неписанные законы сильнее писанных, и пока он был учеником, он никогда не нарушил бы законов и понятий ученической чести.

Что-то нашептывая, Адольф тащил его к portalу под деревья. Есть несколько смельчаков, рассказывал он, к





которым относил и себя, перенявших обычаи прошлых поколений время от времени вспоминать, что они ведь не монахи, и на вечерок покидать монастырь, уходя в деревню. Это веселое приключение, от которого не откажется ни один порядочный человек, ночью же вернемся. «Но ведь ночью ворота закрыты», — бросил Гольдмунд.

Еще бы, конечно, закрыты, в этом-то и потеха. Сумеет, однако, вернуться незаметно потайным путем, не впервой. Гольдмунду припомнилось. Выражение «сходить в деревню» он уже слышал, под этим подразумевались ночные вылазки воспитанников для всякого рода тайных удовольствий и приключений, и это было запрещено монастырским уставом под страхом тяжкого наказания. Он испугался. Идти «в деревню» было грехом, запретом. Но он очень хорошо понимал, что именно поэтому среди «порядочных людей» считалось честью рисковать опасностью, а быть приглашенным участвовать в таком походе означало определенное отличие.

Больше всего ему хотелось сказать «нет», убежать обратно и лечь спать. Он так устал и чувствовал себя таким несчастным, после обеда у него все время болела голова. Но он немного стыдился Адольфа. Да и как знать, может быть, за монастырскими стенами произойдет какое-нибудь прекрасное новое событие, что-то, что заставит забыть головную боль, и тупость, и все несчастья. Это был выход в мир, правда тайный и запретный, не совсем похвальный, но все-таки освобождение, переживание. Он стоял в нерешительности, пока Адольф уговаривал его, и вдруг рассмеялся и согласился.

Незаметно скрылись они с Адольфом за липами в широком уже темном дворе, внешние ворота которого к этому часу уже были заперты. Приятель повел его к



монастырской мельнице, откуда в сумерках при постоянном шуме колес легко было неслышно ускользнуть. Через окно попали на штабель влажных, скользких брусов, один из которых нужно было вытащить и положить через ручей для переправы. И вот они снаружи, на едва видной дороге, которая теряется в черном лесу. Все это волновало своей таинственностью и очень понравилось мальчику.

На опушке леса уже стоял приятель, Конрад, а после долгого ожидания сюда же подошел, тяжело ступая, еще один, большой Эберхард. Вчетвером юноши зашагали через лес, над ними с шумом поднимались ночные птицы, несколько звезд ясно и влажно сияло меж спокойных облаков. Конрад болтал и шутил, иногда смеялись и другие, но все-таки над ними витало жуткое и торжественное чувство ночи, и сердца их бились сильнее.

По ту сторону леса через какой-нибудь час они добрались до деревни. Там все, казалось, уже спало, бледно мерцали низкие остроконечные крыши с проступавшими темными ребрами перекрытий, нигде ни огонька. Адольф шел впереди, молча, крадучись, обошли они несколько домов, перелезли через забор, очутились в саду, прошли по мягкой земле грядок, спотыкаясь о ступени, остановились перед стеной дома. Адольф постучал в ставню, подождав, постучал еще раз, внутри послышался шорох, и вскоре появился свет, ставня открылась, и один за другим они очутились в кухне с черным дымоходом и земляным полом. На плите стояла маленькая масляная лампа, на тонком фитиле, мигая, горело слабое пламя. Стоявшая здесь девушка, худая прислуга из крестьянок, подала прибывшим руку, за ней из темноты вышла вторая, совсем дитя с длинными темными косами. Адольф





принес гостинцы, полкаравая белого монастырского хлеба и что-то в бумажном кулке. Гольдмунд предположил, что это немного украденного ладана или свечного воска или чего-нибудь в этом роде. Девушка с косами вышла, без света пробралась за дверь, долго отсутствовала и вернулась с кувшином из серой глины с нарисованным голубым цветком, который протянула Конраду. Он отпил из него и передал дальше, все пили, это был крепкий яблочный сидр.

При слабом свете лампы они расселись, девушки на маленьких деревянных табуретах, ученики вокруг них на полу. Говорили шепотом, попивая сидр, Адольф и Конрад вели беседу. Время от времени кто-нибудь вставал и гладил худую по волосам и шее, шепча ей что-то на ухо, младшая оставалась неприкосновенной. По-видимому, думал Гольдмунд, старшая — служанка, а красивая младшая — дочь хозяев дома. Впрочем, все равно, его это совершенно не касается, потому что он никогда больше не придет сюда. То, что они тайно удрали и прошлись ночью по лесу, было прекрасно, это необычно, волнительно, таинственно и совсем не опасно. Правда, это запрещено, но нарушение запрета не очень обременительно для совести. А вот то, что происходит здесь, этот ночной визит к девушкам, было больше, чем просто запрет, так он чувствовал, это был грех. Возможно, для других и это было лишь небольшим отступлением, но не для него; для него, считающего себя предназначенным к монашеской жизни и аскезе, непозволительна никакая игра с девушками. Нет, он никогда больше не придет сюда. Но сердце его билось сильно и тоскливо в полумраке убогой кухни.

Его товарищи разыгрывали перед девушками героев,



щеголяя латинскими выражениями, которые вставляли в разговор. Все трое, казалось, пользовались благосклонностью служанки, время от времени они приближались к ней со своими маленькими, неловкими ласками, самой нежной из которых был робкий поцелуй. Они, видимо, точно знали, что им здесь разрешалось. А поскольку вся беседа велась шепотом, выглядело все это довольно смешно, но Гольдмунд чувствовал иначе. Он сидел на земле, неподвижно затаившись, уставившись на язычок пламени, не говоря ни слова. Иногда жадным беглым взглядом он ловил какую-нибудь из нежностей, которыми обменивались другие. Он напряженно смотрел перед собой. Хотя больше всего ему хотелось взглянуть на младшую девушку с косами, но именно это он запрещал себе. И всякий раз, когда его воля ослабевала и взгляд, как бы заблудившись, останавливался на привлекательном девичьем лице, он неизменно встречал ее темные глаза, устремленные на его лицо, она как завороченная смотрела на него.

Прошел, по видимому, час — никогда еще час жизни не казался Гольдмунду таким долгим — латинские выражения и нежности учеников были исчерпаны, стало тихо, и все сидели в смущении. Эберхард начал зевать. Тогда служанка напомнила, что пора уходить. Все поднялись, каждый подал служанке руку, Гольдмунд последним. Затем все подали руку младшей, Гольдмунд последним. Конрад первым вылез из окна, за ним последовали Эберхард и Адольф. Когда Гольдмунд тоже хотел вылезти, он почувствовал, что его удерживают за плечо. Он не смог остановиться, только очутившись снаружи на земле, он робко оглянулся. Из окна выглянула младшая с косами.





— Гольдмунд! — прошептала она.

Он остановился.

— Ты придешь еще как-нибудь? — спросила она. Ее нерешительный голос был как дуновение.

Гольдмунд покачал головой. Она протянула обе руки, взяла его голову, он почувствовал тепло маленьких рук на своих висках. Она далеко высунулась из окна, так что ее темные глаза оказались прямо перед его глазами.

— Приходи! — прошептала она, и ее рот коснулся его губ в детском поцелуе.

Он быстро побежал вслед за другими через палисадник, неуверенно наступая на грядки, вдыхая запах сырой земли и навоза, поранил руку о розовый куст, перелез через забор и пустился, догоняя других, прочь из деревни к лесу. «Никогда!» — приказывала его воля. «Завтра же!» — молило несчастное сердце.

Никто не повстречался ночным гулякам, беспрепятственно вернулись они в Мариабронн, миновали ручей, мельницу, липы и обходными путями по карнизам через разделенные колонками окна попали в монастырь и в спальню.

Наутро Эберхарда долго будили тумакami, так крепко был его сон. Все вовремя успели к ранней мессе, на завтрак и в аудиторию; но Гольдмунд выглядел плохо, так плохо, что патер Мартин спросил, не болен ли он. Адольф бросил на него предостерегающий взгляд, и тот сказал, что здоров. На греческом, однако, около полудня, Нарцисс не упускал его из вида. Он тоже заметил, что Гольдмунд болен, но промолчал и внимательно наблюдал за ним. В конце урока он подзвал его к себе. Чтобы не привлекать внимания учеников, он отправил его с поручением в библиотеку. И пришел туда же сам.



— Гольдмунд, — сказал он, — не могу ли я тебе помочь? Я вижу, тебе плохо. Может, ты болен. Ложись-ка в постель, получишь больничный суп и стакан вина. Тебе сегодня было не до греческого.

Долго ждал он ответа. Смущенный, взглянул на него бледный мальчик, опустил голову, поднял опять, губы вздрогнули, он хотел говорить, но не смог. Вдруг он опустился рядом, положив голову на пулт для чтения, между двумя маленькими головками ангелов из дуба, державших пулт, и разразился такими рыданиями, что Нарцисс почувствовал себя неловко и на какое-то время отвел взгляд, прежде чем подхватил и поднял плачущего.

— Ну, ну, — сказал он приветливее, хотя Гольдмунд едва ли слышал его слова, — ну и хорошо, дружок, поплачь, тебе станет легче. Вот так, садись, можешь ничего не говорить. Ты, я вижу, натерпелся, видимо, все утро старался держаться и не подавать виду, молодец. А теперь поплачь, это лучше всего. Нет? Уже все? Опять все в порядке? Ну и славно, тогда пойдем в больничную палату и ложись в постель, сегодня же вечером тебе станет намного лучше. Пойдем же!

И он провел его в больничную палату в обход ученических комнат, указал на одну из двух пустых кроватей и, когда Гольдмунд начал послушно раздеваться, вышел, чтобы доложить настоятелю о его болезни. На кухне он попросил для него, как обещал, суп и стакан вина; оба эти благодеяния, принятые в монастыре, очень нравились большинству легких больных.

Лежа в больничной постели, Гольдмунд пытался оправиться от смятения. Час тому назад он, пожалуй, был бы в состоянии объяснить себе, что было причиной сегодняшней столь невыразимой усталости, что это было





за смертельное перенапряжение души, опустошившее его голову и заставившее растягаться. Это было насильственное, каждую минуту возобновляющееся и каждую минуту терпевшее неудачу стремление забыть вчерашний вечер — даже не вечер, не безрассудную минуту и милую вылазку из запертого монастыря, не прогулку по лесу, не скользкий мостик через мельничный ручей или перелезание через заборы, окна и ходы, но единственный момент у темного окна кухни, дыхание и слова девушки, прикосновение ее рук, поцелуй ее губ.

А теперь к этому прибавлялся еще новый страх, новое переживание. Нарцисс принял в нем участие. Нарцисс любил его, Нарцисс позаботился о нем — он, изысканный, благородный, умный, с тонким, слегка насмешливым ртом. А он, он распустился перед ним, стоял пристыженный и заикающийся и, наконец, разревелся! Вместо того, чтобы завоевать этого превосходящего всех во всем самым благородным оружием — греческим, философией, духовными подвигами и достойным стоицизмом, он жалко и ничтожно провалился! Никогда он себе этого не простит, никогда не сможет смотреть ему без стыда в глаза.

Однако слезы разрядили сильное напряжение, спокойное одиночество, хорошая постель подействовали благотворно, отчаяние наполовину потеряло свою силу. Через часок вошел прислуживающий брат, принес мучной суп, кусочек белого хлеба и небольшой бокал красного вина, который ученики обычно получали только по праздникам, Гольдмунд поел и выпил, съел полтарелки, отставил, принялся опять размышлять, но ничего не вышло; он опять пододвинул тарелку, съел еще несколько ложек. И когда немного спустя дверь тихо отворилась и вошел



Нарцисс, чтобы проведать больного, тот лежал и спал, и румянец опять появился на его щеках.

Долго смотрел на него Нарцисс, с любовью, с пытливым любопытством и немного с завистью. Он видел: Гольдмунд не был болен, завтра ему уже не нужно будет посылать вина. Но он знал, запрет снят, они будут друзьями. Пусть сегодня Гольдмунду понадобились его услуги. В другой раз, возможно, он сам окажется слабым и будет нуждаться в помощи и участии. И если это произойдет, от этого мальчика он их примет.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Странная это была дружба, что началась между Нарциссом и Гольдмундом; лишь немногим пришлось увидеть ее по душе, а иногда могло показаться, что им самим от нее мало удовольствия. Нарциссу, мыслителю, поначалу приходилось особенно трудно. Для него все было духовно, даже любовь; ему не дано было бездумно отдаваться чувству. Он был в этой дружбе ведущей силой и долгое время оставался единственным, кто сознавал судьбу, глубину и смысл этой дружбы. Долгое время он оставался одинок в самый разгар любви, зная, что друг только тогда будет действительно принадлежать ему, когда он подведет его к пониманию. Искренне и пылко, легко и безотчетно отдавался Гольдмунд новой жизни; сознательно и ответственно принимал высокий жребий Нарцисс.

Для Гольдмунда это было прежде всего спасение и выздоровление. Его юная потребность в любви, только что властно разбуженная взглядом и поцелуем красивой девушки, тотчас же отступила в безнадежном страхе. Ибо





в самой глубине души он чувствовал, что все его прежние мечты о жизни, все, во что он верил, все, к чему считал себя предназначенным и призванным, ставилось в основе своей под угрозу тем поцелуем в окне, взглядом тех темных глаз. Предназначенный отцом к монашеской жизни, всей волей принимая это предназначение, с юношеским пылом отдаваясь набожности и аскетически-героическому идеалу, он при первой же беглой встрече, при первом пробуждении чувств, при первом женском приветствии почувствовал, что здесь его неизбежный враг и демон, что в женщине для него таится опасность. И вот судьба посылает ему спасение, в самую трудную минуту является эта дружба, предоставляя его душевной потребности цветущий сад, его благоговению — новый алтарь. Здесь ему разрешалось любить, разрешалось без греха отдавать себя, дарить свое сердце достойному восхищения, старшему, умному другу, превратить, одухотворяя, опасное пламя чувств в благородный жертвенный огонь.

Но в первую же весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданным, загадочным охлаждением, пугающей требовательностью. Ведь ему и в голову не приходило считать друга полной себе противоположностью. Ему казалось, что для того, чтобы из двоих сделать одно, сгладить различия и снять противоречия, нужна только любовь, только искренняя самоотверженность. Но как строг и тверд, умен и непреклонен был этот Нарцисс! Казалось, ему незнакомы и нежелательны невинная самоотдача, благодарное странствие вдвоем по стране дружбы. Казалось, он не ведает и не терпит путей без цели, мечтательных блужданий. Правда, когда Гольдмунд был болен, он проявил заботу о нем, правда, он был верным помощником и советчиком ему



во всех учебных и ученых делах, объясняя трудные места в книгах, учил разбираться его в тонкостях грамматики, логики, теологии; но казалось, он никогда не был по-настоящему доволен другом, и согласен с ним, достаточно часто казалось даже, что он посмеивается над ним, не принимая всерьез. Гольдмунд, правда, чувствовал, что это не просто наставничество, не просто важничанье более старшего и более умелого, что за этим кроется что-то более глубокое, более важное. Понять же это более глубокое он был не в состоянии, и нередко дружба повергала его в печаль и растерянность.

В действительности Нарцисс прекрасно знал, что представлял собой его друг, он не был ослеплен ни его цветущей красотой, ни его естественной силой жизни и скрытой полнотой чувств. И он ни в коей мере не был наставником, который хотел питать пылкую юную душу греческим, отвечать на невинную любовь логикой. Слишком сильно любил он белокурого юношу, а для него это было опасно, потому что любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не смел влюбиться, не смел довольствоваться приятным созерцанием этих красивых глаз, близостью этого цветущего светлого белокурого создания, не смел позволить этой любви хотя бы на мгновение задержаться на уровне чувственного. Потому что если Гольдмунд считал себя предназначенным быть монахом и аскетом и всю жизнь стремиться к святости — Нарцисс действительно был предназначен для такой жизни. Ему была позволена любовь только в единственной, высшей форме. В предназначение же Гольдмунда к жизни аскета Нарцисс не верил. Яснее, чем кто-либо другой, он умел читать в душах людей, а тут, когда он любил, он читал с особой ясностью. Он видел сущность





Гольдмунда, которую глубоко понимал, несмотря на противоположность. Он видел эту сущность, покрытую твердым панцирем фантазий, ошибок воспитания, слов отца, и давно понял тайну этой молодой жизни. Его задача была ему ясна: раскрыть эту тайну самому носителю, освободить его от панциря, вернуть его собственной природе. Это будет нелегко, и самое трудное в том, что из-за этого, он, возможно, потеряет друга.

Бесконечно медленно приближался он к цели. Месяцы прошли, прежде чем стало возможно первое наступление, серьезный разговор между обоими. Так далеки были они друг от друга, несмотря на всю дружбу, так велико было напряжение меж ними. Зрячий и слепой, так и шли они рядом, то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, было для него лишь облегчением.

Первую попытку Нарцисс сделал, постаравшись разузнать о том переживании, которое подтолкнуло к нему в трудную минуту потрясенного мальчика. Разузнать это оказалось легче, чем он предполагал. Давно уже чувствовал Гольдмунд потребность исповедоваться в переживаниях той ночи; однако никому, кроме настоятеля, он не доверял вполне, а настоятель не был его духовником. Когда же Нарцисс как-то в подходящий момент напомнил другу о начале их союза и осторожно коснулся тайны, он без обиняков сказал: «Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь выслушивать исповеди, я охотно освободился бы от того потрясения, исповедавшись и исполнив наказание. Но своему духовнику я не могу этого рассказать».

Осторожно, не без хитрости продвигался Нарцисс дальше по найденному следу. «Помнишь, — подсказал он, — то утро, когда ты вроде бы заболел; ты не забыл



его, ведь тогда мы стали с тобой друзьями. Я часто думал о нем. Может быть, ты и не заметил, но я чувствовал себя совершенно беспомощным».

— Ты беспомощным? — воскликнул друг недоверчиво. — Но ведь беспомощным был я! Ведь это я стоял, не в состоянии вымолвить ни слова, и в конце концов расплакался как ребенок! Фу, до сих пор стыдно; я думал, что никогда больше не смогу смотреть тебе в глаза. Ты видел меня таким ничтожно слабым!

Нарцисс продолжал нащупывать дальше.

— Я понимаю, — сказал он, — что тебе было неприятно. Такой крепкий и смелый молодец, как ты, и вдруг плачет перед чужим, да еще учителем, тебе это действительно не пристало. Ну, тогда-то я счел тебя больным. А уж если тебя бьет лихорадка, то сам Аристотель поведет себя странно. Но потом оказалось, что ты вовсе не болен! Не было никакой лихорадки! И поэтому-то ты и стыдишься. Никто ведь не стыдится, что схватил лихорадку, не так ли? Ты стыдишься, потому что не смог противиться чему-то другому, что-то другое потрясло тебя. Произошло что-нибудь особенное?

Гольдмунд немного поколебался, затем медленно произнес:

— Да, произошло нечто особенное. Позволь считать тебя моим духовником; нужно же когда-то об этом сказать.

С опущенной головой он рассказал другу историю той ночи.

На это Нарцисс, улыбаясь, сказал:

— Ну, конечно, ходить в деревню запрещено. Но ведь многое из запрещенного можно делать и посмеиваться над этим, или же исповедоваться и считать дело решенным,





не касаясь его больше. Почему бы тебе и не совершить эту маленькую глупость, как это делает чуть ли не каждый ученик? Разве это так уж плохо?

Не сдерживаясь, Гольдмунд гневно разразился:

— Ты говоришь действительно как школьный учитель! Наперед точно знаешь, о чем речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы разок нарушить правила и принять участие в проделке, хотя это, пожалуй, и нельзя считать достойной подготовкой к монашеской жизни.

— Постой!— воскликнул Нарцисс резко.— Разве ты не знаешь, друг, что для многих благочестивых отцов именно такая подготовка была необходима? Хотя самый короткий путь к святой жизни — жизнь пустытника.

— Ах, оставь!— возразил Гольдмунд.— Я хотел сказать: не легкое непослушание тяготило мою совесть. Это было нечто другое. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать! Чувство, что если я поддамся этому соблазну, если только протяну руку, чтобы коснуться девушки, я уже никогда больше не смогу вернуться назад, что грех как адская бездна поглотит меня и никогда не отпустит. Что с этим кончатся все прекрасные мечты, все добродетели, вся любовь к Богу и добру.

Нарцисс кивнул в глубокой задумчивости.

— Любовь к Богу,— сказал он медленно, подыскивая слова,— не всегда едина с любовью к добру. Ах, если бы это было так просто! Что хорошо, мы знаем из заповедей. Но Бог не только в заповедях, пойми, они лишь малая часть Его. Ты можешь исполнять заповеди и быть далеко от Бога.

— Неужели ты меня не понимаешь?— пожаловался Гольдмунд.

— Конечно, я понимаю тебя. Женщина, пол связы-



ваются у тебя с понятиями мира и греха. На все другие грехи, как тебе кажется, ты или неспособен или, если даже совершишь их, они не будут настолько угнетать тебя, в них можно исповедаться и освободиться. Только от одного этого нельзя.

— Правильно, именно так я чувствую.

— Как видишь, я тебя понимаю. Да ты не так уж и не прав, по-видимому, история о Еве и змие совсем не забавная сказка. И все-таки ты не прав, дорогой. Ты был бы прав, если бы был настоятелем Даниилом или твоим крестным, Святым Хризостомусом, если бы ты был епископом или священником или даже всего лишь простым монахом. Но ведь ты не являешься ни одним из них. Ты ученик, и если даже желаешь навсегда остаться в монастыре или это желает за тебя отец, то ведь обет ты еще не дал, посвящения не получил. И если сегодня или завтра тебя совертит красивая девушка, и ты поддашься искушению, то не нарушишь никакой клятвы, никакого обета.

— Никакого писаного обета! — воскликнул Гольдмунд в большом волнении. — Но неписанный, самый святой, который ношу в себе. Неужели ты не видишь — то, что годится для многих других, не годится для меня? Ведь ты сам тоже еще не получил посвящения, не дал обета, но ведь ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Ты не таков? Ты совсем не тот, за кого я тебя принимаю? Разве ты не дал себе клятву, хотя и не в словах и не перед вышестоящим, а в сердце, и разве не чувствуешь себя из-за нее навеки обязанным? Разве ты не похож на меня?

— Нет, Гольдмунд, я не похож на тебя, не такой, как ты думаешь. Правда, я принял молчаливый обет, в этом ты прав. Но я совершенно не похож на тебя. Я скажу





тебе сегодня кое-что, а ты подумай. Вот что я скажу тебе: наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня.

Гольдмунд стоял пораженный; Нарцисс говорил с таким видом и таким тоном, которому нельзя было возражать. Но почему Нарцисс говорил такие слова? Почему молчаливый обет Нарцисса был более свят, чем его? Принимал ли он его вообще всерьез, не считал ли всего лишь ребенком? Начинались новые замешательства и трудности этой странной дружбы.

Нарцисс больше не сомневался в природе тайны Гольдмунда. За этим стояла Ева, праматерь. Но как же могло получиться, что в таком красивом, здоровом, таком цветущем юноше пробуждающийся пол встретил столь ожесточенную вражду? Должно быть, тут действовал демон, тайный враг, которому удалось разъединить изнутри этого человека и раздвоить его изначальные влечения. Итак, демона нужно найти, сделать видимым и изгнать, тогда он будет побежден.

Между тем товарищи все больше и больше избегали Гольдмунда и оставляли его, скорее они чувствовали, что он оставлял их и в какой-то мере изменял им. Никому не нравилась его дружба с Нарциссом. Злые оставили ее противоестественной, именно те, кто сами были влюблены в обоих юношей. Но и другие, убежденные, что здесь нет ничего порочного, качали головами. Никто не желал, чтобы эти двое были вместе, этот союз, казалось, отделял их, как высокомерных аристократов, от остальных, бывших для них недостаточно хорошими; это было не по-товарищески, это было не по-монастырски, это было не по-христиански.



Кое-что об обоих доходило до слуха настоятеля Даниила, толки, жалобы, сплетни. Много юношеских дружб повидал он более чем за сорок лет монастырской жизни, они входили в картину жизни монастыря, были милым дополнением, иногда забавой, иногда опасностью. Он держался в стороне, зорко следя, но не вмешиваясь. Дружба такой силы и исключительности была редкостью, без сомнения, она была небезопасной; но так как он ни секунды не сомневался в ее чистоте, то предоставил делу идти своим чередом. Если бы Нарцисс не был на особом положении среди учеников и учителей, настоятель не задумываясь отдал бы распоряжение разделить их. Не хорошо, что Гольдмунд сторонится товарищей и поддерживает близкие отношения со старшим, да еще учителем. Но можно ли мешать Нарциссу, необыкновенному, высокоодаренному, которого все учителя считали не только равным себе духовно, но даже превосходящим их в выбранном деле, и лишить его деятельности учителя? Если бы Нарцисс перестал оправдывать себя в качестве учителя, если бы его дружба привела к небрежности или несправедливости, он сразу же отстранил бы его. Однако ничто не свидетельствовало против него, ничего не было, кроме кривотолков, ничего, кроме ревнивого недоверия других. Помимо того, настоятель знал об особом даре Нарцисса, о его удивительно проникновенном, возможно, несколько самонадеянном знании людей. Он не придавал особого значения этому дару, другие способности Нарцисса больше радовали его; но он не сомневался, что Нарцисс чувствовал особенность ученика Гольдмунда и знал его куда лучше, чем он или кто-либо другой. Он сам, настоятель, не замечал в Гольдмунде, помимо его подкупающей прелести, ничего, кроме явно преждевременного, даже несколько не по годам развитого усер-





дия, с которым он уже теперь, будучи лишь учеником и гостем, кажется, чувствует себя принадлежащим монастырю и уже почти братом. Что Нарцисс будет поощрять и подогревать это трогательное, но незрелое усердие, не страшно. Беспокоиться можно скорее за то, что друг заразит его определенным духовным самомнением и ученым высокомерием; но для Гольдмунда, именно для него, опасность казалась не столь велика; в этом смысле можно, пожалуй, ничего не предпринимать. Когда он думал о том, насколько проще, покойнее и удобнее быть настоятелем у заурядных людей, то одновременно вздыхал и улыбался. Нет, он не хотел заражаться недоверием, не хотел быть неблагодарным, что ему были вверены два исключительных человека.

Нарцисс много думал о своем друге. Его особая способность видеть и распознавать сущность и предназначение человека помогла ему разобраться в Гольдмунде. Яркая живость этого юноши явно свидетельствовала о том, что он был отмечен всеми знаками сильного, богато одаренного чувствами человека глубокой души, возможно художника, во всяком случае, человека огромной силы любви, предназначение и счастье которого состояло в том, чтобы воспламеняться чувством и отдаваться ему. Почему же этот человек любви, человек тонких и богатых чувств, который так глубоко наслаждался ароматом цветов, утренним солнцем, любил своего коня, восхищался полетом птиц, музыкой, почему он был одержим идеей стать духовным лицом и аскетом? Нарцисс много размышлял об этом. Он знал, что отец Гольдмунда поддерживал эту одержимость. А не мог ли он ее нарочно вызвать? Какими чарами околдовал он сына, что тот поверил в такое предназначение и долг? Что за человек этот отец?



Хотя он намеренно часто заводил о нем разговор, и Гольдмунд немало рассказывал о нем, Нарцисс все-таки не мог представить себе этого отца, не мог увидеть его. Разве это не странно, не подозрительно? Когда Гольдмунд говорил о форели, которую ловил мальчиком, когда описывал бабочку, подражал крику птицы, рассказывал о товарище, о собаке или нищем, то возникали картины, что-то виделось. Когда же он говорил о своем отце, не виделось ничего. Нет, если бы этот отец был действительно таким важным, сильным, влиятельным лицом в жизни Гольдмунда, он иначе описывал бы его! Нарцисс был невысокого мнения об этом отце, он не нравился ему; он даже подчас сомневался, а был ли он действительно отцом Гольдмунда? Он казался каким-то пустым идиолом. Но откуда же у него эта власть? Как же он сумел наполнить душу Гольдмунда мечтаниями, по сути столь чуждыми его душе?

И Гольдмунд много размышлял. Как ни глубоко чувствовал он сердечную любовь своего друга, у него все время было тягостное чувство, что тот принимает его недостаточно всерьез и обращается с ним немного как с ребенком. А к чему это друг постоянно дает ему понять, что он не такой, как он?

Между тем эти размышления не заполняли дни Гольдмунда целиком. Долго размышлять он вообще не любил. Было много других занятий в течение долгого дня. Он часто пропадал у брата привратника, с которым был в очень хороших отношениях. Хитростью и уговорами он всегда добивался разрешения часок-другой поскакать на Блессе; его очень полюбили и другие, жившие при монастыре, у мельника, к примеру; частенько с его работником они подстерегали выдру или пекли лепешки из





тонкой прелатской муки, которую Гольдмунд из всех сортов мог определить с закрытыми глазами, только по запаху. Хотя он и много времени проводил с Нарциссом, оставалось все-таки немало часов, в которые он предавался своим давним привычкам и радостям. Церковная служба тоже была для него по большей части радостью; он охотно пел в ученическом хоре, любил читать молитвы по четкам перед любимым алтарем, слушал прекрасную, торжественную латынь мессы, смотрел сквозь клубы ладана на сверкающую золотом утварь и убранство, на спокойные, почтенные фигуры святых, стоящих на колоннах, евангелистов с животными, Иакова в шляпе и с сумкой паломника.

Эти формы влекли его, каменные и деревянные эти фигуры воображались ему таинственным образом связанными с его личностью, чем-то вроде бессмертных всезнающих крестных, заступников и проводников в его жизни. Точно так же чувствовал он любовь и тайную дивную связь с колоннами и капителями окон и дверей, орнаментами алтарей, с этими прекрасно профилированными опорами и венками, с этими цветами и бурно разросшимися листьями, выступавшими из камня колонн, так выразительно обрамляя их. Ему казалось драгоценной, сокровенной тайной, что, кроме природы, ее растений и животных, была еще эта вторая, немая, созданная людьми природа, эти люди, животные и растения из камня и дерева. Нередко он проводил время, срисовывая эти фигуры, головы животных и пучки листьев, а иногда пытаясь рисовать и настоящие цветы, лошадей, лица людей.

И еще он очень любил церковное пение, особенно песнопения деве Марии. Он любил четкий строгий ход этих



песнопений, их постоянно повторяющиеся мольбы и восхваления. Он молитвенно следовал их почтительному смыслу или же, забывая смысл, лишь любовался торжественными размерами этих стихов, наполняясь ими, растянутыми глубокими звуками, полнозвучными гласными, благочестивыми повторами. В глубине сердца он любил не ученость, не грамматику и логику, хотя в них была красота, а мир образов и звуков литургии.

Все снова и снова он ненадолго прерывал также возникшее между ним и учениками отчуждение. Ему было неприятно и скучно подолгу чувствовать себя отверженным, окруженным холодностью; он то смешил ворчливого соседа по парте, то заставлял болтать молчаливого соседа в дортуаре, быстро добивался своего и отвоевывал на свою сторону несколько глаз, несколько лиц, несколько сердец. Два раза из-за таких сближений, совершенно того не желая, он был приглашен «пойти в деревню». Тут он испугался и быстро отступил. Нет, в деревню он больше не ходил, и ему удалось забыть девушку с косами, никогда не вспоминать о ней или почти никогда.



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Долго оставались напрасными попытки Нарцисса раскрыть тайну Гольдмунда. Долго казались тщетными его старания пробудить его, научить языку, на котором можно было бы сообщить тайну. Из того, что друг рассказывал ему о своем происхождении и родине, не получалось картины. Был смутный, бесформенный, но почитаемый отец, да легенда о давно пропавшей или погибшей



матери, от которой осталось лишь смутное воспоминание. Постепенно Нарцисс, умело читавший в душах, понял, что его друг относится к людям, для которых утрачена часть их жизни, которые под давлением какой-то необходимости или колдовства вынуждены были забыть часть своего прошлого. Он понял, что просто расспросы и поучения здесь бесполезны, он видел также, что чересчур полагался на силу рассудка и много говорил понапрасну.

Но не напрасна была любовь, связывавшая его с другом, и привычка много бывать вместе. Несмотря на глубокое различие своих натур, оба многому научились друг у друга; между ними наряду с языком рассудка постепенно возник язык души и знаков, подобно тому как между двумя поселками, помимо дороги, по которой ездят кареты и скачут рыцари, возникает много забавных, обходных, тайных дорожек; дорожка для детей, тропа влюбленных, едва заметные ходы собак и кошек. Постепенно одухотворенная сила воображения Гольдмунда какими-то магическими путями проникла в мысли и язык друга, и он научился у Гольдмунда понимать и сочувствовать без слов. Медленно вызревали в свете любви новые связи от души к душе, лишь потом приходили слова. Так однажды в один свободный от занятий день в библиотеке неожиданно для обоих меж друзьями состоялся разговор — разговор, который коснулся самой сути их дружбы и многое осветил новым светом.

Они говорили об астрологии, которой не занимались в монастыре, и она была запрещена. Нарцисс сказал, что астрология — это попытка внести порядок в систему во все многообразии характеров, судеб и предопределений людей. Тут Гольдмунд вставил: «Ты постоянно говоришь



о различиях — постепенно я понял, что это твоя самая главная особенность. Когда ты говоришь о большой разнице между тобой и мной, например, то мне кажется, что она состоит не в чем ином, как в твоей странной одержимости находить различия!»

Нарцисс: «Правильно, ты попал в точку. В самом деле: для тебя различия не очень важны, мне же они кажутся единственно важными. Я по сути своей ученый, мое предназначение — наука. А наука — цитирую тебя — действительно не что иное как «одержимость находить различия»! Лучше нельзя определить ее суть. Для нас, людей науки, нет ничего важнее как устанавливать различия, наука называется искусством различения. Например, найти в человеке признаки, отличающие его от других, значит познать его».

Гольдмунд: «Ну, да. На одном крестьянские башмаки, он — крестьянин, на другом корона, он — король. Это, конечно, различия. Но они видны и детям, без всякой науки».

Нарцисс: «Но если крестьянин и король одеты одинаково, ребенок уже не различит их».

Гольдмунд: «Да и наука тоже».

Нарцисс: «А может быть, все-таки различит. Она, правда, не умнее ребенка, что следует признать, но она терпеливее, она замечает не только самые общие признаки».

Гольдмунд: «Любой умный ребенок делает то же самое. Он узнает короля по взору или манере держаться. А говоря короче, вы, ученые, высокомерны, вы всегда считаете нас, других, глупее. Можно без всякой науки быть очень умным».

Нарцисс: «Меня радует, что ты начинаешь это пони-





мать. А скоро ты поймешь также, что я не имею в виду ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю: ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я говорю только: ты — другой».

Гольдмунд: «Это нетрудно понять. Но ты говоришь не только о различиях признаков, ты часто говоришь о различиях судьбы, предназначения. Почему, например, у тебя должно быть иное предназначение, чем у меня. Ты, как и я, христианин, ты, как и я, решил жить в монастыре, ты, как и я, сын нашего доброго Отца на небесах. У нас одна и та же цель: вечное блаженство. У нас одно и то же предназначение: возвращение к Богу».

Нарцисс: «Очень хорошо. По учебнику догматики, один человек и впрямь точно такой же, как другой, а в жизни нет. Мне кажется, любимый ученик Спасителя, на чьей груди Он отдыхал, и другой ученик, который Его предал, имели, пожалуй, не одно и то же предназначение».

Гольдмунд: «Ты просто софист, Нарцисс! Таким путем мы не станем ближе друг другу».

Нарцисс: «Мы никаким путем не станем ближе друг другу».

Гольдмунд: «Не говори так!».

Нарцисс: «Я говорю серьезно. Наша задача состоит не в том, чтобы сближаться друг с другом, как нельзя сближать солнце и луну, море и сушу. Наша цель состоит не в том, чтобы переходить друг в друга, но узнать друг друга и видеть и уважать в другом то, что он есть: противоположность другого и дополнение». Пораженный Гольдмунд опустил голову, лицо его стало печальным.

Наконец он сказал: «Поэтому ты так часто не принимаешь мои мысли всерьез?»



Нарцисс помедлил немного с ответом. Затем сказал ясным, твердым голосом: «Поэтому. Ты должен приучить себя, милый Гольдмунд, к тому, что всерьез я принимаю только тебя самого. Верь мне, я принимаю всерьез каждый звук твоего голоса, каждый твой жест, каждую твою улыбку. А твои мысли, к ним я отношусь менее серьезно. Я принимаю всерьез в тебе то, что считаю существенным и неизбежным. Почему ты придаешь такое большое значение именно своим мыслям, когда у тебя столько других дарований?»

Гольдмунд горько улыбнулся: «Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!»

Нарцисс оставался непреклонным: «Некоторые твои мысли я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок совсем не глупее ученого. Но если ребенок будет рассуждать о науке, ученый ведь не примет это всерьез».

Гольдмунд горячо возразил: «Да даже если мы говорим не о науке, ты подсмеиваешься надо мной! У тебя, например, всегда получается так, что моя набожность, мои старания продвигаются в учебе, мое желание быть монахом всего лишь ребячество!»

Нарцисс серьезно посмотрел на него: «Я принимаю тебя всерьез, когда ты Гольдмунд. А ты не всегда Гольдмунд. Мне же хочется, чтобы ты целиком и полностью стал Гольдмундом. Ты — не ученый, ты — не монах, ученым или монахом можно сделаться и при незначительной натуре. Ты думаешь, что слишком мало учен, недостаточно силен в логике или не очень набожен для меня. О нет, но ты слишком мало являешься самим собой, по моему».

Хотя после этого разговора Гольдмунд, озадаченный





и даже уязвленный, и замкнулся в себе, уже через несколько дней он сам почувствовал потребность продолжить его. На этот раз Нарциссу удалось так представить ему различия их натур, что он принял их более благосклонно.

Нарцисс говорил мягко, чувствуя, что сегодня Гольдмунд более открыто и охотно принимал его слова, что у него есть власть над ним. Соблазнившись успехом, он сказал больше, чем намеревался, увлеченный собственными словами.

«Видишь ли, — сказал он, — я только в одном превосхожу тебя: я бодрствую, тогда как ты бодрствуешь наполовину, а иногда и совсем спишь. Бодрствующим я называю того, кто понимает и осознает себя, свои самые глубокие внерассудочные силы, влечения и слабости и умеет с ними считаться. То, что ты этому учишься, является для тебя смыслом встречи со мной. У тебя, Гольдмунд, дух и природа, сознание и грезы очень далеки друг от друга. Ты забыл свое детство, из глубины твоей души оно пробивается к тебе. Оно будет заставлять тебя страдать так долго, пока ты не услышишь его. Ну да хватит об этом! В бодрствовании, как я сказал, я сильнее тебя, здесь я превосхожу тебя и могу поэтому быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня — во всяком случае, ты будешь таким, когда найдешь сам себя».

Гольдмунд с удивлением слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул как пораженный стрелой, хотя Нарцисс не заметил этого, так как по своему обыкновению говорил с закрытыми глазами или смотря перед собой, как будто так лучше подбирал слова. Он не видел как лицо Гольдмунда передернулось и начало бледнеть.

— Превосхожу... я тебя! — заикаясь произнес Гольд-



мунд, только чтобы хоть что-то сказать, но весь как бы оцепенел.

— Конечно, — продолжал Нарцисс, — натуры, подобные твоей, с сильными и нежными чувствами, одухотворенные мечтатели, поэты, любящие — почти всегда превосходят нас других, нас, людей духа. Ваше происхождение материнское. Вы живете в полноте, вам дана сила любви и переживания. Мы, люди духа, хотя часто как будто и руководим и управляем вами, не живем в полноте, мы живем сухо. Вам принадлежит богатство жизни, сок плодов, сад любви, прекрасная страна искусства. Ваша родина — земля, наша — идея. Ваша опасность — потонуть в чувственном мире, наша — задохнуться в безвоздушном пространстве. Ты — художник, я — мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрствую в пустыне. Мне светит солнце, тебе — луна и звезды, твои мечты о девушках, мои — о мальчиках...

С широко открытыми глазами слушал Гольдмунд, как говорил Нарцисс, упоенный собственной речью. Некоторые его слова вонзались в него подобно мечам; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, и когда Нарцисс это заметил и испуганно замолчал, тот, совершенно бледный, угасшим голосом проговорил: «Однажды случилось, что я показал тебе свою слабость и плакал — ты помнишь. Этого больше никогда не случится, я никогда себе этого не прощу — но и тебе тоже! А теперь быстро уходи и оставь меня одного, ты сказал мне ужасные слова».

Нарцисс был очень смущен. Слова увлекли его, у него было чувство, что он говорил лучше, чем когда-либо. Теперь он в замешательстве видел, что какие-то его слова глубоко потрясли друга, в чем-то задели его за жи-





вое. Ему было трудно оставить друга одного в этот момент, он помедлил секунду, но нахмуренный лоб Гольдмунда заставил его поспешить, и в смятении он побежал прочь, чтобы оставить друга одного, в чем тот нуждался.

На этот раз перенапряжение в душе Гольдмунда разрешилось не слезами. С чувством глубокой и неизлечимой раны, как будто друг неожиданно всадил ему нож прямо в грудь, стоял он, тяжело дыша, со смертельно сжавшимся сердцем, с бледным, как воск, лицом, с онемевшими руками. Это было то же ужасное состояние, как тогда, только в несколько раз сильнее, опять что-то давящее внутри, чувство, что он должен посмотреть в глаза чему-то страшному, чему-то просто невыносимому. Но на этот раз облегчающие слезы не могли помочь вынести ужас. Святая Мадонна, что же это такое? Что же произошло? Его убили? Он убил? Что же такого страшного было сказано?

С трудом переводя дыхание, он как отравленный разрывался от желания освободиться от чего-то смертельного, что застряло глубоко внутри его. Двигаясь подобно плывущему, он бросился вон из комнаты, бессознательно бежал в самые тихие, самые безлюдные места монастыря, через переходы, по лестницам, на волю, на воздух. Он попал в самое укромное убежище монастыря, обходную галерею, над зелеными клумбами сияло ясное солнечное небо, сквозь прохладный воздух каменного подвала слегка пробивался сладкий аромат роз.

Сам того не подозревая, Нарцисс сделал в этот час то, что страстно желал сделать уже давно: он назвал по имени демона, которым был одержим его друг, он его определил. Какое-то из его слов коснулось тайны в сер-



дце Гольдмунда, и оно восстало в неистовой боли. Долго бродил Нарцисс по монастырю в поисках друга, но так и не нашел его.

Гольдмунд стоял под одной из круглых тяжелых арок, которые вели из переходов в садик, с каждой из колонн на него уставились по три головы животных, каменные головы собак или волков. Страшно ныла в нем рана, без выхода к свету, без выхода к разуму. Смертельный страх перехватил горло и живот. Машинально подняв взор, он увидел над собой одну из капителей колонны с тремя головами животных, и ему тотчас пришло в голову, что эти три дикие головы сидели, глазели, лаяли у него внутри.

«Сейчас я умру», — подумал он в ужасе. И сразу затем, дрожа от страха, почувствовал: «Сейчас я потеряю рассудок, сейчас меня сожрут эти звери». Затрепетав, он опустился у подножия колонны, боль была слишком велика, достигнув крайнего предела. Его охватила слабость, и он погрузился с опущенным лицом в желанное небытие.

У настоятеля Даниила выдался малоприятный день, двое старших монахов пришли к нему сегодня, возбужденно бранясь, полные упреков друг другу, опять вспомнили застарелые мелочные ссоры. Он их выслушивал слишком долго, увещевал, однако безуспешно, в конце концов отпустил, наложив довольно суровое наказание, но в душе осталось чувство, что действия его были бесполезны. Обессиленный, он уединился в капелле нижней церкви, молился, но, не получив облегчения, опять вышел. И вот, привлеченный слабо льющим ароматом роз, он вышел на обходную галерею подышать немного воздухом. Тут он нашел ученика Гольдмунда, лежавшего без





сознания на каменных плитах. С грустью глядел он на него, испугавшись мертвенной бледности его всегда такого красивого юного лица. Недобрый сегодня день, теперь еще и это! Он попытался поднять юношу, но ноша была не для него. Глубоко вздохнув, он пошел прочь, старый человек, чтобы позвать двух братьев помоложе отнести его наверх, послав туда же патера Ансельма, бывшего врачом. Одновременно он послал за Нарциссом, которого быстро нашли, и он явился к нему.

— Ты уже знаешь?— спросил он его.

— О Гольдмунде? Да, досточтимый отец, я только что слышал, что он заболел или пострадал от несчастного случая, его принесли.

— Да, я нашел его лежащим на обходной галерее, где ему, собственно, нечего было делать. Он пострадал не от несчастного случая, он был без сознания. Это мне не нравится. Мне кажется, ты должен быть причастен к делу или хотя бы что-то знать об этом, ведь он твой друг. Поэтом я позвал тебя. Говори.

Нарцисс, как всегда прекрасно владея собой и речью, коротко изложил свой сегодняшний разговор с Гольдмундом и как неожиданно сильно он на того подействовал. Настоятель недовольно покачал головой.

— Странные разговоры,— сказал он, принуждая себя к спокойствию.— То, что ты мне тут рассказал, похоже на разговор, который можно назвать вмешательством в чужую душу, я бы сказал, этот разговор душеспасительный. Но ведь ты не являешься духовником Гольдмунда. Ты вообще не духовник, ты даже еще не рукоположен. Как же получилось, что ты говорил с учеником в тоне советчика о вещах, которые касаются только духовника? Последствия, как видишь, печальные.



— Последствий, — сказал Нарцисс мягко, но определенно, — мы еще не знаем, досточтимый отец. Я был несколько напуган сильным действием, но не сомневаюсь, что последствия нашего разговора будут для Гольдмунда добрыми.

— Мы еще увидим последствия. Сейчас я говорю не о них, а о твоих действиях. Что побудило тебя вести такие разговоры с Гольдмундом?

— Как Вы знаете, он мой друг. Я испытываю к нему особую склонность и думаю, что особенно хорошо понимаю его. Вы говорите, что я отнесся к нему как духовник. Но я ни в коей мере не приписывал себе духовный авторитет, я только полагал, что знаю его лучше, чем он сам себя знает.

Настоятель пожал плечами.

— Я знаю, это твоя специальность. Будем надеяться, что ты не сделал этим ничего плохого. Разве Гольдмунд болен? Я имею в виду, болит у него что-нибудь? Он слаб? Плохо спит? Ничего не ест? Страдает от каких-нибудь болей?

— Нет, до сих пор он был здоров. Телом здоров.

— А в остальном?

— Душой он, во всяком случае, болен. Вы знаете, он в том возрасте, когда начинается борьба с половым инстинктом.

— Я знаю. Ему семнадцать?

— Ему восемнадцать.

— Восемнадцать. Ну да, достаточно много. Но ведь эта борьба естественна, каждый должен пройти через нее. Из-за этого ведь нельзя называть его больным душой.

— Нет, досточтимый отец, только из-за этого — нет. Но Гольдмунд был болен душой уже до этого, уже давно, поэтому эта борьба для него опаснее, чем для дру-





гих. Он страдает, как я думаю, от того, что забыл часть своего прошлого.

— Вот как? Какую же это часть?

— Свою мать и все, что с ней связано. Я тоже ничего не знаю об этом, я только знаю, что там должен быть источник его болезни. Сам Гольдмунд как будто ничего не знает о своей матери, кроме того, что рано потерял ее. Но создается впечатление, что он стыдится ее. И все-таки именно от нее он унаследовал большинство своих дарований; то, что он рассказывает о своем отце, не дает представления о человеке, у которого такой красивый, одаренный и своеобразный сын. Я знаю все это не из рассказов, а заключаю из проявлений.

Настоятель, который поначалу слегка посмеивался про себя над этими не по годам умными и заносчивыми речами и для которого все дело было тягостным и щекотливым, задумался. Ему вспомнился отец Гольдмунда, несколько напыщенный и скрытный человек, теперь, поискав в памяти, он вдруг припомнил некоторые слова, в которых тот высказывался о матери Гольдмунда. Она опозорила его и убежала от него, сказал он, и он постарался подавить в сьне воспоминания о ней и некоторые унаследованные от нее пороки. Это ему весьма удалось, и мальчик намерен во искупление того, чего недоставало матери, посвятить свою жизнь Богу.

Никогда Нарцисс не был действительно столь мало приятен, как сегодня. И все-таки — как хорошо этот педант все разгадал, как хорошо, казалось, разбирается в деле Гольдмунда!

В заключение спрошенный еще раз о сегодняшних обстоятельствах Нарцисс сказал:

— Сильное потрясение, которое пережил сегодня Гольдмунд, не было вызвано мной умьшленно. Я напомнил



ему о том, что он не знает сам себя, что он забыл свое детство и мать. Какое-то из моих слов, должно быть, задело его и проникло в то темное, против чего я давно борюсь. Он был каким-то отсутствующим и смотрел на меня, как бы не узнавая ни меня, ни себя самого. Я часто говорил ему, что он спит, что он не бодрствует по-настоящему. Теперь он пробудился. в этом я не сомневаюсь.

Он был отпущен без наказания, но временно ему запрещалось посещать больного.

Между тем патер Ансельм распорядился положить бесчувственного на постель и сел возле него. Возвращать его в сознание сильными средствами казалось ему неразумным. Юноша выглядел слишком плохо. Благожелательно смотрел старик с морщинистым добрым лицом на юношу. Прежде всего он пощупал пульс и послушал сердце. Конечно, думал он, мальчуган съел что-то неудобоваримое, горсть кислицы или еще какой-нибудь дряни, дело известное. Язык он не мог посмотреть. Он любил Гольдмунда, но его друга, этого скороспелого слишком молодого учителя, терпеть не мог. И вот, нате вам. Определенно Нарцисс виноват в этой глупой истории. Зачем нужно было связываться такому живому, ясноглазому мальчику, сыну природы, именно с этим высокомерным ученым, этим заносчивым грамотеем, для которого его греческий важнее всего живого в мире!

Когда долгое время спустя дверь открылась и вошел настоятель, патер все еще сидел, пристально смотря на лицо лежащего без сознания. Что за милое, юное, беззлобное лицо, и вот сидишь возле, хочешь помочь и не можешь. Конечно, причиной могли быть колики, он бы распорядился дать глинтвейну, может быть, ревеню. Но чем дольше он смотрел на бледное до зелени, искажен-





ное лицо, тем более склонялся к другому подозрению, внушающему большие опасения. У патера Ансельма был опыт. Не раз за свою долгую жизнь он видал одержимых. Он медлил высказать свое глубокое подозрение даже самому себе. Лучше подождать и понаблюдать. Но, думал он мрачно, если бедный мальчик действительно одержим, то виновника не придется далеко искать, и ему не поздоровится.

Настоятель подошел ближе, посмотрел на больного, приподнял ему осторожно веко.

— Можно его разбудить?— спросил он.

— Я хотел бы еще подождать. Сердце здорово. К нему нельзя никого пускать.

— Есть опасность?

— Думаю, что нет. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он без сознания, может быть, это колики. При очень сильной боли теряют сознание. Если бы было отравление, был бы жар. Нет, он придет в себя и будет жить.

— А не может ли это быть из-за душевного состояния?

— Не стану отрицать. Но ведь ничего не известно? Может быть, он сильно испугался? Известие о смерти? Серьезный спор, оскорбление? Тогда все было бы ясно.

— Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не пускали. Вас я прошу побыть с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже среди ночи.

Перед уходом старик еще раз наклонился над больным; он вспомнил о его отце и том дне, когда этот красивый милый белокуроый мальчик прибыл к нему, и как все сразу полюбили его. И он с удовольствием смотрел



на него. Но в одном Нарцисс был действительно прав: ни в чем этот мальчик не был похож на своего отца! Ах, сколько повсюду забот, как несовершенны все наши дела! Уж не упустил он чего в этом бедном мальчике? Разве это дело, что никто в монастыре не знал об этом ученике больше, чем Нарцисс? Мог ли тот ему помогать, когда сам еще был послушником, не был ни братом, ни рукоположенным, да и все мысли и взгляды его так непривычно высокомерны, даже почти враждебны? Бог знает, может быть, и с Нарциссом он давно ведет себя неправильно? Бог знает, не скрывает ли он за маской послушания дурное, может, он язычник? И за все, что когда-нибудь выйдет из этих молодых людей, за все он в ответе.

Когда Гольдмунд пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он понял, что лежит в постели, но не знал где, он и не думал об этом, ему было все равно. Но где он побывал? Откуда вернулся, из какой чужбины переживаний? Он был где-то, очень далеко отсюда, он что-то видел, что-то необычайное, что-то чудесное, и страшное, и незабываемое — и все-таки он его забыл. Где же это было? Что это там всплыло перед ним, такое большое, такое скорбное, такое блаженное, и опять исчезло?

Он вслушивался в глубину себя, в то, где сегодня что-то прорвалось и что-то произошло — что же это было? Беспорядочный рой образов навалился на него, он видел собачьи головы, три собачьих головы и вдыхал аромат роз. О как ему было тяжело! Он закрыл глаза. О как ужасно тяжело ему было! Он заснул опять. Снова проснулся и как раз в тот момент, когда мир сновидений ускользал от него, он увидел этот образ, он обрел его и





вздрыгнул как бы в мучительном наслаждении. Он увидел, он прозрел. Он видел Ее. Он видел Великую, Сияющую, с ярким цветущим ртом, блестящими волосами. Он видел свою мать. Одновременно ему послышался голос: «Ты забыл свое детство» Чей же это голос? Он прислушался, подумал и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в один момент, внезапным толчком все снова вернулось: он вспомнил, он знал. О мать, мать! Горы ненужного, моря забвения были устранены, исчезли; огромными светло-голубыми глазами утраченная снова смотрела на него, несказанно любимая. Патер Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью, проснулся. Он услышал, что больной зашевелился, услышал его дыхание. Он осторожно поднялся.

— Есть здесь кто-нибудь?— спросил Гольдмунд.

— Это я, не беспокойся. Я зажгу свет.

Он зажег лампу, свет упал на его морщинистое, доброжелательное лицо.

— Разве я болен?— спросил юноша.

— Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, послушаем-ка пульс. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Спасибо Вам, патер Ансельм, Вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.

— Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже готово! Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.

Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.

— Вот мы оба и поспали немного, — засмеялся врач. — Хорош санитар, скажешь ты, не мог пободрствовать. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыши, нет ничего приятнее



такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здорье!

Гольдмунд засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он уже был однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить сладкое теплое вино со старым патером.

— Живот болит? — спросил старик.

— Нет.

— Я-то подумал, у тебя колики, Гольдмунд. Значит, нет. Покажи-ка язык. Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Правильно. Оно должно хорошо подействовать на тебя. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. По полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Гольдмунд! Лежал там на галерее как труп. У тебя правда живот не болит?

Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал свои шутки, и Гольдмунд благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.

Гольдмунд еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова всплывали слова друга, и еще раз явилась его душе белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О как же могло случиться, что он забыл ее!





ПЯТАЯ ГЛАВА

До сих пор Гольдмунд кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он о многом умалчивал в разговорах с Нарциссом. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Гольдмунда, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал уважаемой женщиной. А она, прожив несколько лет покорно и упорядоченно, опять вспомнила свои прежние занятия, оскорбляла нравственные чувства и совращала мужчин, днями и неделями не бывала дома, прослыла колдуньей и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая как хвост кометы и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспокойной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Гольдмунду, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.

Вот примерно то, что отец Гольдмунда имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это, на что намекал настоятельно, когда привез Гольдмунда; и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя он научился вытеснять ее и стал почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил дей-



ствительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, состоявший не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов. Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им. И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла. «Непостижимо, как я мог это забыть, — сказал он своему другу. — Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко, никогда не чтил, не восхищался кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе и постепенно превратился в злую, бледную, безобразную ведьму, которой она стала для отца и для меня в течение многих лет».

Нарцисс недавно закончил свое послушничество и был пострижен в монахи. Станным образом переменялось его отношение к Гольдмунду. Гольдмунд же, ранее отклонявший предостережения друга, не принимая тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания, был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много из его слов оказалось пророчествами, как глубоко он проник в него, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!

Юноша и выглядел исцеленным. Не только от обморока не осталось дурных последствий; все надуманное, не по годам умное, неестественное в существе Гольдмунда как будто растаяло, его скороспелое решение стать монахом, обязательность посвятить себя служению Богу тоже. Юноша, казалось, одновременно стал моложе и старше с тех пор, как обрел себя. Всем этим он обязан был Нарциссу.

Нарцисс же относился к своему другу с некоторых пор





со своеобразной осторожностью; очень скромно, без особых претензий, без превосходства и поучений смотрел он на его чрезмерное восхищение. Он видел, что Гольдмунд черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды. Он сумел способствовать их росту, но не участвовал в них. С радостью видел он, что друг освобождается от его руководства, и все-таки временами бывал печален. Он считал себя пройденной ступенью, сброшенной кожей; он видел, что близится конец их дружбы, которая для него была столь многим. Он все еще знал о Гольдмунде больше, чем тот сам о себе, потому что хотя Гольдмунд и обрел свою душу и был готов следовать ее зову, но куда она его позовет, он еще не догадывался. Нарцисс же догадывался и был бессилен, путь его любимца вел в мир, куда сам он никогда не пойдет.

Жажда знаний Гольдмунда стала намного меньше. Пропала и охота спорить с другом, со стыдом вспоминал он некоторые из их бывших бесед. Между тем у Нарцисса, вследствие окончания его послушничества или из-за переживаний, связанных с Гольдмундом, пробудилась потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, склонность к постам и долгим молитвам, частым исповедям, добровольным покаяниям, и эту склонность Гольдмунд был в состоянии понять, даже почти разделить. Со времени выздоровления его инстинкт очень обострился, и если он совершенно ничего не знал о своих будущих целях, то с отчетливой и часто устрашающей ясностью чувствовал, что решается его судьба, что отныне некое шадящее время невинности и покоя прошло, и все в нем было в напряженной готовности. Нередко предчувствие было блаженным, полночи не давало спать подобно сладкой влюбленности; нередко же оно бывало тем-



ным и глубоко удручающим. Мать снова вернулась к нему, некогда утраченная, это было большое счастье. Но куда поведет ее манящий зов? К неопределенности, к нужде, может быть, к смерти. К покою, тишине, надежности, к монашеской келье и жизни в монастырской общине она не вела, ее зов не имел ничего общего с отцовскими заповедями, которые он так долго принимал за собственные желания. Этим чувством, которое часто бывало сильным, страшным и жгучим как горячее физическое чувство, питалась набожность Гольдмунда. Повторяя длинные молитвы к святой Мадонне, он освобождался от избытка чувства к собственной матери, однако нередко его молитвы опять заканчивались теми странными, великолепными мечтами, которые он теперь часто переживал: снами наяву, при наполовину бодрствующем сознании, мечтами о ней, в которых участвовали все чувства. Тогда материнский мир окружал его благоуханием, таинственно смотрел темными глазами любви, шумел как море и рай, ласково лепетал бессмысленные или скорее переполненные смыслом звуки, имел вкус сладкого и соленого, касался шелковыми волосами жаждущих губ и глаз. В матери было все, не только прелестное — милый голубой взгляд любви, чудесная, сияющая счастьем улыбка, в ней было и все ужасное и темное — все страсти, все страхи, все грехи, все беды, все рождения, все умирания.

Глубоко погружался юноша в эти мечты, эти многообразные сплетения одухотворенных чувств. В них поднималось вновь не только чарующее милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них таилось и грозное обещание, манящее и опасное будущее. Иногда эти мечтания, в которых мать,





Мадонна и возлюбленная объединялись, казались ему потом ужасным преступлением и кощунством, смертным грехом, который никогда уже не искупить; в другой раз он находил в них спасение, совершенную гармонию. Полная тайн жизнь пристально смотрела на него, темный загадочный мир, застывший оцетинившийся лес, полный сказочных опасностей, — все это были тайны матери, исходили от нее, вели к ней, они были маленьким темным кругом, маленькой грозящей бездной в ее светлом взоре.

Многое из забытого детства всплывало в этих мечтаниях о матери; из бесконечных глубин и утрат расцветало множество маленьких цветов-воспоминаний, мило выглядывали, благоухали полные предчувствий, напоминающая о детских чувствах, то ли переживаниях, то ли мечтах. Иногда ему грезилась рыбы, черные и серебристые, они подплывали к нему, прохладные и гладкие, проплывали в него, через него, были как посланцы дивных вестей счастья из какой-то более прекрасной действительности, становились как тени, виляя хвостами, исчезали, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто виделись ему плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его созданием, зависела от него, и он управлял ими как своим дыханием, излучал их из себя как взгляд, как мысль, возвращал назад в себя. О саде грезил он часто, волшебном саде со сказочными деревьями, огромными цветами, глубокими темно-голубыми гротами; из травы сверкали глазами незнакомые животные, по ветвям скользили гладкие упругие змеи; лозы и кустарники были усыпаны огромными влажно блестящими ягодами, они наливались в его руке, когда он срывал их, и сочились теплым, как кровь, соком или имели глаза и



поводили ими томно и лукаво; он прислонился к дереву, хватался за сук и видел между стволом и суком комков спутанных волос, как под мышкой. Однажды он увидел во сне себя или своего святого, Гольдмунда Хризостомуса, у него были золотые уста, и он говорил золотыми устами слова, и слова, как маленькие роящиеся птицы, вылетали порхающими стаями.

Однажды ему приснилось: он был взрослым, но сидел на земле как ребенок, перед ним лежала глина, и он лепил из нее фигуры: лошадку, быка, маленького мужчину, маленькую женщину. Ему нравилось лепить, и он делал животным и людям до смешного большие половые органы, во сне это казалось ему очень забавно. Устав от игры, он пошел было дальше, и вдруг почувствовал, что сзади что-то ожило, что-то огромное беззвучно приближалось, он оглянулся и с глубоким удивлением и страхом, хотя не без радости, увидел, что его маленькие фигурки стали большими и ожили. Огромные безмолвные великаны прошли мимо него, все увеличиваясь, молчали они дальше в мир высокие, как башни.

В этом мире грез он жил больше, чем в действительности. Действительный мир: классная, монастырский двор, библиотека, спальная, и часовня — был лишь поверхностью, тонкой пульсирующей оболочкой над сверхреальным миром образов, полным грез. Самой малости было достаточно, чтобы пробить эту тонкую оболочку: какого-нибудь необычного звучания греческого слова во время обычного урока, волны аромата трав из сумки патера Ансельма, увлекающегося ботаникой, взгляда на завиток каменного листа, свешивающегося с колонны оконной арки, — этих малых побуждений хватало, чтобы за безмятежной действительностью без прикрас отвер-





злись ревущие бездны, потоки и млечные пути мира душевных образов. Латинский инициал становился благоухающим лицом матери, протяжные звуки Аве Мария — вратами рая, греческая буква — несущимся конем, приподнявшейся было змеей, спокойно скользившей меж цветов, и вот уже опять вместо них застывшая страница грамматики.

Редко говорил он об этом, лишь изредка намекал Нарциссу о существовании этого мира.

— Я думаю, — сказал он однажды, — что лепесток цветка или червяк на дороге говорит и содержит много больше, чем книги целой библиотеки. Буквами и словами ничего нельзя сказать. Иногда я пишу какую-нибудь греческую букву, фиту или омегу, поверну чуть-чуть перо, и вот буква уже виляет хвостом, как рыба, и в одну секунду напомнит о всех ручьях и потоках мира, о прохладе и влаге, об океане Гомера и о водах, по которым пытался идти Петр, или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, раздувается, смеясь, улетает. — Ну, как, Нарцисс, ты не очень-то высокого мнения о таких буквах? Но говорю тебе: так создавал мир Бог.

— Я высоко ставлю их, — сказал Нарцисс печально. — Это волшебные буквы, ими можно изгнать всех бесов. Правда, для занятий науками они не годятся. Дух любит твердое, оформленное, он хочет полагаться на свои знаки, он любит сущее, а не становящееся, действительное, а не возможное. Он не терпит, чтобы омега становилась змеей или птицей. В природе дух не может жить, только вопреки ей, только как ее противоположность. Теперь ты веришь мне, Гольдмунд, что никогда не будешь ученым?



О да, Гольдмунд поверил этому давно, он был с этим согласен.

— Я больше не одержим стремлением к вашему духу, — сказал он, почти смеясь. — С духом и с ученостью дело обстоит так же, как с моим отцом, мне казалось, что я очень люблю его и похож на него, я был сторонником всего, что он говорил. Но едва вернулась мать, я узнал, что такое любовь, и рядом с ее образом отец вдруг стал незначительным и безрадостным, почти неприятным. И теперь я склонен считать все духовное отцовским, нематеринским, враждебным материнскому и менее достойным уважения.

Он говорил шутя, но ему не удалось развеселить печального друга. Нарцисс молча взглянул на него, в его взгляде была ласка. Потом он сказал: «Я прекрасно понимаю тебя. Теперь нам нечего больше спорить; ты пробудился и теперь уже знаешь разницу между собой и мной, разницу между материнским и отцовским началом, между душой и духом. А скоро, по-видимому, узнаешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твое стремление к монашеству были заблуждением, измышлением твоего отца, который хотел этим искупить память о матери, а может быть, всего лишь отомстить ей. Или ты все еще думаешь, что предназначен всю жизнь оставаться в монастыре?»

Задумчиво рассматривал Гольдмунд руки своего друга, эти благородные, строгие и вместе с тем нежные, худые белые руки. Никто бы не усомнился, что это руки аскета и ученого.

— Не знаю, — сказал он певучим, несколько неуверенным голосом, растягивающим каждый звук, который появился у него с некоторых пор. — Я в самом деле не





знаю. Ты довольно строго судишь о моем отце. Ему ведь было нелегко. А может, ты и прав. Я уже три года как учусь, а он ни разу не навестил меня. Он надеется, что я навсегда останусь здесь. Может быть, это было бы лучше всего, я ведь и сам всегда этого хотел. Но теперь я не знаю, чего хочу. Раньше все было просто, просто, как буквы в учебнике. Теперь все не просто, даже буквы. Все стало многозначительно и многолико. Не знаю, что из меня выйдет, теперь я не могу думать об этих вещах.

— Ты и не должен, — сказал Нарцисс. — Время покажет, куда ведет твой путь. Начался он с того, что привел тебя обратно к матери и еще больше приблизит к ней. Что касается твоего отца, я не сужу его слишком строго. А хотел бы ты вернуться к нему?

— Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Ведь если я не буду ученым, то хватит с меня латыни, греческого и математики. Нет, к отцу я не хочу...

Он задумчиво смотрел перед собой и вдруг воскликнул: «Но как это у тебя получается, ты все время говоришь мне слова и ставишь вопросы, которые прямо-таки пронзают меня и проясняют мне меня самого? Вот и теперь твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, сразу показал мне, что я не хочу этого. Как ты это делаешь? Кажется, что ты все знаешь. Ты говорил мне кое-что о себе и обо мне, поначалу я не очень-то и понимал это, а потом оно стало таким важным для меня! Ты первый определил материнское начало во мне, именно ты понял, что я был под чарами и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Нельзя ли и мне научиться этому?»

Нарцисс, улыбаясь, покачал головой.

— Нет, мой милый, тебе — нельзя. Есть люди, кото-



рые многому могут научиться, но ты не из их числа. Ты никогда не будешь учеником. Да и зачем? Тебе это не нужно. У тебя другие дарования. У тебя больше дарований, чем у меня. Ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет лучше и труднее, чем мой. Иногда ты не хотел меня понять, часто вставал на дыбы, как жеребенок, не всегда бывало легко, и часто я вынужден был делать тебе больно. Я должен был тебя пробудить, ты ведь спал. Даже мое напоминание тебе о матери поначалу причинило тебе боль, сильную боль, ты лежал как мертвый на галерее, когда тебя нашли. Но так должно было быть. Нет, не гладь мои волосы! Нет, оставь! Я этого не люблю.

— И учиться мне нечему? Я навсегда останусь глупым ребенком?

— Найдутся другие, у которых ты будешь учиться. С тем, чему ты мог научиться у меня, малыш, покончено.

— О нет, — воскликнул Гольдмунд, — мы не для этого стали друзьями! Что же это за дружба, если за короткое время, достигнув цели, прекращается! Разве я тебе надоел? Опротивел?

Нарцисс быстро ходил взад и вперед, смотря в землю, потом остановился перед другом.

— Оставь, — сказал он мягко, — ты прекрасно знаешь, что не противен мне.

С сомнением глядел он на друга, потом опять принялся ходить туда-сюда, еще раз остановился, с худого сурового лица на Гольдмунда смотрели твердые глаза. Тихим голосом, но твердо и сурово он сказал: «Слушай, Гольдмунд! Наша дружба была хорошей, у нее была цель, и она достигнута, ты пробудился. Надеюсь, она не кончена, надеюсь, она возобновится и приведет к новым целям. На данный момент цели нет. Твоя — неопределенна, и я не могу ни вести тебя, ни сопровождать. Спроси





свою мать, спроси ее образ, слушайся ее! Моя же цель определенной, она здесь, в монастыре, она требует меня каждый час. Я не смею быть твоим другом, но я не смею быть влюбленным. Я — монах, я дал обет. Перед посвящением я намерен получить отпуск от учительства и посвятить несколько недель посту и духовным упражнениям. В это время я не смогу говорить ни о чем мирском, и с тобой тоже».

Гольдмунд понял. Печально сказал он:

— Итак, ты будешь делать то, что делал бы и я, если бы вступил в орден. А когда закончишь подготовку, проведешь достаточно постов и молитв и бодрствований — что тогда станет твоей целью?

— Ты же знаешь, — сказал Нарцисс.

— Ну, да. Через несколько лет станешь первым учителем, возможно, даже управляющим школой. Будешь совершенствовать преподавание, увеличивать библиотеку. Может быть, сам станешь писать книги. Не так ли? Но в чем же будет цель?

Нарцисс слабо улыбнулся.

— Цель? Может, я умру управляющим школой или настоятелем или епископом. Все равно. Цель же — всегда быть там, где я смогу служить наилучшим образом, где мой характер, мои качества и дарования найдут наилучшую почву, наибольшее воздействие. Другой цели нет.

Гольдмунд:

— Никакой другой цели для монаха?

Нарцисс: «О, да, целей предостаточно. Жизненной целью для монаха может быть изучение древнееврейского, комментирование Аристотеля или роспись монастырской церкви, затворничество и медитирование или сотни других вещей. Для меня это не цели. Я не желаю ни



умножать богатство монастыря, ни реформировать орден или церковь. Я желаю по мере моих сил служить духу, как я его понимаю. Разве это не цель?»

Долго обдумывал ответ Гольдмунд.

— Ты прав, — сказал он. — Я очень помешал тебе на пути к твоей цели?

— Помешал? О Гольдмунд, никто не помог мне больше, чем ты. У меня были трудности с тобой, но я не против трудностей. Я учусь на них, я их почти преодолел.

Гольдмунд перебил его, сказав полушутя:

— Ты их великолепно преодолел! Но скажи-ка, когда ты помогал мне, руководил мной и освобождал мою душу, ты действительно тем самым служил духу? А может, ты этим отнял у монастыря ревностного и добродетельного послушника и воспитал противника духу, кого-то, кто будет стремиться и помешлять о противоположном тому, что ты считаешь добрым!

— Почему бы и нет? — ответил Нарцисс с глубокой серьезностью. — Мой друг, ты все еще плохо знаешь меня! Я, по-видимому, погубил в тебе монаха, зато я открыл тебе путь к необычной судьбе. Даже если ты завтра спалишь наш милый монастырь или объявишь какую-нибудь безумную ересь, я никогда не расскаюсь в том, что помог тебе встать на этот путь. — Он ласково положил обе руки другу на плечи.

— Видишь ли, маленький Гольдмунд, в мои цели входит также вот что: будь я учитель или настоятель, духовник или что угодно, я всегда хотел бы быть в состоянии, встретив сильного, одаренного и особенного человека, понять его, помочь ему раскрыться. И скажу тебе: что бы ни вышло из тебя и меня, как бы ни сложи-





лась наша судьба, когда бы ты ни позвал, нуждаясь во мне, я всегда отзовусь. Всегда!

Это звучало как прощание и действительно было приближением прощания. Стоя перед другом и смотря в его решительное лицо, целеустремленный взгляд, Гольдмунд окончательно понял, что теперь они больше не братья и товарищи, что пути их уже разошлись. Тот, кто стоял перед ним, не был мечтателем и не ждал каких-то зовов судьбы; он был монахом, отдал себя в распоряжение твердого порядка и долга, был слугой и солдатом ордена, церкви, духа. Сам же он, сегодня это стало ясно ему, не принадлежал к этому миру, он был без родины, его ждала неизвестность. То же самое было когда-то с его матерью. Она оставила дом и хозяйство, мужа и ребенка, общину и порядок, долг и честь и ушла в неизвестное, видимо, там давно и погибла. У нее не было цели, как и у него. Иметь цели, — это дано другим, не ему. О, как хорошо все это уже давно видел Нарцисс, как он был прав!

Вскоре после этого дня Нарцисс как бы исчез, он вдруг стал как бы невидим. Другой учитель вел его уроки, его место в библиотеке пустовало. Он еще был здесь, не полностью стал невидим, иногда можно было видеть, как он проходит по галерее, иногда слышать, как шепчет молитвы в одной из часовен, стоя на коленях на каменном полу; знали, что он начал готовиться к постригу, что он постится и по три раза в ночь встает читать молитвы. Он был еще здесь и все-таки перешел в другой мир; его можно было видеть, хотя и редко, но он был недосыгаем, с ним нельзя было ни общаться, ни говорить. Гольдмунд знал: Нарцисс появится опять, займет свое место в библиотеке, в трапезной, с ним снова можно будет



поговорить — но прошлого не вернуть. Нарцисс никогда не будет принадлежать ему. И когда он думал об этом, он понял, что Нарцисс был единственным, из-за кого ему нравился монастырь и монашество, грамматика и логика, учеба и дух. Его пример манил его, быть как он, стало его идеалом. Правда, был еще настоятель, его он тоже почитал и любил и видел в нем образец высокого. Другие же: учителя, ученики, дортуар, трапезная, школа, уроки, службы, весь монастырь — без Нарцисса ему не было до них дела. Что же он еще делал здесь? Он ждал, он стоял под крышей монастыря, как останавливается в дождь нерешительный путник под какой-нибудь крышей или деревом, просто ждет как гость из страха перед суrowsой неизвестностью.

Жизнь Гольдмунда в это время была лишь промедлением и прощанием. Он посетил все места, которые были ему дороги или значимы для него. Со странным отчуждением заметил он, сколь мало людей и лиц было здесь, прощание с которыми было бы ему тяжело. Нарцисс да старый настоятель Данпил, да еще добрый милый патер Ансельм, да, пожалуй, еще ласковый привратник и жизнерадостный сосед-мельник — но и они были уже почти нереальны. Труднее было прощаться с большой каменной мадонной в часовне, с апостолами на портале. Долго стоял он перед ними, а также перед прекрасной резьбой хоров, перед фонтаном в галерее, перед колоннами с тремя головами животных; простился с липами во дворе, с каштаном. Когда-нибудь все это станет воспоминанием, маленькой книжицей с картинками в его сердце. Даже теперь, когда он был среди них, они начинали ускользать от него, теряя свою действительность, превращаясь во что-то бывшее. С патером Ансельмом, который





охотно брал его с собой, он ходил собирать травы, у мельника присматривал за работниками и время от времени принимал приглашение на выпивку с печеной рыбой; но все это было уже чужим и наполовину воспоминанием. Как его друг Нарцисс, попадавшийся иногда в сумраке церкви и исповедальни, стал для него тенью, так и все вокруг было лишено действительности, дышало осенью и преходящим.

Действительной и живой была только жизнь внутри, робкое биение сердца, болезненное жало мучительного ожидания, радости и страха его грез. Им он принадлежал, отдаваясь целиком. Во время чтения или занятий, в кругу товарищей он мог погрузиться в себя и все забыть, отдаваясь потокам и голосам внутри, увлекавшим его в глубины, полные темных мелодий, в цветные бездны, полные сказочных переживаний, все звуки которых звучали как голос матери, тысячи глаз которых были глазами матери.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Как-то патер Ансельм позвал Гольдмунда в свою аптеку, уютную, чудно пахнущую травами комнатку. Гольдмунд хорошо ориентировался здесь. Патер показал ему какое-то засушенное растение, лежавшее между чистыми листами бумаги, и спросил, знакомо ли ему это растение и может ли он точно описать, как оно выглядит в поле. Да, это Гольдмунд мог; растение называлось зверобой. Он точно описал все его приметы. Старый монах был доволен и дал своему юному другу задание набрать после обеда побольше этих растений, подсказав, где их лучше найти.



— За это ты будешь освобожден от послеобеденных занятий, мой милый, надеюсь, ты не против, впрочем, ты ничего не теряешь. Знание природы тоже наука, не только ваша дурацкая грамматика.

Гольдмунд поблагодарил за весьма приятное поручение собирать несколько часов цветы, вместо того чтобы сидеть в школе. Для полноты радости он попросил у шталмейстера коня Блесса и сразу после обеда вывел его из конюшни, бурно приветствуемый, вскочил на него и, очень довольный, пустился рысью в теплую сияющую даль. Часок-другой он скакал в свое удовольствие, наслаждаясь воздухом и благоуханием полей, а больше всего скачкой, потом вспомнил о задании и нашел одно из мест, описанных патером. Тут он привязал лошадь под тенистым кленом, поболтал с ней, дав хлеба, и отправился на поиски цветов. Перед ним лежало несколько наделов невозделанной пашни, бурно заросших всякого рода сорной травой, мелкие жалкие маки с последними бледными цветами и уже зрелыми семенными коробочками поднимались среди засохшей повилики и небесно-голубых цветов цикория и поблекшей гречихи, несколько сброшенных в кучу камней, разделявших поля, были заселены ящерицами, а вот, наконец, и первые кустики зверобоя, и Гольдмунд принялся собирать их. Собрав изрядную охапку, он присел на камни отдохнуть. Было жарко, и он вожделенно поглядывал на густую сень далекой лесной опушки, но так далеко ему не хотелось уходить от лошади, которую отсюда еще было видно. Он остался сидеть на теплых булыжниках, притаившись, чтобы выманить обратно спрятавшихся было ящериц, нюхал зверобой, держа его маленькие кисточки на свет, чтобы разглядеть сотни крохотных проколов иголок.





Удивительно, думал он, на каждом из тысячи маленьких лепесточков выколото крохотное звездное небо, тонко, как шитье. Удивительно и непостижимо, впрочем, все: ящерицы, растения, даже камни, вообще все. Патер Ансельм, который так любит его, уже не может сам собирать зверобой, с ногами плохо, а в некоторые дни он и совсем не двигается, и собственное врачевание не помогает.

Возможно, он скоро умрет, а травы в комнатке будут продолжать благоухать, хотя старого патера уже не будет в живых. А может быть, он проживет еще долго, лет десять или двадцать, и у него будут все такие же белые редкие волосы и те же веселые лучики морщин возле глаз; а сам он, Гольдмунд, что будет с ним через двадцать лет? Ах, все было непонятно и, собственно, печально, хотя и прекрасно. Ничего не известно. Вот живешь и бродишь по земле или скачешь по лесам, и что-то смотрит на тебя так требовательно и обещающе, пробуждая тоску ожидания: вечерняя звезда, голубой колокольчик, заросшее зеленым тростником озеро, взгляд человека или коровы, а иногда кажется, вот сейчас произойдет что-то невиданное, но давно чаемое, со всего упадет завеса; но время идет, и ничего не происходит, и загадка не решена, и тайные чары не развеяны, и вот, наконец, приходит старость, немощь, как у патера Ансельма, или мудрость, как у настоятеля Даниила, а все еще ничего не знаешь, но ждешь и прислушиваешься.

Он поднял пустую раковину улитки, совсем теплую от солнца. Погруженный в размышления, он рассматривал витки раковины, спираль с насечками, изобретательно уменьшавшуюся к концу, пустой зев, блестящий перламутром. Он закрыл глаза, чтобы почувствовать фор-



му чуткими пальцами, это была его старая привычка и игра. Вращая раковину легкими пальцами, он ласково поглаживал ее без нажима, поражаясь чуду формы, волшебству телесного. Вот в чем, думал он мечтательно, был один из недостатков школы и учености: видеть и представлять все так, как будто оно плоское и имеет лишь два измерения. В этом, казалось ему, заключается ущербная неполноценность рассудочного подхода, но он был уже не в состоянии удержать мысль, раковина выскользнула из его пальцев, он почувствовал себя усталым и сонным. Приклонив голову на свои травы, которые, увядая, пахли все сильнее и сильнее, он заснул на солнце. По его башмакам бегали ящерицы, под головой увядали травы, под кленом с нетерпением ждал Блесс.

От далекого леса кто-то приближался к нему, молодая женщина в выцветшей голубой юбке, повязанная красным платком поверх черных волос, с загорелым на летнем солнце лицом. Женщина подошла ближе, держа в руках узелок и маленькую красную гвоздику во рту. Она увидела сидящего Гольдмунда, долго разглядывала его издали с любопытством и недоверчиво, заметив, что он спит, она подошла ближе, осторожно ступая босыми загорелыми ногами, остановилась прямо перед Гольдмундом и посмотрела на него. Ее недоверчивость исчезла, красивый спящий юноша выглядел не опасным, но очень понравился ей — как он попал сюда, на брошенные поля? Он собирал цветы, заметила она с улыбкой, они уже завяли.

Гольдмунд открыл глаза, возвращаясь из дебрей сна. Его голова лежала на мягком, на коленях женщины, в его заспаннные удивленные глаза смотрели чужие карие глаза, близко и тепло. Он не испугался, опасности не





было, теплые карие звезды светились приветливо. Вот женщина улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд, улыбнулась очень приветливо, и он тоже стал медленно улыбаться. На его улыбающиеся губы опустился ее рот, они поздоровались этим нежным поцелуем, при котором Гольдмунду сразу же вспомнился тот вечер в деревне и маленькая девушка с косами. Но поцелуй был еще не кончен. Рот женщины задержался на его губах, продолжая игру, дразнил и манил, схватил их наконец с силой и жадностью, волнуя кровь и будоража до самой глубины, и в долгой молчаливой игре, едва заметно наставляя, женщина отдавалась мальчику, позволяя искать и находить, воспаляя его и утоляя пыл. Дивное короткое блаженство любви охватило его, вспыхнуло золотым пламенем, пошло на убыль и погасло. Он лежал с закрытыми глазами на груди женщины. Не было сказано ни слова. Женщина лежала тихо, нежно глядя его волосы, позволяя медленно прийти в себя. Наконец он открыл глаза.

— Ты, — проговорил он. — Ты! Кто же ты?

— Я — Лизе, — ответила она.

— Лизе, — повторил он, как бы смакуя имя. — Лизе, ты — прелесть.

Она прошептала ему в самое ухо: «У тебя это было в первый раз? Ты никого еще не любил до меня?»

Он покачал головой. Потом быстро встал и посмотрел вокруг, на поле, на небо.

— О! — воскликнул он. — Солнце-то уже совсем село. Мне надо обратно.

— Куда же это?

— В монастырь, к патеру Ансельму.

— В Мариабронн? Ты там живешь? А не хочешь еще побыть со мной?



— Очень хочу.

— Так останься!

— Нет, нельзя. Мне надо еще набрать травы.

— Разве ты в монастыре?

— Да, я учусь. Но я не останусь там. Можно мне будет прийти к тебе, Лизе? Где ты живешь, где твой дом?

— Я нигде не живу, дорогой. Но скажи мне твое имя. Так тебя зовут Гольдмунд? Поцелуй меня еще раз, Гольдмунд, тогда можешь идти.

— Ты нигде не живешь? Где же ты спишь?

— Если захочешь, с тобой в лесу или на сеновале.

Придешь сегодня ночью?

— О, да. Куда? Где мне найти тебя?

— Умеешь кричать как сыч?

— Никогда не пробовал.

— Попробуй.

Он попробовал. Она засмеялась и осталась довольна.

— Тогда выходи ночью из монастыря и покричи, я буду поблизости. Я все еще нравлюсь тебе, Гольдмунд, дитяtko мое?

— Ах, ты мне очень нравишься, Лизе. Я приду. Храни тебя Бог, а теперь я должен спешить.

На взмыленном коне в сумерки Гольдмунд вернулся в монастырь и был рад, что патер Ансельм очень занят. Купаясь, кто-то из братьев проколол ногу.

Теперь нужно было разыскать Нарцисса. Он спросил у одного из прислуживающих братьев в трапезной о нем. Нет, Нарцисс не придет на вечернюю трапезу, у него пост, и сейчас он, по-видимому, спит, потому что по ночам прислуживает на всенощной. Гольдмунд бросился туда, где спал его друг во время подготовки к постригу. Это была одна из келий для кающихся во внутреннем монас-





тыре. Не раздумывая, он вбежал внутрь, прислушался у двери, ничего не было слышно. Он тихо вошел. То, что это было строго запрещено, сейчас не имело значения.

На узкой постели лежал Нарцисс, в сумерках он был похож на мертвого, настолько неподвижно лежал он на спине с бледным заострившимся лицом, скрестив руки на груди. Но глаза его были открыты, он не спал. Молча посмотрел он на Гольдмунда, без упрека, но и не шевельнувшись, настолько явно отрешенный, настолько в ином времени и ином мире, что ему стоило труда узнать друга и понять его слова.

— Нарцисс! Прости, прости, милый, что я мешаю тебе, это не шутка. Я знаю, что ты сейчас не смеешь со мной говорить, но сделай это, очень прошу тебя.

— Это необходимо?— спросил он угасшим голосом.

— Да, это необходимо. Я пришел попрощаться с тобой.

— Тогда это необходимо. Ты не пришел бы зря. Проходи, сядь ко мне. Четверть часа есть до начала первого бдения.

Он поднялся и сел на голой постели, Гольдмунд сел рядом.

— Только прости!— сказал он, чувствуя себя виноватым. Келья, голая постель, невыспавшееся, переутомленное лицо Нарцисса, его наполовину отсутствующий взгляд — все свидетельствовало о том, что он здесь лишний.

— Не стоит извинений. Не беспокойся обо мне, я здоров. Ты говоришь, что хочешь попрощаться? Ты уходишь?

— Я уйду сегодня же. Ах, не могу тебе рассказать! Все вдруг решилось!



— Твой отец приехал, или ты получил известие от него?

— Нет, ничего. Сама жизнь пришла ко мне. Я ухажу, без отца, без разрешения. Я опозорю тебя, друг, я убегу.

Нарцисс посмотрел на свои длинные белые пальцы, тонкие, как у призрака, они едва виднелись из рукавов рясы. Не на строгом, смертельно усталом его лице, но в голосе послышалась улыбка, когда он сказал:

— У нас очень мало времени, милый. Скажи только необходимое коротко и ясно. Или, может быть, мне сказать, что с тобой произошло?

— Скажи.

— Ты влюбился, милый мальчик, ты познал женщину.

— Как это ты опять все узнал?

— Глядя на тебя, это нетрудно. Твое состояние, дружок, имеет все признаки того вида опьянения, который называется влюбленностью. Ну, так продолжай, пожалуйста.

Гольдмунд робко положил руку на плечо друга.

— Ты уже сказал. Но на этот раз нехорошо сказал, Нарцисс, неправильно. Это было совсем иначе. Я был далеко в полях и заснул на жаре, а когда проснулся, моя голова лежала на коленях прекрасной женщины, и я сразу почувствовал, что вот пришла моя мать, чтобы взять меня к себе. Не то чтобы я принял эту женщину за свою мать, нет, у этой темные карие глаза, черные волосы, а моя мать была белокурая, как я, она выглядела совсем иначе. И все-таки это была она, ее зов, это была весть от нее. Как будто из грез моего собственного сердца явилась вдруг прекрасная чужая женщина, она держала мою голову у себя на коленях и улыбалась мне, как цветок,





и была мила со мной, при первом же поцелуе я почувствовал, как будто что-то тает во мне и причиняет сладкую боль. Вся тоска, какую я когда-либо чувствовал, все мечты, сладостное ожидание, все тайны, спавшие во мне, проснулись, все преобразилось, лишилось чар, все получило смысл. Она показала мне, что такое женщина с ее тайной. За полчаса она сделала меня старше на несколько лет. Я теперь многое знаю. Я узнал также совсем неожиданно, что не должен оставаться здесь ни одного дня. Я уйду, как только настанет ночь.

Нарцисс слушал и кивал.

— Это случилось неожиданно, — сказал он, — но это примерно то, что я ожидал. Я буду много думать о тебе. Мне будет тебя недоставать, друг. Могу я что-нибудь сделать для тебя?

— Если можно, скажи нашему настоятелю, чтобы он не проклял меня окончательно. Он единственный в монастыре, кроме тебя, чья память обо мне для меня безразлична. Его и твоя.

— Я знаю... Может, у тебя есть еще просьбы?

— Да, одна просьба. Когда будешь вспоминать меня, помолись обо мне! И... спасибо тебе.

— За что, Гольдмунд?

— За твою дружбу, за твоё терпение, за все. И за то, что ты сейчас выслушал меня, хотя это очень трудно для тебя. И за то, что ты не пытался удержать меня.

— С какой стати мне бы пришлось в голову удерживать тебя? Ты же знаешь, что я думаю по этому поводу. Но куда же ты пойдешь, Гольдмунд? У тебя есть цель? Ты идешь к той женщине?

— Я иду с ней, да. Цели у меня нет. Она не здешняя, бездомная, как будто цыганка.



— Ну хорошо. Но скажи, мой милый, ты знаешь, что твой путь с ней может оказаться очень коротким? Тебе не следует, по-моему, особенно полагаться на нее. Ведь у нее могут быть родственники. может, муж, кто знает, как там примут тебя.

Гольдмунд прильнул к другу.

— Я это знаю, — сказал он, — хотя пока еще не думал об этом. Я уже сказал тебе: у меня нет цели. И эта женщина, что была так мила со мной, тоже не моя цель. Я иду к ней, но не ради нее. Я иду. потому что должен, потому что слышу зов.

Он замолчал и вздохнул, они сидели, прислонившись друг к другу, печальные и все-таки счастливые чувством своей нерушимой дружбы. Затем Гольдмунд продолжал:

— Ты не думай, что я совсем слепой и наивный. Нет, я иду охотно, потому что чувствую, что так нужно, и потому что сегодня пережил нечто такое прекрасное! Но я не считаю, что меня ждет сплошное счастье и удовольствие. Я знаю, мой путь будет трудным. И все-таки надеюсь, он будет и прекрасным. Это так дивно принадлежать женщине, отдаваться ей! Не смейся надо мной, если это звучит глупо, что я говорю. Но видишь ли, любить женщину, отдаваться ей, чувствовать, что она совершенно погружена в себя, а ты в нее, это не то же самое, что ты называешь влюбленностью и немного высмеиваешь. Здесь нет ничего смешного! Для меня это путь к жизни и к смыслу жизни. Ах, Нарцисс, я должен тебя покинуть. Я люблю тебя, Нарцисс, и спасибо тебе, что пожертвовал для меня сном. Мне тяжело уходить от тебя. Ты меня не забудешь?

— Не огорчай себя и меня! Я никогда тебя не забуду. Ты вернешься. я прошу тебя об этом. я буду ждать это-





го. Если тебе когда-нибудь будет плохо, приходи ко мне или позови меня. Будь здоров, Гольдмунд, помоги тебе Бог!

Он поднялся. Гольдмунд обнял его. Зная застенчивость друга в проявлениях чувств, он не поцеловал его, а только погладил его руки.

Наступила ночь, Нарцисс закрыл за собой келью и пошел к церкви, его сандалии постукивали по каменным плитам. Гольдмунд провожал худую фигуру любящим взглядом, пока она не скрылась в конце перехода как тень, поглощенная мраком церкви, возвращенная долгу и добродетели. О как странно, как бесконечно причудливо и сложно было все! Как удивительно и страшно было это: прийти к другу с переполненным сердцем, опьяненным расцветающей любовью, именно тогда, когда тот, изнуренный постом и бдением, пожертвовал свою молодость, свое сердце, свои чувства кресту, и подвергая себя испытанию строжайшего послушания, дабы служить только духу и окончательно стать исполнителем божественного слова! Вот он лежал, смертельно усталый и угасший, с мертвенно-бледным лицом и все-таки сразу же понял и приветливо обошелся с влюбленным другом, еще пахнувшим женщиной, выслушал его, пожертвовал скудным отдыхом! Странно и удивительно прекрасно, что есть и такая любовь, самоотверженная, совершенно духовная. Насколько же она отлична от той, сегодняшней, любви на солнечном поле, такой упоительной безотчетной игры чувств! И все-таки обе они — любовь! Ах, вот и Нарцисс исчез, показав ему в этот последний час на прощание так ясно, насколько глубоки различия между ними и как непохожи они друг на друга. Теперь Нарцисс стоит на усталых коленях перед алтарем, подготовленный и



просветленный молитвами и созерцанием, поспав и отдохнув лишь два часа, а он, Гольдмунд, бежит отсюда, чтобы где-то под деревьями найти свою Лизе и продолжить с ней те сладкие плотские игры! Нарцисс сумел сказать об этом что-то весьма значительное. Ну да он, Гольдмунд, ведь не Нарцисс. Не его дело рассуждать об этих прекрасных и страшных загадках и хитросплетениях, да произносить по этому поводу важные слова. Его дело идти дальше своей бесцельной безрассудной дорогой, отдаваться и любить молящегося ночью в церкви друга не меньше, чем прекрасную теплую молодую женщину, которая ждет его.

Когда взволнованный противоречивыми чувствами, он, проскользнув под дворовыми липами, искал выхода у мельницы, то невольно улыбнулся, вспомнив вдруг тот вечер, когда вместе с Конрадом тайно покидал монастырь, чтобы пойти «в деревню». С каким волнением и тайным ужасом участвовал он тогда в этой запрещенной вылазке, а теперь он уходил навсегда, вступал на еще более запрещенный и опасный путь и не боялся, забыв о привратнике, настоятеле и учителях. На этот раз ни одной доски не лежало у ручья, ему пришлось переправляться без мостков. Он снял одежду и бросил ее на другой берег, затем перешел через глубокий, стремительный ручей по грудь в холодной воде.

Пока он одевался на другом берегу, мысли его опять вернулись к Нарциссу. Смущенный, он теперь совершенно ясно видел, что в этот час делает именно то, что тот провидел и к чему вел его. Он опять удивительно отчетливо увидел того умного, немного ироничного Нарцисса, который выслушал от него столько глупостей и когда-то в важный час, причинив боль, открыл ему глаза.





Некоторые слова, сказанные ему тогда Нарциссом, он отчетливо услышал опять: «Ты спишь на груди матери, а я бодрствую в пустыне. Ты мечтаешь о девушках, я — о юношах».

На какой-то момент его сердце сжалось, холодея. страшно одинокий стоял он тут в ночи. За ним лежал монастырь, мнимая отчизна всего лишь, но все-таки любимая и обжитая.

Одновременно он почувствовал, однако, и другое: что теперь Нарцисс уже не был больше его руководителем, который знал больше, увещевал и направлял его. Сегодня, так он чувствовал, он вступает в страну, дорогу к которой нашел в одиночку и где никакой Нарцисс не сможет им руководить. Он был рад сознавать это; ему было тягостно и постыдно оглядываться на время своей зависимости. Теперь он прозрел, он уже не дитя и не ученик. Приятно было знать это. И все-таки — как тяжело прощаться! Знать, что он там в церкви, колено-преклоненный, и не иметь возможности ни все отдать ему, ни помочь, ни быть для него всем. И теперь на долгое время, возможно, навсегда расстаться с ним, ничего не зная о нем, не слышать его голоса, не видеть его благородного взора!

Он пересилил себя и пошел по дорожке, выложенной камнями. Отойдя на сотню шагов от монастырских стен, он остановился, глубоко вздохнул и закричал как можно более похоже по-свиному. Такой же крик ответил ему издали, снизу по ручью.

«Мы прямо как звери кричим друг другу», — подумалось ему, и, вспоминая послеполуденный час любви, он лишь теперь подумал, что они с Лизе только в конце свидания обменялись словами, да и то немногими и не-



значительными! Какие же длинные разговоры вел он с Нарциссом! Но теперь, видимо, он вступил в мир, где не говорят, где приманивают друг друга совиными криками, где слова не имеют значения. Он был с этим согласен, сегодня у него уже не было больше потребности в словах или мыслях, а только в Лизе, только в этом бессловесном, слепом, немом неистовстве чувств, в этом томлящем растворении в ней.

Лизе была здесь, она уже шла из леса навстречу ему. Он протянул руки, чтобы почувствовать ее, нежно касался ее головы, волос, шеи, затылка, ее стройного тела и крепких бедер. Обняв ее, он пошел дальше, ничего не говоря, не спрашивая: куда? Уверенно двигалась она в ночном лесу, он с трудом поспевал за ней, казалось, она видит ночью подобно лисе или кунице, идет не задевая, не спотыкаясь. Он позволил вести себя в ночь, в лес, в слепой, таинственный мир без слов, без мыслей. Он больше не думал ни о покинутом монастыре, ни о Нарциссе.

Не говоря ни слова, прошли они какое-то расстояние по темному лесу, то по мягкому, как подушка, мху, то по твердым ребрам корней, временами меж редких высоких крон над ними виднелось бледное небо, временами было совершенно темно; кустарники били его по лицу, ветки ежевики хватали за одежду. Она хорошо знала дорогу и шла вперед, редко останавливаясь или замедляя шаг. Через некоторое время они шли меж отдельных, далеко отстоящих друг от друга сосен, впереди открывалось бледное ночное небо, лес кончился. Они вышли на луг, сладко запахло сеном. Они перешли вброд маленький бесшумно струящийся ручей, здесь на просторе было еще тише, чем в лесу: ни шумящего кустарника, ни тропливого ночного жителя, ни хруста сухих веток.





У большого вороха сена Лизе остановилась.

— Здесь мы остановимся, — сказала она.

Они сели в сено, переводя дыхание и наслаждаясь отдыхом, оба немного устали. Они вытянулись, слушая тишину, чувствуя, как просыхают их лбы и постепенно становятся прохладными их лица. В приятной усталости Гольдмунд, играя, то подтягивал колени, то снова опускал их, глубоко вдыхая ночь и запах сена и не думая ни о прошлом, ни о будущем. Медленно поддаваясь очарованию благоухания и тепла любимой, отвечая время от времени на поглаживания ее рук, он блаженно чувствовал, как она постепенно начала распалиться рядом с ним, подвигаясь все ближе и ближе к нему. Нет, здесь не нужны были ни слова, ни мысли. Ясно чувствовал он все, что было важно и прекрасно, силу молодости и простую здоровую красоту женского тела, его теплоту и страсть, явно чувствовалось также, что на этот раз она хочет быть любимой иначе, чем в первый раз, когда сама соблазнила его, теперь она ждала его наступления и страсти. Молча пропуская через себя токи, он чувствовал, счастливый, как в обоих разгорался безмолвный живой огонь, делая их ложе дышащим и пылающим средоточением всей молчащей ночи.

Когда он, склонившись над лицом Лизе, начал в темноте целовать ее губы, он вдруг увидел, как ее глаза и лоб мерцают в нежном свете, он удивленно огляделся и увидел, что сияние, забрезжив, быстро усиливалось. Тогда он понял и обернулся: над краем черного далеко протянувшегося леса вставала луна. Дивно струился бельгий нежный свет по ее лбу и щекам, круглой шее, он тихо и восторженно проговорил: «Как ты прекрасна!»

Она улыбнулась, как будто получила подарок, он



приподнял ее, осторожно снимая одежду, помог ей освободиться от нее, обнаженные плечи и грудь светились в прохладном лунном свете. Глазами и губами следовал он, увлеченный, за нежными тенями, любуясь и целуя; как завороченная, она тихо лежала, с опущенным взором и каким-то торжественным выражением, как будто собственная красота в этот момент впервые открылась и ей самой.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Между тем как над полями становилось прохладно, а луна с каждым часом поднималась все выше, любящие покоились на своем мягко освещенном ложе, увлеченные своими играми, вместе засыпали, проснувшись, снова обращались друг к другу и, воспламенившись, снова сплетались в одно, опять засыпали. После последнего объятия они лежали в изнеможении: Лизе глубоко зарывшись в сено и тяжело дыша, Гольдмунд — на спине, неподвижно уставившись в бледное лунное небо; в обоих поднималась глубокая печаль, от которой они прятались, уходя в сон. Они спали глубоко и обреченно, спали жадно, как будто в последний раз, как будто они были приговорены к вечному бодрствованию, а пока вбирали в себя весь сон мира.



Проснувшись, Гольдмунд увидел, что Лизе занята своими черными волосами. Он смотрел на нее какое-то время, рассеянный и лишь наполовину проснувшийся.

— Ты уже не спишь? — сказал он наконец.

Она резко повернулась к нему, как будто в испуге.

— Мне нужно идти, — сказала она, несколько подавленно и смущенно. — Я не хотела тебя будить.



— Ну, вот я и проснулся. Нам ведь нужно двигаться дальше? Мы же бездомные.

— Я — да, — сказала Лизе. — А ты ведь живешь в монастыре.

— Я больше не живу в монастыре, я, как и ты, я совсем один, и у меня нет никакой цели. Я пойду с тобой, разумеется.

Она посмотрела в сторону.

— Гольдмунд, тебе нельзя со мной. Я должна вернуться к мужу, он побьет меня за то, что меня не было всю ночь. Я скажу, что заблудилась. Но он, конечно, не поверит.

В этот момент Гольдмунд вспомнил, что Нарцисс предсказал ему это. И вот так оно и случилось.

Он встал и взял ее за руку.

— Я просчитался, — сказал он. — Я думал, мы будем вместе. А ты и вправду хотела оставить меня спящим и уйти не попрощавшись?

— Ах, я думала, ты разозлишься и, пожалуй, побьешь меня. То, что муж меня бьет, это уж так, для порядка. Но от тебя мне не хотелось бы получать тумака.

Он крепко держал ее за руку.

— Лизе, — сказал он, — я не буду бить тебя, ни сегодня, ни когда бы то ни было. Может, тебе лучше пойти со мной, а не с мужем, который колотит тебя?

Она рванулась, чтобы освободить руку.

— Нет, нет, нет, — закричала она со слезами в голове. И так как он почувствовал, что ее сердце рвется от него и что ей милее сносить побои от другого, чем добрые слова от него, он отпустил ее руку, и она начала плакать. Но сразу же побежала, закрывая руками мок-



рые глаза, она убегала прочь. Он не сказал ничего больше и смотрел ей вслед. Ему было жаль ее, как же она торопилась, убегая по скошенному лугу, влекомая какой-то силой, незнакомой силой, над которой ему следовало поразмыслить. Ему было жаль ее, но и самого себя тоже жаль немного; ему не повезло как будто, одиноко и как-то глупо сидел он, покинутый. Между тем он все еще чувствовал усталость и хотел спать, никогда еще он не был так утомлен. Еще будет время погоревать. Он опять заснул и пришел в себя, лишь когда ему стало жарко лежать на высоко поднявшемся солнце.

Теперь он отдохнул; он быстро поднялся, сбегал к ручью, умылся и напился. Опять нахлынули воспоминания той их ночи любви, как аромат диковинных цветов, поднимались картины, приятные, нежные ощущения. Он был погружен в них, бодро отправляясь в путь, перечувствовал все еще раз, вкушал, вдыхал и осязал все еще и еще раз. Сколько мечтаний осуществила для него эта чужая смуглая женщина, скольким бутонам дала распуститься, сколько любопытства и тоски утолила и сколько пробудила новой!

А перед ним лежало поле и луг, высохшая пустошь и темный лес, за ним, по-видимому, пойдут усадьбы и мельницы, деревня, город. Впервые мир лежал открытым перед ним, открытым и выжидающим, широким, принимая его, даря ему добро и причиняя боль. Он уже не ученик, что смотрит на мир в окно, его странствие — это уже не прогулка, неизменно кончавшаяся возвращением. Отныне этот огромный мир стал действительностью, он был частью его, в нем была его судьба, под единым небом, в любую погоду. Ничтожно малым был он в этом огромном мире, подобно зайцу или мошке, стремился в





его зелено-голубую бесконечность. Тут колокол не прозвонит подъем, службу, занятия, обед.

О, как же он был голоден! Полкаравая ячменного хлеба, кружка молока, мучной суп — какие сказочные воспоминания! У него проснулся волчий аппетит. Он проходил мимо пашни, колосья наполовину созрели, он вынимал зерна пальцами и зубами, жадно пережевывая мелкие скользкие зерна, срывал снова и снова, набивая карманы колосьями. А потом он нашел лесные орехи, еще совсем зеленые, и с удовольствием разгрызал скорлупу; из них он тоже сделал запас.

Опять начался лес, сосновый вперемежку с дубами и осинами, с множеством черники. Он сделал остановку, поел и освежился. Среди тонкой жесткой травы поднимались голубые колокольчики, порхали коричневые бабочки и исчезали в капризном неровном полете. В таком лесу жила святая Женевьева, ее житие всегда нравилось ему. О, как охотно он повстречался бы с ней! Или пусть это будет скит со старым бородатым отшельником, живущим где-нибудь в землянке или в шалаше. Возможно, в лесу живут угольщики, он с удовольствием поприветствовал бы их. Пусть будут даже разбойники, они бы ему ничего не сделали. Хорошо бы встретить хоть каких-нибудь людей. Но он, конечно, знал, можно долго идти лесом, сегодня, завтра и еще несколько дней и не встретить никого. И с этим надо смириться, если так ему предназначено. Не нужно много думать, пусть все идет своим чередом.

Он услышал, как стучит дятел, и пытался подкрасться к нему; он долго напрасно пытался увидеть его, наконец это ему удалось, и он какое-то время наблюдал, как тот, прилепившись к стволу, прилежно постукивал, дви-



гая головкой туда-сюда. Жаль, что с животными не поговоришь! Как было бы здорово окликнуть дятла и сказать ему что-нибудь приветливое, узнать о его жизни на дереве, о его трудах и радостях. Вот если бы можно было превращаться в животных!

Он припомнил, как иногда в часы досуга рисовал грифелем на доске цветы, листья, деревья, животных, головы людей. Этим он часто подолгу забавлялся, а иногда, подобно маленькому Господу Богу, создавал причудливые вещи: чашечке цветка подрисовывал глаза и рот, из ветки с пучком листьев получались фигуры, дерево увенчивалось головой. Играя в эту игру, он бывал счастлив и очарован, мог совершать волшебные превращения, проводя линии и сам удивляясь, когда из начатой фигуры получался лист дерева, хвост рыбы или лисы, бровь человеческого глаза. Вот так бы уметь превращаться, подумал он, как тогда, играя линиями на доске! Гольдмунд охотно стал бы дятлом, может, на денек, может на месяц, жил бы на вершине дерева, бегал бы высоко по гладким стволам, сильным клювом долбил бы кору, опираясь на хвостовые перья, говорил бы на языке дятлов и доставал бы вкусные вещи из коры. Мило и выразительно звучало постукивание дятла по звонкому дереву.

Много животных повстречалось Гольдмунду в пути. Зайцы выскакивали неожиданно из кустарника, когда он подходил близко, пристально смотрели на него, поворачивались и неслись прочь, прижав уши, показывая белое пятнышко под хвостом. На маленькой полянке он нашел змею, она не уползла, это была не живая змея, а только сброшенная кожа, он поднял ее и рассмотрел, по спине шел красивый серо-коричневый рисунок, солнце просвечивало через нее, тонкую как паутина. Видел он





черных дроздов с желтыми кловами, неподвижно смотрели они черными пугливыми бусинками глаз и улетали прочь, держась низко над землей. Много было красногрудок и зябликов.

В каком-то месте в лесу встретила яма, прудок, полный зеленой, густой воды, по которой носились как одержимые длинноногие пауки, предаваясь какой-то непонятной игре, а над ними летали стрекозы с темносиними крыльями. А как-то, уже к вечеру, он увидел — вернее, ничего не увидел, кроме движущейся волнующейся листвы, и услышал треск ломающихся ветвей и шум шлепающихся комьев сырой земли, какое-то большое, почти невидимое животное с огромной силой продиралось сквозь густой кустарник, то ли олень, то ли кабан, неизвестно. Долго еще стоял он, облегченно переводя дыхание от страха, глубоко взволнованный, с колотящимся сердцем прислушивался, как удаляется зверь, пока наконец все не стихло.

Он так и не выбрался из леса и вынужден был в нем заночевать. Пока он искал место для ночлега и готовил постель из мха, он пытался представить себе, что было бы, если бы он так и не выбрался из леса и остался в нем навсегда. И он считал, что это было бы большим несчастьем. Питаться ягодами было в конце концов можно, спать на мхе — тоже, кроме того, ему, несомненно, удалось бы построить хижину, может быть, даже развести огонь. Но быть все время одному и жить среди безмолвных спящих деревьев и зверей, убегающих от тебя, с которыми нельзя поговорить, — это было бы невыносимо печально. Не видеть людей, никому не сказать «добрый день» и «спокойной ночи», не иметь возможности посмотреть кому-то в лицо, заглянуть в глаза, не уви-



деть больше ни одной девушки, ни одной женщины, не почувствовать ни одного поцелуя, не играть больше в милые игры, — о, это невысказано! Если бы это было ему суждено, подумал он, уж лучше стать животным, медведем или оленем, хотя из-за этого пришлось бы отказаться от вечного блаженства. Быть медведем и любить медведицу было бы неплохо, во всяком случае, намного лучше, чем сохранить рассудок и язык и остаться без любви в печальном одиночестве.

Засыпая на своем ложе из мха, он с любопытством слушал многочисленные непонятные, таинственные ночные звуки леса. Теперь это были его товарищи, с ними он должен жить, к ним привыкать, примеряться и ладить с ними; он принадлежал к лисам и ланям, елям и соснам, с ними будет жить, делить воздух и солнце, ждать дня, с ними голодать, быть у них гостем.

Потом он уснул и увидел во сне зверей и людей, был медведем и, ласкаясь, съел Лизе. Среди ночи он в страхе проснулся, не зная почему, на сердце было бесконечно тоскливо, смущенный, он долго раздумывал. Ему пришло в голову, что вчера и сегодня он заснул, не помолвившись. Он поднялся, встал на колени возле своего ложа и два раза прочитал вечернюю молитву, за вчера и за сегодня. Он быстро заснул опять.

Удивленно огляделся он утром в лесу, забыв, где находится. Страх перед лесом начал проходить, с новой радостью доверился он лесной жизни, продвигаясь, однако, все дальше и ориентируясь по солнцу. Как-то он попал на совершенно ровное место в лесу, почти без кустарника, лес состоял сплошь из толстых прямых пихт; когда он некоторое время прошел среди этих колонн, они стали напоминать ему колонны большой монастырской





церкви, как раз той, в портале которой недавно исчез Нарцисс — когда же это было? Неужели действительно всего лишь два дня тому назад? Лишь через два дня он вышел из леса. С радостью узнавал он признаки близости человека: обработанную землю, полосы пашни, засеянной рожью и овсом, в которых виднелись протоптанные там и сям узкие тропинки. Гольдмунд срывал рожь и жевал, приветливо смотрела на него обработанная земля, после ночной глуши все казалось ему по-человечески общительным, дорожка, овес, выгоревшие до белизны полевые гвоздики. Вот он пришел к людям. Через час он проходил мимо пашни, на краю которой был сооружен крест, он преклонил колени и помолился у его подножия. Обогнув холм, он вдруг остановился под тенистой липой, услышав прелестную мелодию источника, вода которого падала из деревянной колоды на деревянный желоб, попил холодной вкусной воды и с радостью увидел несколько соломенных крыш, выступавших из-за кустов бузины, ягоды которой уже потемнели. Больше, чем все эти милые знаки, его тронуло мычание коровы, оно звучало для него так отрадно, тепло и уютно, как будто приветствуя и приглашая.

Всматриваясь, он приближался к хижине, из которой слышалось мычание коровы. Перед дверью дома в пыли сидел мальчуган с рыжими волосами и светло-голубыми глазами, рядом с ним стоял горшок, полный воды, и из пыли и воды он делал тесто, которым уже были покрыты его голые ноги. Счастливый и серьезный, он разминал мокрую грязь руками, делая из нее шарики, помогая себе при этом еще и подбородком.

— Здравствуй, малыш, — сказал Гольдмунд очень приветливо. Но малыш, увидев чужого, раскрыл рот, толс-



тая мордашка скривилась, и он с ревом бросился на четвереньках к двери. Гольдмунд последовал за ним и попал на кухню; здесь было так темно, что он, войдя с яркого дневного света, сначала ничего не мог разглядеть. На всякий случай он произнес набожное приветствие, ответа не последовало; но постепенно за криком испуганного ребенка можно было услышать слабый старческий голос, утешавший малыша. Наконец из темноты поднялась и приблизилась маленькая старушка, держа руку перед глазами, она взглянула на гостя.

— Мир тебе, матушка, — воскликнул Гольдмунд, — и благословение всех святых доброму лицу твоему; вот уже три дня, как я не видел лица человеческого.

Недоверчиво смотрела на него старуха дальнозоркими глазами.

— Чего же ты хочешь-то? — спросила она неуверенно.

Гольдмунд подал ей руку и слегка погладил ее по руке.

— Хочу пожелать тебе здоровья, бабушка, немного отдохнуть и помочь тебе развести огонь. Не откажусь, если дашь кусок хлеба, но это не к спеху.

Он увидел у стены грубо сколоченную скамью, сел на нее, в то время как старуха отрезала мальчику кусок хлеба, тот с напряженным любопытством, но все еще готовый в любой момент расплакаться и убежать, уставился на незнакомца. Старуха отрезала от каравая еще один ломоть и подала Гольдмунду.

— Спасибо, — сказал он, — да вознаградит тебя за это Господь.

— Живот-то пустой? — спросила женщина.

— Не совсем, в нем изрядно черники.

— Ну так ешь! Откуда идешь-то?

— Из Мариабронна, из монастыря.





— Поп?

— Нет. Ученик. Странствую.

Она смотрела на него полунасмешливо, полубесмысленно, слегка покачивая головой на худой морщинистой шее. Он начал жевать хлеб, а она отнесла мальчика опять на солнце. Потом вернулась и с любопытством спросила:

— Что нового?

— Немного. Знаешь патера Ансельма?

— Нет. Что с ним?

— Болен.

— Болен? Помирает?

— Не знаю. Ноги большие. Не может ходить.

— Должно, помирает?

— Да не знаю. Может быть.

— Ну пусть помирает спокойно. Мне надо варить суп. Помогите-ка мне наколоть лучины.

Она дала ему еловое полено, хорошо высушенное у очага, и нож. Он наколоть лучины, сколько было нужно, и смотрел, как она сунула ее в золу и, наклонившись, суетливо дула, пока та не загорелась. В точном, одной ей известном порядке она сложила еловые и буковые поленья, ярко вспыхнул огонь в открытом очаге, она подвинула к пламени большой черный котел, свисавший из дымохода на закопченной цепи.

По ее приказанию Гольдмунд принес воды из источника, сняв сливки с молока в миске, сидел в дымном сумраке, смотря на игру пламени и на то появлявшееся в красных отблесках, то исчезающее худое сморщенное лицо старухи; он слышал, как рядом за дощатой стеной ворочается у яслей корова. Ему очень нравилось здесь. Липа, источник, плавающий огонь под котлом, пофыркивание жующей коровы и ее глухие удары в стену,



полутемное помещение со столом и скамьей, возня маленькой седой женщины, — все это было хорошо и прекрасно, пахло пищей и миром, человеком и теплом, домом. Было еще и две козы, а от старухи он узнал, что сзади был еще свинарник и что старуха — бабка крестьянина и прабабка мальчика. Его звали Куно, он заходил время от времени, не говоря ни слова и поглядывая несколько пугливо, но и не плача.

Пришел крестьянин с женой, они были очень удивлены, встретив в доме чужого. Крестьянин начал оглядываться, недоверчиво тащил юношу за рукав к двери, чтобы при свете дня разглядеть его лицо, но потом засмеялся, похлопал его по плечу и пригласил к столу. Они уселись, и каждый макал свой хлеб в общую миску с молоком, пока молоко не кончилось и крестьянин не выпил остатки.

Гольдмунд спросил, нельзя ли ему остаться до завтра и переночевать под его крышей. Нет, ответил мужчина, для этого нет места, но кругом ведь достаточно сена, там он и найдет место для ночевки.

Крестьянка держала мальчика при себе, она не принимала участие в разговоре; но во время еды ее любопытные глаза не отрывались от юного незнакомца. Его локоны и взгляд сразу произвели на нее впечатление, потом она с удовольствием разглядывала и его красивую белую шею, благородные белые руки и их свободные красивые движения. Статный и благородный был этот незнакомец и такой молодой! Но что ее больше всего привлекало и во что она прямо влюбилась, так это в его голос, такой таинственно поющий, излучающий тепло, нежно призывный голос молодого мужчины, звучащий как ласка. Век бы слушала этот голос! После еды у хо-





знала были еще дела в хлеву; Гольдмунд вышел из дома, вымыл руки у источника и присел на низкий его край, наслаждаясь прохладой и слушая журчание воды. Он сидел в нерешительности: здесь ему уже нечего было ждать и все-таки было жаль, что приходится опять уходить. Но вот из дома вышла крестьянка с ведром в руке, она поставила его под струю и наполнила. Вполголоса она сказала: «Если сегодня вечером ты будешь еще неподалеку, я принесу тебе поесть. Там за ячменным полем лежит сено, его только завтра уберут. Ты будешь там?»

Он посмотрел на ее веснушчатое лицо, на сильные руки, отодвинувшие ведро, тепло смотрели ее светлые большие глаза. Он улыбнулся ей и кивнул, она ушла с полным ведром и скрылась в темноте за дверью. Он сидел, благодарный и очень довольный, слушая бегущую воду. Немного позже он вошел в дом, нашел хозяина, подал руку ему и бабушке и поблагодарил. В хижине пахло огнем, копотью и молоком. Только что она была кровом и домом и вот опять чужая. Попрощавшись, он вышел.

За хижинами он нашел часовню и рядом с ней прекрасную рощу, группу старых крепких дубов с короткой травой под ними. Здесь в тени он остался, прогуливаясь взад и вперед меж толстых стволов. Странно, подумал он, получается с женщинами и с любовью, им действительно не нужны слова. Несколько слов понадобилось женщине, только чтобы назначить свидание, все остальное было сказано без слов. Но как же? Глазами, да и определенным звучанием немного охрипшего голоса, и еще чем-то, пожалуй, запахом, нежным легким излучением кожи, по которому мужчина и женщина определяют влечение друг к другу. Поразительно, как деликатен этот



тайный язык и как быстро он его усвоил! Он радовался вечеру, был полон любопытства, какой же будет эта большая белокурая женщина, как она будет смотреть, двигаться, целовать — конечно, совсем по-другому, чем Лизе, где-то она теперь, Лизе, с ее черными прямыми волосами, смуглой кожей, короткими вздохами? Побил ее муж? Думает ли она вообще обо мне? Или нашла нового возлюбленного, как я сегодня нашел новую женщину? Как быстро все неслось дальше, сколько всюду счастья на пути, как все прекрасно и горячо и как удивительно преходяще! Этот грех, это прелюбодеяние, еще недавно он скорее дал бы себя убить, чем совершил бы этот грех. И вот он ждет уже вторую женщину, а его совесть спокойно молчит. То есть спокойной она, пожалуй, не была, но не из-за прелюбодеяния и сладострастия бывала его совесть иногда беспокойной и обремененной. Это было что-то другое, он не знал его имени. Это было чувство вины, которое не приобретают, а получают при рождении. Может быть, это было то, что в теологии называется первородным грехом? Пусть будет так. Да, жизнь сама несла в себе что-то вроде вины — зачем, в противном случае, такому чистому и знающему человеку, как Нарцисс, пришлось подвергать себя покаянию, подобно преступнику? Или почему он сам, Гольдмунд, чувствовал где-то в глубине эту вину? Разве он не счастлив? Разве не молод и здоров, разве не свободен как птица? Разве не любим женщинами? Разве не прекрасно передавать женщине то же чувство любви, которое испытываешь сам? Почему же все-таки он не был счастлив целиком и полностью? Почему в его молодое счастье, да и в добродетель и мудрость Нарцисса иногда проникала эта странная боль, этот тихий страх,





эта жалоба на бренность? Почему он столько размышляет об этом подчас, хотя знает, что не мыслитель?

И все-таки жизнь была прекрасна. Он сорвал в траве маленький фиолетовый цветок, поднес его близко к глазам, заглянул в маленький узкий венчик, там расходились жилки и пульсировали крошечные тонкие, как волоски органы: как в чреве женщины или в мозгу мыслителя, билась там жизнь, дрожало желание. О, почему мы совершенно ничего не знаем? Почему не можем поговорить с этим цветком? Да даже двое людей не всегда могут по-настоящему поговорить друг с другом, для этого нужен счастливый случай, особая дружба и готовность. Нет, это счастье, это любовь не нуждается в словах; в противном случае она была бы полна недоразумений и глупости. Ах, глаза Лизе, полузакрытые от избытка блаженства и едва мерцавшие сквозь дрожащие веки — десятью тысячами ученых или поэтических слов этого не выразишь! Ничего, ах, ничего-то нельзя вообще хоть как-то выразить, додумать до конца — и все-таки постоянно испытываешь настоятельную потребность говорить, вечное побуждение думать! Он разглядывал листья растения, как красиво, как удивительно умно располагались они на стебле. Прекрасны были стихи Вергилия, он любил их; но что был весь их ум и ясность, красота и смысл по сравнению со спиралькой этих крохотных листиков на стебле. Какое наслаждение, какое счастье, какое восхитительное, благородное и осмысленное было бы деяние, если бы человек был способен создать хоть один такой цветок! Но никто не в состоянии это сделать, ни герой, ни король, ни папа, ни святой.

Когда солнце близилось к закату, он отправился искать место, назначенное ему крестьянкой. Тут он ждал.



Прекрасно было так ждать, зная, что женщина, полная любви, вот-вот придет.

Она пришла и принесла в льняной тряпиче большой ломоть хлеба и кусок сала. Она развязала ее и положила перед ним.

— Для тебя, — сказала она. — Ешь!

— Потом, — ответил он, — хлеба мне не хочется, мне хочется тебя. О, покажи мне те прелести, что принесла с собой.

Много прекрасного принесла она с собой: сильные жаждущие губы, сильные сверкающие зубы, сильные руки, сверху красные от солнца, но белые и нежные с другой стороны. Слов она знала немного, но в гортани у нее пел какой-то манящий звук, а когда она почувствовала прикосновение его рук, таких нежных и чутких, каких она никогда не знала, кожа ее затрепетала, а в горле послышался звук, как у мурлыкающей кошки. Она знала не много игр, меньше, чем Лизе, но она была на удивление сильна, обнимала так, будто хотела сломать возлюбленному шею. Наивной и жадной была ее любовь, простой и при всей своей силе все-таки застенчивой; Гольдмунд был очень счастлив с ней.

Потом она ушла, вздыхая, с трудом оторвавшись от него, не смея остаться.

Гольдмунд остался один, счастливый, но и печальный. Лишь много позже он вспомнил о хлебе и сала и в одиночестве поел, была уже ночь.





ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Долгое время уже странствовал Гольдмунд, редко ночуя два раза подряд в одном месте, везде желанный гость для женщин и осчастливленный ими, загоревший на солнце, похудевший в пути от скудной пищи. Многие женщины прощались с ним на заре и уходили, некоторые со слезами, и иной раз он думал: «Почему ни одна не остается со мной? Почему, любя меня и нарушая супружескую верность ради одной любовной ночи, все они сразу возвращаются к своим мужьям, от которых в большинстве своем боятся получить побои?» Ни одна не просила его всерьез остаться, ни одна не попросила взять с собой и не была готова из любви разделить с ним радости и горести странствия. Правда, он ни одну не приглашал с собой, ни одной не намекал на это; спрашивая же свое сердце, он понимал, что ему дорога свобода, и он не мог припомнить ни одной возлюбленной, тоска по которой не оставляла бы его в объятиях следующей. И все-таки ему было странно и немного грустно от того, что всюду любовь была столь быстротечна, и женская, и его собственная, что она так же быстро удовлетворялась, как и вспыхивала. Правильно ли это? Было ли так всегда и везде? Или дело в нем самом, может, он так устроен, что женщины хотя и желали его и находили прекрасным, не хотели связываться с ним, кроме как для короткой, бессловесной близости на сене или во мху? Может, дело в том, что он странствовал, а они, оседлые, боятся жизни бездомной? Или дело только в нем, в его личности, так что женщины желали его и прижимали к себе, как красивую игрушку, а потом все убегали к своим мужьям, даже если их ждали побои? Он не знал.



Он не уставал учиться у женщин. Правда, его больше тянуло к девушкам, совсем юным, у которых еще не было мужчин и которые ничего не знали, в них он мог страстно влюбляться; но девушки обычно бывали недосягаемы: они были чьими-то возлюбленными, были робки и за ними хорошо следили. Но он и у женщин охотно учился. Каждая что-нибудь оставляла ему: жест, способ поцелуя, особую игру, особую манеру отдаваться или сопротивляться. Гольдмунд соглашался на все, он был ненасытным и уступчивым, как ребенок. Он был открыт любому соблазну: только поэтому он сам был так соблазнителен.

Одной его красоты было бы недостаточно, чтобы так легко находить женщин; нужна была эта детскость, эта любопытствующая невинность страсти, эта совершенная готовность ко всему, чего бы не пожелала от него женщина. Он был, сам того не зная, с каждой возлюбленной именно таким, каким ей хотелось и мечталось, с одной — нежным и обходительным, с другой — стремительным и быстрым, то по-детски неискушенным, как впервые посвящаемый в любовные дела мальчик, то искусным и осведомленным. Он был готов к играм и борьбе, к вздохам и смеху, к стыдливости и бесстыдству, он не делал женщине ничего, чего бы та не пожелала сама, не выманила бы из него. Вот это-то сразу и чувствовала в нем женщина с умом, это-то и делало его ее любовником.

А он учился. За короткое время он научился не только разнообразным любовным приемам и опыту от своих многочисленных возлюбленных. Он научился также видеть, чувствовать, осязать, обонять женщин во всем их многообразии; он тонко улавливал на слух любой тип голоса и уже научился безошибочно определять у неко-





торых женщин по его звучанию характер и объем их любовной способности; с неустанным восхищением он рассматривал бесконечное разнообразие в посадке головы, в том, как выделяется лоб из волос, может двигаться коленная чашечка. Он учился отличать в темноте с закрытыми глазами нежными пытливыми пальцами один тип женских волос от другого, один тип кожи, покрытой пушком, от другого. Он начал замечать почти сразу, что, возможно, в этом был смысл его странствия, может, поэтому его влечет от одной женщине к другой, чтобы овладеть этой способностью узнавать и различать все тоньше, все многообразнее и глубже. Может быть, в этом его предназначение: познавать женщин и любовь на тысячу ладов и в тысячах различий до совершенства, подобно музыканту, владеющему не одним инструментом, а тремя, четырьмя, многими. К чему, правда, все это приведет, он не знал, он только чувствовал, что это его путь. Хотя к латыни и к логике он тоже был способен — к любви же, к игре с женщинами у него была особая, удивительная, редкая одаренность, здесь он учился без устали, ничего не забывая, здесь опыт накапливался и упорядочивался сам собой.

Однажды, странствуя уже год или два, Гольдмунд попал в усадьбу одного состоятельного рыцаря, у которого было две прекрасных молодых дочери. Было это ранней осенью, ночи скоро уже должны были стать прохладными, в прошлую осень и зиму он испытал, что это значит, не без озабоченности подумывал он о наступающих месяцах, зимой странствовать было трудно. Он попросил поесть и разрешения переночевать. Его приняли учтиво, а когда рыцарь услышал, что он учился и знает греческий, то попросил его пересесть со стола для при-



слути за свой стол и обращался с ним почти как с равным. Обе дочери сидели с опущенными глазами, старшей, Лидии, было восемнадцать, младшей, Юлии, шестнадцать.

На другой день Гольдмунд собрался идти дальше. Для него не было надежды завоевать благосклонность одной из двух прелестных белокурых барышень, а других женщин, ради которых можно было бы остаться, там не было. Но после завтрака рыцарь отвел его в сторону и провел в комнатку, предназначенную для особых целей. Скромно поведал старший человек юноше о своей любви к учебе и книгам, показал ему небольшой ларец, полный рукописей, собранных им, показал конторку, сделанную по его заказу, и запас прекраснейшей бумаги и пергамента. Этот скромный рыцарь, как со временем узнал Гольдмунд, в молодости учился, но потом совершенно отдался военной и мирской жизни, пока во время тяжелой болезни не получил божественного указания совершить паломничество и раскаяться в грешной молодости. Он отправился в Рим, а потом даже в Константинополь. Вернувшись домой, нашел отца умершим, а дом пустым, он остался здесь, женился, потерял жену, воспитал дочерей, а теперь ввиду надвигающейся старости решился вот подробно описать свое тогдашнее паломничество. Он уже написал несколько глав, но — как признался он юноше — в латыни он слаб, и это ему очень мешает. Он предложил Гольдмунду новое платье и кров, если тот исправит и перепишет начисто уже написанное и поможет продолжить эту работу.

Была осень, Гольдмунд знал, что это значит для бродяги. Новое платье тоже было лишним. Но прежде всего юноше нравилась возможность остаться в одном доме с прекрасными сестрами. Он не раздумывая согласился.





Вскоре ключнице пришлось открыть сундук, где нашлось прекрасное темное сукно, из которого должны были сшить костюм и головной убор для Гольдмунда. Рыцарь подумал, правда, о черном магистерском платье, но гость не хотел и слышать об этом и сумел уговорить его, и вот получился красивый костюм то ли пажа, то ли охотника, который был ему очень к лицу.

С латынью все тоже шло неплохо. Вместе они просмотрели уже написанное, и Гольдмунд исправил не только многие неточности и неправильности, но и заменил кое-где короткие беспомощные предложения рыцаря красивыми латинскими периодами с солидными конструкциями и правильным согласованием времен. Рыцарь был всем этим весьма доволен и не скупился на похвалы. Каждый день они проводили за этой работой по меньшей мере два часа.

В замке — это был, собственно, немного укрепленный обширный крестьянский двор — Гольдмунду находились дела для времяпрепровождения. Он принимал участие в охоте и научился стрелять из арбалета у охотника Хинрика, подружился с собаками и мог ездить верхом, сколько хотел. Редко он бывал один; то он был с собакой или с лошастью, с которой разговаривал, то с ключницей Леей, толстой старухой с мужским голосом и весьма склонной к шуткам и смеху, то со щенком, то с пастухом. С женой мельника, ближайшего соседа, легко было завести любовную связь, но он сдерживался и разгрызал невинность.

От обеих дочерей рыцаря он был в восторге. Младшая была красивее, но такая неприступная, что едва говорила с Гольдмундом. Он к обеим относился с величайшей предупредительностью и вежливостью, но обе



воспринимали его присутствие как непрерывное ухаживание. Младшая, из робости упрямая, совершенно замкнулась в себе. Старшая, Лидия, нашла по отношению к нему особый тон, обращаясь с ним полупочтительно, полунасмешливо, как ученый с диковинным животным, задавала множество любопытствующих вопросов, расспрашивала о жизни в монастыре, но постоянно изображала перед ним ироничную и высокомерную даму. Он был согласен на все, обращаясь с Лидией, как с дамой, с Юлией — как с молодой монахиней, и когда удавалось своим разговором задержать девушек немного дольше обычного за столом после ужина или если во дворе или в саду Лидия обращалась к нему и по обыкновению начинала дразнить, он бывал доволен и считал это за успех.

Долго держалась в эту осень листва на высоких ясених во дворе, долго цвели в саду астры и розы. И вот однажды прибыли гости, сосед по имению с женой и конюхом, соблазненные погожим днем, отправились на прогулку верхом, загулялись и захали сюда, попросились переночевать. Их приняли очень учтиво, постель Гольдмунда сразу перенесли из комнаты для гостей в кабинет и устроили все для прибывших, забили птицу и послали на мельницу за рыбой. Гольдмунд с удовольствием принимал участие в праздничной суете и сразу же заметил, что незнакомая дама обратила на него внимание. И едва он заметил по ее голосу и по ее взгляду благосклонность и желание, он с напряженным вниманием заметил также, как изменилась Лидия, как она притихла и замкнулась и начала наблюдать за ним и за дамой. Когда во время праздничной вечерней трапезы нога дамы начала под столом игру с ногой Гольдмунда, его восхитила не только эта игра, но еще больше молчаливое напряже-





ние, с которым Лидия следила за этой игрой горящими от любопытства глазами. Наконец, он нарочно уронил нож, наклонился за ним под стол и коснулся ноги дамы ласкающей рукой, увидел, как Лидия побледнела и закусила губы, и продолжал рассказывать монастырские анекдоты, чувствуя, что незнакомка проникновенно слушает не столько истории, сколько его влекущий голос. Остальные тоже слушали его, его патрон с расположением, гость с неподвижным лицом, но тоже тронутый его воодушевлением. Никогда не слышала Лидия, чтобы он так говорил, он расцвел, наслаждение парило в воздухе, глаза его блестели, в голосе пело счастье, моля о любви. Три женщины чувствовали это, каждая по-своему, маленькая Юлия отвергала с ожесточенным отпором, жена соседа принимала с сияющим удовлетворением, Лидия — с мучительным волнением сердца, соединявшим в себе искреннюю страсть, слабую самозащиту и самую жгучую ревность, что делало ее лицо узким, а глаза горящими. Все эти волны чувствовал Гольдмунд, как тайные ответы на его ухаживания, они потоками возвращались к нему обратно, подобно птицам, летали вокруг него мысли о любви, выражая то готовность отдаться ему, то сопротивление, то борьбу с собой.

После трапезы Юлия удалилась, была уже ночь; со свечой в керамическом подсвечнике уходила она из зала, холодная, как маленькая инокиня. Остальные сидели еще с час, и, пока мужчины говорили об урожае, об императоре и епископе, Лидия слушала, пылая, как между Гольдмундом и дамой велась беседа ни о чем, меж слабых нитей которой, однако, возникала плотная сладостная сеть из взглядов, ударений, маленьких жестов, каждый из которых был переполнен значения, сверх меры



согрет теплом. Девушка впитывала атмосферу со сладострастием и отвращением, и, если она видела или чувствовала, как колено Гольдмунда касалось под столом колена женщины, она воспринимала это как прикосновение к собственному телу и вздрагивала. После всего этого она не спала и полночи прислушивалась с колотящимся сердцем, убежденная, что те двое вместе. Она завершила в своем воображении то, в чем тем двоим было отказано, она видела, как они сплелись друг с другом, слышала их поцелуи, дрожа при этом от волнения, боясь и желая одновременно, чтобы обманутый муж застал любовников и всадил противному Гольдмунду нож в сердце.

На другое утро небо хмурилось, поднялся влажный ветер, и гость, отклонив все уговоры остаться дольше, заторопился с отъездом. Лидия стояла тут же, когда гости садились на лошадей, она пожимала руки и говорила слова прощания совершенно машинально, все ее чувства сосредоточились во взгляде, она смотрела, как женщина, садясь на лошадь, поставила ногу в подставленные ладони Гольдмунда и как он правой рукой на момент крепко сжал ногу женщины.

Гости уехали, Гольдмунд должен был идти в комнату для занятий и работать. Через полчаса он услышал голос Лидии, приказывавший вывести лошадь, хозяин подошел к окну и посмотрел вниз, улыбаясь и качая головой, оба смотрели, как она выехала со двора. Они сегодня мало продвинулись в своих латинских писаниях, Гольдмунд был рассеян, хозяин любезно отпустил его раньше обычного.

Незаметно Гольдмунд вывел свою лошадь со двора и поскакал навстречу прохладно-влажному осеннему ветру по выцветшей местности, все больше набирая скорость,





он почувствовал, что лошадь разгорячилась под ним, да и собственная кровь разогрелась. По убранным полям и пашням под паром, по лугу и болоту, заросшему хвощом и осокой, скакал он сквозь серый день, через небольшие ольшаники, через болотистый еловый лес и опять по бурому скошенному лугу.

На высоком гребне холмов обнаружил он, наконец, фигуру Лидии, четко вырисовывавшуюся на бледно-сером облачном небе, она сидела выпрямившись на медленно трясущей лошади. Он бросился к ней, но, едва заметив преследование, она прищпорила лошадь и помчалась прочь. Она то исчезала, то появлялась вновь с развевающимися волосами. Он преследовал ее как добычу, сердце его смеялось, короткими нежными взглядами он подгонял коня, радостно примечая в скачке ландшафт, притихшие поля, ольховую рощу, группу кленов, глинистый берег небольшого пруда, он не упускал из виду свою цель, прекрасную беглянку. Вскоре он все-таки настиг ее.

Поняв, что он близко, Лидия отказалась от бегства и пустила лошадь шагом. Она не оборачивалась к преследователю. Гордо, с виду равнодушно, продолжала она ехать так, как будто ничего не было, как будто она была одна. Он подъехал к ней вплотную, лошади мирно зашагали рядом, но и животное, и седок были разгорячены погоней.

— Лидия! — позвал он тихо.

Она не ответила.

— Лидия!

Она молчала.

— Как красиво ты скакала там вдаль, Лидия, твои волосы летели за тобой подобно золотой молнии. Это было так прекрасно! Ах, как чудесно, что ты убегала от меня!



Только теперь я понял, что ты меня хоть немножко любишь. Я этого не знал, еще вчера вечером был в сомнении. Только сейчас, когда ты пыталась убеждать от меня, я вдруг понял. Прекрасная, любимая, ты, должно быть, устала, давай сойдем с лошадей.

Он быстро спрыгнул с лошади и сразу взял ее повод, чтобы она опять не вырвалась. С белым как снег лицом смотрела она на него сверху и, когда он снимал ее с лошади, разразилась рыданиями. Бережно провел он ее несколько шагов, посадил на высохшую траву и встал возле нее на колени. Она сидела, борясь с рыданиями, и наконец поборола их.

— Ах, до чего же ты скверный!— начала она, едва смогла говорить.

— Так уж и скверный?

— Ты соблазнитель женщины, Гольдмунд. Позволь мне забыть, что ты говорил мне только что, это были беззащитные слова, тебе не подобает так говорить со мной. Как ты мог подумать, что я люблю тебя? Забудем об этом! Но как мне забыть то, что я видела вчера вечером?

— Вчера вечером? Что же ты такое видела?

— Ах, не притворяйся, не лги! Это было ужасно и бесстыдно, как ты у меня на глазах заискивал перед женщиной! Неужели у тебя нет стыда? Передо мной, перед моими глазами! А теперь, когда та уехала, преследуешь меня! Ты действительно не знаешь, что такое стыд!

Гольдмунд уже давно раскаивался в словах, которые сказал ей, пока еще не снял с лошади. Как это было глупо, слова в любви излишни, ему надо было молчать.

Он больше ничего не сказал. Он стоял на коленях возле нее и она, видя, как он прекрасен и несчастен, заржала его своим страданием; он чувствовал сам, что





достоин сожаления. Но, несмотря на все, что она ему сказала, он видел в ее глазах любовь, и боль на ее дрожащих губах тоже была любовь. Он доверял своим глазам больше, чем ее словам. Однако она ждала ответа. Так как его не последовало, губы ее стали еще строже, она посмотрела на него немного заплаканными глазами и повторила:

— У тебя действительно нет стыда?

— Прости, — сказал он смиренно, — мы говорим о вещах, о которых не следовало бы говорить. Это моя вина, прости меня! Ты спрашиваешь, есть ли у меня стыд. Да, стыд у меня, пожалуй, есть. Но ведь я люблю тебя, а любовь не знает ничего постыдного. Не сердись!

Она, казалось, едва слушала. С горькой складкой у рта она сидела и смотрела прямо перед собой вдаль, как будто была совсем рядом. Никогда он не был в таком положении. Это все из-за разговоров.

Нежно положил он лицо на ее колено, и сразу же от этого прикосновения ему стало легко. Но все-таки он был беспомощным и печальным, она тоже казалась все еще печальной, сидела не двигаясь, молчала и смотрела вдаль. Сколько смущения, сколько грусти! Но его прикосновение было принято благосклонно, его не отвергали. С закрытыми глазами лежал он, прильнув к ее колену, чувствуя его благородную, удлиненную форму. Растроганный Гольдмунд подумал, как это колено в его благородной форме соответствовало ее длинным, красивым, немного выпуклым ногтям на руках. Благодарно прижимаясь к колену, он предоставил щеке и губам беседовать с ним.

Вот он почувствовал ее руку, как она осторожно и легко легла на его волосы. Милая рука, он ощущал, как она робко, по-детски гладила его волосы. Ее руку он часто



рассматривал и любовался ею, он знал ее почти как свою, длинные стройные пальцы с длинными, красиво выпуклыми, розовыми холмиками ногтей. И вот эти длинные нежные пальцы вели несмелый разговор с его кудрями. Их речь была детской и пугливой, но она была любовью. Он благодарно прильнул головой к ее руке, почувствовал затылком и щекой ее ладонь. Она сказала: «Пора, нам надо ехать». Он поднял голову и посмотрел на нее нежно, ласково поцеловал ее тонкие пальцы.

— Пожалуйста, встань, — сказала она, — нам нужно домой.

Он сразу же послушался, они встали, сели на лошадей и поскакали.

Сердце Гольдмунда переполнялось счастьем. Как прекрасна была Лидия, как по-детски чиста и нежна! Он еще ни разу не поцеловал ее, а чувствовал себя таким богатым и переполненным ею. Они скакали быстро, и только перед самым домом, непосредственно перед въездом во двор она испуганно сказала: «Нам не следовало бы возвращаться вместе. Какие мы глупые». И в самый последний момент, когда они слезали с лошадей и уже подходил конюх, она быстро и пылко прошептала ему в ухо: «Скажи мне, ты был сегодня ночью у этой женщины?» Он покачал головой несколько раз и начал разнуздывать лошадь.

После полудня, едва отец ушел, она появилась в кабинете.

— И это правда? — сразу спросила она со страстью, и он понял, что она имела в виду.

— Зачем же ты тогда так заигрывал с ней, так отвратительно влюблял ее в себя?

— Это предназначалось тебе, — сказал он. — Верь мне,





в тысячу раз охотнее я погладил бы твою ногу, чем ее. Но твоя никогда не приближалась к моей под столом и не спрашивала меня, люблю ли я тебя.

— Ты и вправду любишь меня, Гольдмунд?

— О да!

— Но что же из этого получится?

— Не знаю, Лидия. Да это меня и не беспокоит. Я счастлив любить тебя, а что из этого выйдет, об этом я не думаю. Я рад, когда вижу, как ты скачешь на лошади, и когда слышу твой голос, и когда твои пальцы гладят мои волосы. Я буду рад, если мне можно будет поцеловать тебя.

— Поцеловать можно только свою невесту, Гольдмунд. Ты никогда не думал об этом?

— Нет, об этом я не думал. Да и с какой стати. Ты знаешь так же, как и я, что не можешь быть моей невестой.

— Да, это так. И так как ты не можешь быть моим мужем и навсегда остаться со мной, очень неправильно было бы говорить мне о своей любви. Может, ты думал совратить меня?

— Я ничего не думал, Лидия, я вообще думаю намного меньше, чем ты полагаешь. Я не хочу ничего, кроме того, чтобы ты сама захотела когда-нибудь поцеловать меня. Мы так много разговариваем. Любящие так не делают. Я думаю, что ты меня не любишь.

— Сегодня утром ты говорил обратное.

— А ты сделала обратное.

— Я? Как это?

— Сначала ты от меня ускакала, когда заметила, что я приближаюсь. Тогда я подумал, что ты любишь меня. Потом ты распыкалась, и я подумал, что из-за того, что



любишь меня. Потом моя голова лежала на твоём колене, и ты погладила меня, и я подумал, это — любовь. А теперь ты не делаешь ничего, что говорило бы о любви.

— Я не такая, как та женщина, ногу которой ты гладил вчера. Ты, видимо, привык к таким женщинам.

— Нет, слава Богу, ты красивее и изящнее ее.

— Я имею в виду не это.

— О, но это так. Знаешь ли ты, как ты прекрасна?

— У меня есть зеркало.

— Видела ли ты в нем когда-нибудь свой лоб, Лидия? А потом плечи, а потом ногти, а потом колени? И видела ли ты, как все это гармонирует и сочетается друг с другом, как все это имеет одну форму, удлиненную и очень стройную форму? Видела ли ты это?

— Как ты говоришь? Я этого, собственно, никогда не видела, но теперь, когда ты сказал, я знаю, что ты имеешь в виду. Слушай, ты все-таки соблазнитель, ты и сейчас соблазняешь меня, делая тщеславной.

— Жаль, что не угодил тебе. Но зачем мне, собственно, делать тебя тщеславной? Ты красива, и я хотел показать тебе, что благодарен за это. Ты вынуждаешь меня говорить об этом словами, я мог выразить это в тысячу раз лучше без слов. Словами я не могу тебе ничего дать! На словах я не могу ничему научиться у тебя, а ты у меня.

— Чему это я должна учиться у тебя?

— Я у тебя, а ты у меня, Лидия. Но ты ведь не хочешь. Ты желаешь любить того, чьей невестой ты будешь. Он будет смеяться, когда увидит, что ты ничего не умеешь, даже целоваться.

— Так-так. Значит ты хочешь поучить меня целоваться, господин магистр?

Он улыбнулся ей. Хотя ее слова и не понравились ему,





но все-таки за ее резким и неестественным умничанием он ощутил девичество, охваченное сладострастием и в страхе искавшее защиты от него.

Он не отвечал больше. Улыбаясь, он задержал свои глаза на ее беспокойном взгляде и, когда она не без сопротивления отдалась очарованию, медленно приблизил свое лицо к ее, пока их губы не соприкоснулись. Осторожно дотронулся он до ее рта, тот ответил коротким детским поцелуем и открылся как бы в обидном удивлении, когда он его не отпустил. Нежно следовал он за ее отступающими губами, пока они нерешительно не пошли ему навстречу, и он учил зачарованную, как братья и давать в поцелуе, пока она, обессиленная, не прижала свое лицо к его плечу. Он, счастливый, вдыхал запах ее густых белокурых волос, шепча нежные успокаивающие слова и вспоминая в эти моменты о том, как когда-то его, ничего не умевшего ученика, посвящала в эти тайны цыганка Лизе. Как черны были ее волосы, как смугла кожа, как палило солнце и пахла увядшая трава зверобоя! И как же далеко все это, из какой глубины сверкнуло опять. Как быстро все увяло, едва распустившись!

Медленно приходила Лидия в себя, серьезно и удивленно смотрели ее большие любящие глаза с изменившегося лица.

— Позволь мне уйти, Гольдмунд, — сказала она, — я так долго была у тебя. О мой любимый!

Они каждый день тайно виделись наедине, и Гольдмунд совершенно отдался возлюбленной, совершенно счастливый и тронутый этой девичьей любовью. Иной раз она могла целый час просидеть, держа его руки в своих и глядя в его глаза, и попрощаться с детским поцелуем.



В другой целовала самозабвенно и ненасытно, но не терпела никаких прикосновений. Однажды, краснея и преодолевая себя, желая доставить ему радость, она обнажила одну грудь, робко достав белый плод из платья; когда он, стоя на коленях, целовал ее, она тщательно прикрыла ее, все еще краснея до шеи. Они разговаривали так же, но по новому, не так, как первые дни; они изобретали друг для друга имена, она охотно рассказывала ему о своем детстве, своих мечтах и играх. Часто говорила она и о том, что их любовь запретна, потому что он не может жениться на ней; печально и обреченно говорила она об этом, украшая свою любовь этой тайной печалью, как черной фатой.

В первый раз Гольдмунд чувствовал, что женщина его не только желает, но и любит.

Как-то Лидия сказала: «Ты так красив и выглядишь таким радостным. Но в глубине твоих глаз нет радости, там только печаль, как будто твои глаза знают, что счастья нет и все прекрасное и любимое недолго будет с нами. У тебя самые красивые глаза, какие могут быть и самые печальные. Мне кажется, это из-за того, что ты бездомный. Ты пришел ко мне из леса и когда-нибудь опять уйдешь странствовать. А где же моя родина? Когда ты уйдешь, у меня, правда, останутся отец и сестра, будет комната и окно, у которого я буду сидеть и думать о тебе, но родины больше не будет».

Он не мешал ей говорить, иногда посмеивался, иногда огорчался. Словами он никогда не утешал ее, только тихо поглаживал ее голову, положенную ему на грудь, тихо напевая что-то волшебного-бессмысленного, как няня утешает ребенка, когда тот плачет. Однажды Лидия сказала: «Я хотела бы знать, Гольдмунд, что же из тебя





выйдет, я часто думаю об этом. У тебя будет не обычная жизнь и не легкая. Ах, как я хочу, чтобы у тебя все было хорошо! Иногда мне кажется, ты должен стать поэтом, который может прекрасно выразить свои видения и мечты. Ах, ты будешь бродить по всему свету, и все женщины будут любить тебя, и все-таки ты будешь одинок. Иди лучше обратно в монастырь к своему другу, о котором ты мне столько рассказывал! Я буду за тебя молиться, чтобы ты не умер один в лесу».

Так могла она говорить совершенно серьезно, с отчаянием в глазах. Но потом могла опять, смеясь, скакать с ним по полям или загадывать шуточные загадки и кидать в него увядшей листвой и спелыми желудями.

Как-то Гольдмунд лежал в своей комнате в постели в ожидании сна. На сердце у него было тяжело, оно билось тяжело и сильно в груди, переполненное любовью, переполненное печалью и беспомощностью. Он слушал, как на крыше громыкает ноябрьский ветер; у него вошло в привычку какос-то время перед сном вот так лежать в ожидании сна. Тихо повторял он про себя по обыкновению песнь Марии:

Все прекрасно в тебе, Мария,
И позора изначального нет в тебе,
Ты радость Израиля,
Заступница грешных!

Нежной своей мелодичностью песня проникла в его душу, но одновременно снаружи запел ветер, запел о беспокойности и странствии, о лесе, осени, бездомной жизни. Он думал о Лидии, о Нарциссе и о своей матери, сердце его было полно тяжелого беспокойства.

Тут он вздрогнул от неожиданности, не веря своим



глазам, увидел, что дверь открылась, в темноте в длинной белой рубашке, босиком, не говоря ни слова, вошла Лидия, осторожно закрыла дверь и села к нему на постель.

— Лидия, — прошептал он, — моя лань пугливая, мой белый цветок! Лидия, что ты делаешь?

— Я пришла к тебе, — сказала она, — только на минутку. Мне хотелось посмотреть хоть разок, как мой Гольдмунд спит, мое золотое сердце.

Она легла к нему, тихо лежали они с сильно бьющимися сердцами. Она позволила ему целовать себя, она позволила его волшебным рукам поиграть со своим телом, не больше. Через какое-то время она нежно отстранила его руки, поцеловала его глаза, бесшумно встала и исчезла. Дверь скрипнула, в крышу бился ветер, все казалось заколдованным, полным тайны, и тревоги, и обещания, полным угрозы. Гольдмунд не знал, что ему думать, что делать. Когда после короткого беспокойного сна он опять проснулся, подушка была мокрой от слез.

Она пришла через несколько дней опять, дивный белый призрак, и провела у него четверть часа, как в прошлый раз. Лежа в его объятиях, она шептала ему на ухо, многое хотелось ей сказать ему и поведать. С нежностью слушал он ее.

— Гольдмунд, — говорила она приглушенным голосом у самой его щеки, — как грустно, что я никогда не смогу принадлежать тебе. Так не может больше продолжаться, наше маленькое счастье, наша маленькая тайна в опасности. У Юлии уже зародилось подозрение, скоро она вынудит меня признаться. Или отец заметит. Если он застанет меня в твоей постели, моя милая золотая птичка, плохо придется твоей Лидии; она будет смотреть за-





плаканными глазами, как ее любимый висит за окном и качается на ветру. Ах, милый, беги прочь, прямо теперь, пока отец не схватил тебя и не повесил. Однажды я видела повешенного, вора. Я не хочу видеть тебя повешенным, лучше беги и забудь меня; только бы ты не погиб, золотце мое, Гольдмунд, только бы птицы не выклевали твои голубые глаза! Но нет, родной, не уходи, ах, что мне делать, если ты оставишь меня одну.

— Пойдем со мной, Лидия! Бежим вместе, мир велик!

— Это было бы прекрасно, — жаловалась она, — ах, как прекрасно обойти с тобой весь мир! Но я не могу. Я не могу спать в лесу или на соломе и быть бездомной, этого я не могу! Я не могу опозорить отца. Нет, не говори, это не самомнение. Я не могу есть из грязной тарелки или спать в постели прокаженного. Ах, нам запрещено все, что хорошо и прекрасно, мы оба рождены для страдания. Золотце, мой бедный, маленький мальчик, неужели я увижу, как тебя в конце концов повесят. А я, меня запрут, а потом отправят в монастырь. Любимый, ты должен меня оставить и опять спать с цыганками и крестьянками. Ах, уходи, уходи, пока они тебя не схватили! Никогда мы не будем счастливы, никогда!

Он нежно гладил ее колени и, едва коснувшись до ее женского, спросил:

— Радость моя, мы могли бы быть так счастливы! Можно?

Она нехотя, но твердо отвела его руку в сторону и немного отодвинулась от него.

— Нет, — сказала она, — нет, этого нельзя. Это мне запрещено. Ты, маленький цыган, возможно этого не поймешь. Я, конечно, поступаю дурно, я плохая, позо-



рю весь дом. Но где-то в глубине души я все-таки еще горжусь, туда не смеет никто входить. Ты не должен этого просить, иначе я никогда не приду больше к тебе в комнату.

Никогда бы он не нарушил ее запрета, ее желания, ее намека. Он сам удивлялся, какую власть над ним имела она. Но он страдал. Его чувства оставались неутоленными, и душа часто противилась зависимости. Иногда ему стоило труда освободиться от этого. Иногда он начинал с подчеркнутой любезностью ухаживать за маленькой Юлией, тем более что это было еще и весьма необходимо, нужно было оставаться в добрых отношениях с такой важной особой и как-то ее обманывать. Странно все было у него с Юлией, которая казалась то совсем ребенком, то всезнающей. Она несомненно была красивее Лидии, она была необыкновенной красавицей, и это в сочетании с ее несколько наставительной детской наивностью очень привлекало Гольдмунда; он часто бывал просто влюблен в Юлию. Именно по этому сильному влечению, которое оказывала на его чувства сестра, он с удивлением узнавал различие между желанием и любовью. Сначала он смотрел на обеих сестер одинаково, обе были желанны, но Юлия красивее и соблазнительнее, он ухаживал за обеими без различия и постоянно следил за обеими. А теперь Лидия приобрела такую власть над ним! Теперь он так любил ее, что из любви отказывался от полного обладания ею. Он узнал и полюбил ее душу, ее детскость, нежность и склонность к печали казались похожими на его собственные, часто он бывал глубоко удивлен и восхищен тем, насколько ее душа соответствовала ее телу, она могла что-то делать, говорить, выразить желание или суждение, и ее слова и состояние души





носили отпечаток совершенно той же формы, что и разрез глаз, и форма пальцев.

В эти моменты, когда он, казалось, видел эти основные формы и законы, по которым формировалась ее сущность, душа и тело, у Гольдмунда возникало желание задержать что-то из того образа, повторить его, и на нескольких листках, хранимых в полной тайне, он сделал попытки нарисовать по памяти пером силуэт ее головы, линию бровей, ее руку, колено.

С Юлией все стало как-то непросто. Она явно чувствовала волны любви, в которых купалась старшая сестра, и она, полная страстного любопытства, стремилась к этому раю вопреки своему равному рассудку. Она выказывала Гольдмунду преувеличенную холодность и нерасположение, а забывшись, смотрела на него с восхищением и жадным любопытством. С Лидией она часто бывала очень нежной, иногда забиралась к ней в постель, со скрытой жадностью вдыхала атмосферу любви и пола, нарочно гладила запретное тайное местечко. Потом опять в почти оскорбительной форме давала понять, что знает проступок Лидии и презирает его. Дразня и мешая, металось прелестное и капризное дитя между двумя любящими, смакуя в мечтах их тайну, то разыгрывая из себя ничего не подозревающую, то обнаруживая опасное соучастие; скоро из ребенка она превратилась в тирана. Лидия страдала от этого больше, чем Гольдмунд, который, кроме как за столом, редко виделся с младшей. От Лидии не укрылось также, что Гольдмунд был небезучастен к прелести Юлии, иногда она видела, что его признательный взгляд с наслаждением останавливается на ней. Она не смела ничего сказать, все было так сложно, все так полно опасностей, в особенности нельзя было



сердить и обижать Юлию; ах, каждый день могла раскрыться тайна ее любви и кончиться ее тревожное счастье, и, может быть, страшным образом.

Иногда Гольдмунд удивлялся себе, что давно не покинул со всем этим и не ушел отсюда. Трудно было так жить, как он теперь жил: любить, но без надежды ни на дозволенное и длительное счастье, ни на легкое удовлетворение своих любовных желаний, к какому он привык до сих пор; с вечно возбужденными и неудовлетворенными влечениями, при этом в постоянной опасности. Почему он оставался здесь и выносил все это, все эти осложнения и запутанные чувства? Ведь все эти переживания, чувства и угрызения совести для тех, кто законно сидит в этом доме. Разве нет у него права бездомного и непритязательного уклониться от всех этих нежностей и сложностей и посмеяться над ними? Да, это право у него было, и он дурак, что искал здесь что-то вроде родного очага и платил за это болью и затруднениями. И все-таки он делал это и страдал, страдал охотно, был втайне счастлив. Это было глупо и трудно, сложно и утомительно, любить таким образом, но это было чудесно. Удивительна была темная печаль этой любви, ее глупость и безнадежность; прекрасны были эти заполненные думами ночи без сна, прекрасны и восхитительны были и отпечаток страдания на губах Лидии, и безнадежный и отрешенный звук ее голоса, когда она говорила об их любви и своих заботах. Отпечаток страдания на юном лице Лидии появился всего несколько недель тому назад, да так и остался, именно его выражение ему так хотелось зарисовать пером, и он почувствовал, что в эти несколько недель и сам он изменился и стал намного старше, не умнее и все-таки опытнее, не счастливее и все-





таки намного более зрелым и богатым в душе. Он уже был не мальчик.

Своим нежным, безнадежным голосом Лидия говорила ему:

— Ты не должен быть печальным из-за меня, я хотела бы тебя только радовать и видеть счастливым. Прости, что я сделала тебя печальным, заразила своим страхом и унынием. Я вижу по ночам такие странные сны: я иду по пустыне, такой огромной и темной, прямо не знаю как сказать, я иду, иду и ищу тебя, а тебя все нет, и я знаю, я тебя потеряла и должна буду всегда, всегда вот так идти, совсем одна. Потом, проснувшись, я думаю: «О, как хорошо, как великолепно, что он еще здесь, и я его увижу, может, еще неделю или хоть день, но он еще здесь!»

Однажды Гольдмунд проснулся, едва забрезжил день, и какое-то время лежал в постели в раздумье, окруженный картинами сна, но без связи. Он видел во сне свою мать и Нарцисса, обоих он еще отчетливо видел. Освободившись от нитей сна, он обратил внимание на своеобразный свет, проникающий сегодня в маленькое окно. Он вскочил и подбежал к окну, карниз, крыша конюшни, ворота и все, что было видно за окном, мерцало голубовато-белым светом, покрытое первым зимним снегом. Противоположность между беспокойством его сердца и спокойным безропотным зимним миром поразила его: как спокойно, как трогательно и кротко отдавались пашня и лес, холмы и рощи солнцу, ветру, дождю, засухе, снегу, как красиво с нежным страданием несли свое земное бремя клены и осины! Нельзя ли быть, как они, нельзя ли у них поучиться? В задумчивости он вышел во двор, походил по снегу и потрогал его руками, заглянул в сад,



и за высоко занесенным забором увидел пригнувшиеся от снега кусты роз.

На завтрак ели мучной суп, все говорили о первом снеге, все — барышни в том числе — уже побывали на улице. Снег в этом году выпал поздно, уже приближалось Рождество. Рыцарь рассказал о южных странах, где не бывает снега. Но то, что сделало этот первый зимний день незабываемым для Гольдмунда, случилось, когда была глубокая ночь.

Сестры сегодня поссорились, этого Гольдмунд не знал. Ночью, когда в доме стало тихо и темно, Лидия пришла к нему, как обычно, она молча легла рядом, положила голову ему на грудь, чтобы слушать, как бьется его сердце, и утешаться его присутствием. Она была расстроена и боялась, что Юлия выдаст ее, но не решалась говорить об этом с любимым и беспокоить его. Так она лежала у его сердца, слушая его ласковый шепот и чувствовала его руку на своих волосах.

Но вдруг — она совсем недолго лежала так — она страшно испугалась и приподнялась с широко открытыми глазами. И Гольдмунд испугался не меньше, когда увидел, что дверь открылась и в комнату вошла какая-то фигура, которую он в страхе не сразу узнал. Только когда она подошла вплотную к кровати и наклонилась над ней, он с замершим сердцем увидел, что это Юлия. Она выскользнула из плаща, накинутого прямо на рубашку, сбросив плащ на пол. С криком боли, как будто получив удар ножом, Лидия упала назад, цепляясь за Гольдмунда. Презрительным и злорадным тоном, но все-таки неуверенным голосом Юлия сказала: «Я не хочу лежать одна в комнате. Или вы возьмете меня к себе, и мы будем лежать втроем, или я пойду и разбуджу отца».





— Конечно, иди сюда, — сказал Гольдмунд, откинув одеяло. — У тебя же ноги замерзнут.

Она взобралась, и он с трудом дал ей место на узкой постели, потому что Лидия неподвижно лежала, спрятав лицо в подушку. Наконец, они улеглись втроем, девушки по обеим сторонам Гольдмунда, и на какой-то момент он не мог отделаться от мысли, что еще недавно это положение отвечало бы всем его желаниям. Со странным смущением и все-таки втайне восхищенно он чувствовал бедро Юлии со своей стороны.

— Нужно же мне было посмотреть, — начала она опять, — как лежится в твоей постели, которую сестра так охотно посещает.

Гольдмунд, чтобы успокоить ее, слегка потерся щекой о ее волосы, а рукой погладил бедра и колени, как ласкают кошку, она отдавалась молча и с любопытством его прикосновениям, смутно чувствуя очарование, не оказывая сопротивления. Но во время этого укрощения он одновременно не забывал и Лидию, нашептывая ей на ухо слова любви и постепенно заставив ее хотя бы поднять лицо и повернуться к нему. Без слов целовал он ее рот и глаза, в то время как его рука очаровывала сестру, неловкость и странность всего положения становились невыносимыми его сознанию. В то время как его рука знакомилась с прекрасным, застывшим в ожидании телом Юлии, он впервые понял не только красоту и глубокую безнадежность своей любви к Лидии, но и ее смехотворность. Нужно было, так казалось ему теперь, когда губы его касались Лидии, а рука Юлии, нужно было или заставить Лидию отдаться, или идти своей дорогой дальше. Любить ее и отказываться от нее было бессмысленно и неправильно.



— Сердце мое, — прошептал он Лидии на ухо, — мы напрасно страдаем, как счастливы могли бы мы быть все втроем! Позволь нам сделать то, что требует наша кровь!

Так как она в ужасе отшатнулась, его страсть бросилась к другой, и он сделал ей так приятно, что она ответила долгим сладострастным вздохом.

Когда Лидия услышала этот вздох, ревность сжала ее сердце, как будто в него влили яд. Она неожиданно села, сорвала одеяло с постели, вскочила на ноги и крикнула:

— Юлия, пошли!

Юлия вздрогнула, уже необдуманная сила этого крика, который мог всех выдать, говорила ей об опасности, и она молча поднялась.

А Гольдмунд, все чувства которого были оскорблены и обмануты, быстро обнял встающую Юлию, поцеловал ее в обе груди и прошептал ей горячо на ухо:

— Завтра, Юлия, завтра!

Лидия стояла в рубашке и босиком, на каменном полу пальцы сжимались от холода. Она подняла плащ Юлии, набросила его на нее жестом страдания и смирения, который даже в темноте не ускользнул от той, тронув ее и примирив. Тихо выскользнули сестры из его комнаты. Полный противоречивых чувств, Гольдмунд прислушивался, затаив дыхание, пока в доме не стало совершенно тихо.

Так из неестественного положения втроем молодые люди оказались в одиночестве, потому что и сестры, добравшись до своей спальни, тоже не стали разговаривать, а лежали одиноко, молча и упрямо каждая в своей постели без сна. Какой-то дух несчастья и противоречия, демон бессмысленности, отчуждения и душевного смятения, казалось, овладел домом. Лишь после полуночи





заснул Гольдмунд, лишь под утро — Юлия, Лидия лежала без сна, измученная, пока не наступил бледный день. Она сразу же поднялась, оделась, долго стояла на коленях перед маленьким деревянным распятием и молилась, а как только услышала на лестнице шаги отца, вышла и попросила его выслушать ее. Не пытаясь различить между заботою о девичьей чести Юлии и своей ревностью, она решила покончить с этим делом. Гольдмунд и Юлия еще спали, когда рыцарь уже знал все, что Лидия сочла нужным ему сообщить. Об участии Юлии в происшествии она умолчала.

Когда Гольдмунд в привычное время появился в кабинете, то увидел рыцаря не в домашних туфлях и сюртуке из толстого сукна, как он имел обыкновение заниматься своими записями, а в сапогах, камзоле, с мечом на поясе и сразу понял, что это значит.

— Надень шапку, — сказал рыцарь, — нам надо пройтись.

Гольдмунд снял шапку с гвоздя и последовал за рыцарем вниз по лестнице, через двор, за ворота. Под ногами поскрипывал чуть подмерзший снег, на небе была еще утренняя заря. Рыцарь молча шел впереди, юноша следовал за ним, несколько раз оглянулся на двор, на окно своей комнаты, на заснеженную остроконечную крышу, пока все не осталось позади и ничего уже не было видно. Никогда больше он не увидит ни эту крышу, ни окна, ни кабинет, ни спальню, ни сестер. Давно уже освоился он с мыслью о внезапном уходе, однако сердце его больно сжалось. Очень горестно было ему это прощание.

Уже час шли они так, господин впереди, оба не говорили ни слова. Гольдмунд начал раздумывать о своей судьбе. Рыцарь был вооружен, может быть, он хочет его



убить. Но в это ему не верилось. Опасность была невелика, стоило ему побегать, и старик с его мечом ничего не смог бы ему сделать. Нет, жизнь его не была в опасности. Но это молчаливое шагание вслед за оскорбленным человеком, это безмолвное выпроваживание становилось ему с каждым шагом все мучительнее.

— Дальше пойдешь один, — сказал он надтреснутым голосом, — все время в этом направлении и продолжай вести бродячую жизнь, к которой привык. Если когда-нибудь покажешься вблизи моего дома, пристрелю. Мстить не буду; сам должен быть умнее и не брать молодого человека в дом, где две дочери. Но если рискнешь вернуться, твоя жизнь кончена. Теперь иди, да простит тебя Бог!

Он остался стоять, в тусклом свете зимнего утра его лицо с седой бородой казалось мертвенным. Как призрак стоял он, не двигаясь с места, пока Гольдмунд не исчез за следующим гребнем холмов. Красноватое мерцание на облачном небе пропало, солнце так и не появилось, начали медленно падать редкие робкие снежинки.



ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

По некоторым прогулкам верхом Гольдмунд знал местность, по ту сторону замерзшего болота будет сарай рыцаря, а дальше крестьянский двор, где его знали; в одном из этих мест можно отдохнуть и переночевать. А там видно будет. Постепенно к нему вернулось чувство свободы и неизвестности, от которых он на какое-то время отвык. В этот ледяной угрюмый зимний день она, неизвестность, не очень-то улыбалась, уж больно пахла она



заботами, голодом и неустроенностью, и все-таки ее даль, ее величие, ее суровая неизбежность успокаивали и почти утешали его смущенное сердце.

Он устал идти. С прогулками верхом теперь кончено, подумал он. О далекий мир! Снег шел слегка, вдали стена леса и серые облака сливались друг с другом, царила бесконечная тишина, до конца мира. Что-то было теперь с Лидией, бедным пугливым сердцем? Ему было безмерно жаль ее; с нежностью думал он о ней, сидя под одиноким голым ясенем среди пустого болота и отдыхая. Наконец холод пробрал его, он встал на одеревеневшие ноги и зашагал, постепенно набирая скорость, скудный свет пасмурного дня уже, казалось, начинал убывать. Пока он шагал по пустынной равнине, мысли оставили его. Теперь не время размышлять и лелеять чувства, как они ни нежны и прекрасны; нужно вовремя добраться до ночлега, нужно, подобно кунице или лисе, выжить в этом холодном, неудобном мире и, уж во всяком случае, погибать не здесь в открытом поле; все остальное неважно.

Он удивленно огляделся вокруг, ему показалось, что вдалеке слышен стук копыт. Может, его преследуют? Он схватился за маленький охотничий нож в кармане и вынул его из деревянных ножен. Вот он уже видел всадника и узнал издали лошадь из конюшни рыцаря, она настойчиво приближалась к нему. Бежать было бесполезно, он остановился и ждал, даже, собственно, без страха, но очень напряженно и с любопытством, с учащенно бившимся сердцем. На какой-то момент в голове мелькнуло: «Если бы удалось прикончить этого всадника, как было бы хорошо; у меня была бы лошадь и весь мир передо мной». Но когда он узнал всадника, молодого конюха Ганса, с его светло-голубыми водянистыми гла-



зами и добрым смущенным мальчишеским лицом, он рассмеялся; убить этого милого доброго парнишку, для этого надо иметь каменное сердце. Он приветливо поздоровался с Гансом и ласково поприветствовал рысака Ганнибала, погладив по теплой влажной шее, тот сразу узнал его.

— Куда это ты направляешься, Ганс? — спросил он.

— К тебе, — засмеялся парнишка в ответ, сверкая зубами. — Ты изрядно пробежался! Останавливаться мне ни к чему, я должен только передать тебе привет и вот это.

— От кого же привет?

— От барышни Лидии. Ну и заварил же ты кашу, магистр Гольдмунд, я-то рад немного проветриться, хотя хозяин не знает, что я уехал с таким поручением, иначе мне несдобровать. Вот бери.

Он протянул ему небольшой сверток, Гольдмунд взял его.

— Скажи, Ганс, нет ли у тебя в кармане хлеба? Дай мне.

— Хлеба? Найдется корка, пожалуй. — Он пошарил в кармане и достал кусок черного хлеба. Он собрался уезжать.

— А что делает барышня? — спросил Гольдмунд. — Она ничего не просила передать? Нет ли письмеца?

— Ничего. Я видел-то ее всего одну минуту. В доме ведь гроза, знаешь ли; хозяин бегает туда-сюда, как царь Саул. Я должен был отдать только сверток, больше ничего. Ну, мне пора.

— Да, еще минутку! Ганс, не мог бы ты уступить мне свой охотничий нож? У меня есть, только маленький. В случае, если волки придут, да и так — лучше иметь кое-что надежное в руке.





Но об этом Ганс не хотел и слышать. Очень жаль, сказал он, если с магистром Гольдмундом что-нибудь случится. Но свой нож, нет, он никогда не отдаст ни за какие деньги, ни в обмен, о нет, даже если бы об этом просила сама святая Женевьева. Вот так, ну а теперь ему нужно спешить, он желает всего доброго и ему очень жаль.

Они потрясли друг другу руки, парнишка ускакал, особенно грустно смотрел Гольдмунд ему вслед. Потом он распаковал сверток, порадовавшись добротному ремню из телячьей кожи, которым он был перетянут. Внутри была вязаная нижняя фуфайка из толстой серой шерсти, явно сделанная Лидией и предназначавшаяся для него, а в фуфайке было еще что-то твердое, хорошо завернутое, это оказался кусок окорока, а в окороке была сделана прорезь, и из нее виднелся, сверкая, золотой дукат. Письма не было. С подарками от Лидии в руках стоял он в снегу, нерешительный, потом снял куртку и быстро надел шерстяную фуфайку, сразу стало приятно тепло. Быстро оделся, спрятал золотой в самый надежный карман, затянул ремень и отправился дальше через поле; пора было искать место для отдыха, он очень устал. Но к крестьянину ему не хотелось, хотя там было теплее, пожалуй, нашлось бы и молоко; ему не хотелось болтать и отвечать на расспросы. Он переночевал в сарае, рано отправился дальше, был мороз и резкий ветер, вынуждавший делать большие переходы. Много ночей видел он во сне рыцаря и его меч и двух сестер, много дней угнетало его одиночество и уныние.

В одной деревне, где у бедных крестьян не было хлеба, но был пшеничный суп, нашел он в один из следующих вечеров ночлег. Новые переживания ожидали его здесь.



У крестьянки, гостем которой он был, ночью начались роды, и Гольдмунд присутствовал при этом, его подняли с соломы, чтобы он помог, хотя в конце концов дела для него не нашлось, он только держал светильню, пока повивальная бабка делала свое дело. В первый раз видел он роды и, не отрываясь, смотрел удивленными, горящими глазами на лицо роженицы, неожиданным образом обогатившись новым переживанием. Во всяком случае, то, что он увидел в лице роженицы, показалось ему достойным внимания. При свете сосновой лучины с большим любопытством всматриваясь в лицо мучающейся родами женщины, он заметил нечто неожиданное: линии искаженного лица немногим отличались от тех, что он видел в момент любовного экстаза на других женских лицах! Выражение сильной боли было, правда, явнее и больше искажало черты лица, чем выражение сильного желания, но в основе не отличалось от него, это была та же оскаленная сосредоточенность, те же вспышки и угасания. Удивительно, не понимая, почему так происходит, он был поражен тем, что боль и желание могут быть похожи друг на друга как родные.

И еще кое-что пережил он в этой деревне, Из-за соседки, которую он заметил утром после ночи с родами и которая на вопрошание его влюбленных глаз сразу ответила согласием, он остался в деревне на вторую ночь и ошастливил женщину, так как впервые после всех возбуждений и разочарований последних недель мог удовлетворить свой пыл. А эта задержка привела его к новому происшествию; из-за нее на второй день на этом же крестьянском дворе он встретил товарища, длинного отчаянного парня по имени Виктор, выглядевшего наполовину попом, наполовину разбойником, который при-





ветствовал его обрывками латыни, выдавая себя за странствующего студента, хотя он давно вышел из этого возраста.

Этот человек с острой бородкой приветствовал Гольдмунда с определенной сердечностью и юмором бродяги, чем быстро завоевал расположение молодого товарища. На его вопрос, где тот учился и куда держит путь, странный брат напыщенно ответил:

— Высших школ моя бедная душа нагляделась вдосталь, я бывал в Кельне и Париже, а о метафизике ливерной колбасы редко говорилось столь содержательно, как это сделал я, защищая диссертацию в Лейдене. С тех пор, дружок, я, бедная собака, бегаю по Германской империи, терзая любезную душу непомерным голодом и жаждой: меня зовут грозой крестьян, и профессия моя — наставлять молодых женщин в латыни и показывать фокусы, как колбаса через дымоход попадает ко мне в живот. Цель моя — попасть в постель к бургомистерше, и если меня не склонюют к тому времени вороны, то мне не останется ничего иного, как посвятить себя обременительной профессии епископа. Живу, дорогой коллега, перебиваясь с хлеба на квас, и поэтому никогда еще рагу из зайца не чувствовало себя столь хорошо, как в моем бедном желудке. Король Богемии — мой брат, и Отец наш питает его, как и меня, но самое лучшее он предоставляет доставать мне самому, а позавчера он, жестокосердый, как все отцы, позволил употребить меня на то, чтобы я спас от голодной смерти волка. Если бы я не прикончил эту скотину, господин коллега, ты никогда не удостоился бы чести заключить со мной сегодня столь приятное знакомство. Во веки веков, аминь.

Гольдмунд, еще мало знакомый с горьким юмором и



латынью этого жанра, правда, немного испугался взъерошенного нахала и его мало приятного смеха, которым тот сопровождал собственные шутки; но что-то все-таки понравилось ему в этом закоренелом бродяге, и он легко дал себя уговорить продолжать дальнейший путь вместе, возможно, с убитым волком он и прихвастнул, а может, и нет, во всяком случае, вдвоем они будут сильнее, да и не так страшно. Но, прежде чем они двинулись дальше. Виктор хотел поговорить с крестьянами на латыни, как он это называл, и расположился у одного крестьянина. Он делал не так, как Гольдмунд, когда бывал гостем на хуторе или в деревне, он ходил от хижины к хижине, заводил с каждой женщиной болтовню, совал нос в каждую конюшню и каждую кухню и, казалось, не собирался покидать деревушку, пока каждый дом не давал ему что-нибудь в дань. Он рассказывал крестьянам о войне в чужих странах и пел у очага песни о битве при Павии, бабушкам он рекомендовал средства от ломоты в костях и выпадения зубов, казалось, он все знает и везде побывал, он набивал рубаху под поясом до отказа кусками хлеба, орехами, сушеными грушами. С удивлением наблюдал Гольдмунд, как тот неустанно проводил свою линию, то запутывая, то льстя, как он важничал и удивлял, говоря то на исковерканной латыни, разбрызгивая ученого, то на нахальном воровском жаргоне, замечая острыми, внимательными глазками во время рассказов и монологов каждое лицо, каждый открытый ящик стола, каждую миску и каждый каравай. Он видел, что это был пронырливый бездомный человек, третий калач, который много повидал и пережил, много голодал и холодал и в борьбе за скудную жалкую жизнь стал смысленным и нахальным. Так вот какие они, страннички! Неужели и он станет когда-нибудь таким?





На другой день они отправились дальше, в первый раз Гольдмунд попробовал идти вдвоем. Три дня они были в пути, и Гольдмунд научился у Виктора кое-чему. Ставшая инстинктом привычка все соотносить с тремя главными потребностями бездомного: безопасностью для жизни, ночлегом и пропитанием, многому научила странствовавшего так долго. По малейшим признакам узнавать близость человеческого жилья, даже зимой, даже ночью или тщательно проверять каждый уголок в лесу или в поле на его пригодность для отдыха или ночлега, или при входе в комнату в один момент определять степень благосостояния, в которой живет хозяин, а также степень его добросердечия, любопытства и страха — вот это было искусство, которым Виктор владел мастерски. Что-то поучительное он рассказывал молодому товарищу. Гольдмунд как-то возразил ему, что неприятно подходить к людям с такими рассуждениями, что он, не зная всех этих ухищрений, на свою просто просьбу лишь в редких случаях получал отказ в гостеприимстве, длинный Виктор засмеялся и сказал добродушно: «Ну, конечно, Гольдмунд, тебе должно быть, везло, ты так молод и хорош собой, да и выглядишь так невинно, это уже рекомендация на постой. Женщинам ты нравишься, а мужчины думают: «Бог мой, да он безобидный, никому не причинит зла». Но видишь ли, братец, человек становится старше, и на детском лице вырастает борода и появляются морщины, а на штанах — дыры, и незаметно становишься отталкивающим и нежелательным гостем, а вместо юности и невинности из глаз смотрит только голод, вот тогда-то человеку и приходится становиться твердым и кое-чему научиться в мире, иначе быстренько окажешься на свалке, и собаки будут на тебя мочиться.



Но мне кажется, ты и без того не будешь долго бродяжничать, у тебя слишком тонкие руки, слишком красивые локоны, ты опять заберешься куда-нибудь, где живется получше, в хорошенькую теплую супружескую постель, или в хорошенький сытый монастырек, или в прекрасно натопленный кабинет. У тебя и платье хорошее, тебя можно принять за молодого барчука».

Все еще смеясь, он быстро провел рукой по платью Гольдмунда, и тот почувствовал, как рука ищет и ощупывает все карманы и швы; он отстранился и вспомнил о своем дукате. Он рассказывал о своем пребывании у рыцаря и как заработал себе хорошее платье знанием латыни. Но Виктор хотел знать, почему он среди суровой зимы покинул такое теплое гнездышко, и Гольдмунд, не привыкший лгать, рассказал ему кое-что о двух дочерях рыцаря. Тут между товарищами возник первый спор. Виктор считал, что Гольдмунд беспримерный осел, коли просто так ушел из замка, предоставив девицу Господу Богу. Это следует поправить, уж он-то придумает как. Они наведаются в замок, конечно, Гольдмунду нельзя там показываться, но тот может во всем положиться на него. Он напишет Лидии письмоцо, так, мол, и так, и с ним явится в замок он, Виктор, и уж, видит Бог, не уйдет, не прихватив всего того и сего, денег и добра. И так далее. Гольдмунд резко возражал и вспылил; он не хотел и слышать об этом и отказался назвать имя рыцаря и дорогу к нему. Виктор, видя его гнев, опять засмеялся, разыгрывая добродушие. «Ну, ну, — сказал он, — не лезь на рожон! Я только говорю: ты упускаешь хорошую возможность пожить, мой милый, а это не очень-то приятно и не по-товарищески. Но ты, разумеется, не хочешь, ты благородный господин, вернешься в замок на





коне и жегнись на девице! Сколько же благородных глупостей в твоей голове! Ну да как знаешь, отправим-ся-ка дальше, померзнем».

Гольдмунд был не в настроении и молчал до вечера, но так как в этот день они не встретили ни жилья, ни каких-либо следов человека, он был очень благодарен Виктору, который нашел место для ночлега, между двух стволов на опушке леса сделал укрытие и ложе из еловых веток. Они послали хлеба и сыра из запасов Виктора, Гольдмунд стыдился своего гнева, с готовностью помогал во всем, и даже предложил товарищу шерстяную фуфайку на ночь, они решили дежурить по очереди из-за зверей, и Гольдмунд дежурил первым, в то время как другой улегся на еловые ветви. Долгое время Гольдмунд стоял спокойно, прислонившись к стволу ели, чтобы дать другому заснуть. Потом он стал ходить взад и вперед, так как замерз. Он бегал туда и сюда, все увеличивая расстояние, глядя на вершины елей, остро торчавшие в холодном небе, слушая глубокую тишину зимней ночи, торжественную и немного пугающую, чувствовал свое бедное живое сердце, одиноко бившееся в холодной безответной тишине, и прислушивался, осторожно возвращаясь к дыханию спящего товарища. Его пронизывало сильнее, чем когда-либо, чувство бездомного, не сумевшего спрятаться от этого великого страха ни за стенами дома, ни в замке, ни в монастыре, вот сирый и одинокий бежит он через непостижимый, враждебный мир, один среди холодных насмешливых звезд, подстерегающих зверей, терпеливых непоколебимых деревьев.

Нет, думал он, он никогда не станет таким, как Виктор, даже если будет странствовать всю жизнь. Эту манеру защищаться от страха он никогда не усвоит, не



научится хитрому воровскому выслеживанию добычи и громогласным дерзким дурачествам, многословному юмору мрачного бахвала. Возможно, этот умный дерзкий человек прав. Гольдмунд никогда не станет во всем походить на него, никогда не будет совсем бродягой, а однажды спрячется за какой-нибудь стеной. Но бездомным и бесцельным он все равно останется, никогда не будет чувствовать себя действительно защищенным и в безопасности, его всегда будет окружать мир загадочно прекрасный и загадочно тревожный, он всегда будет прислушиваться к этой тишине, среди которой бьющееся сердце кажется таким робким и бранным. Виднелось несколько звезд, было безветренно, но в вышине, казалось, двигались облака.

Долгое время спустя Виктор проснулся — Гольдмунд не хотел будить его — и позвал:

— Иди-ка, — кричал он, — теперь тебе надо поспать, а то завтра ни на что не будешь годен.

Гольдмунд послушался, он лег на ветки и закрыл глаза. Он достаточно устал, но ему не спалось, мысли не давали уснуть, а кроме мыслей, чувство, в котором он сам себе не признавался, чувство тревоги и недоверия к своему товарищу. Теперь ему было непостижимо, как он мог рассказать этому грубому, громко смеющемуся человеку, острослову и наглому нищему, о Лидии! Он был зол на него и на самого себя и озабоченно размышлял, как бы получше от него отделаться.

Но он, должно быть, все-таки погрузился в полусон, потому что испугался и был поражен, когда почувствовал, что руки Виктора осторожно ощупывают его платье. В одном кармане у него был нож, в другом — дукат, то и другое Виктор непременно украл бы, если бы нашел.





Он притворился спящим, повернулся туда-сюда как бы во сне, пошевелил руками, и Виктор отполз назад. Гольдмунд очень разозлился на него, он решил завтра же расстаться с ним.

Но когда через какой-нибудь час Виктор опять склонился над ним и начал обыскивать, Гольдмунд похолодел от бешенства. Не пошевельнувшись, он открыл глаза и сказал с презрением: «Убирайся, здесь нечего воровать».

Испугавшись крика, вор схватил Гольдмунда руками за горло. Когда же тот стал защищаться и хотел приподняться, Виктор сжал еще крепче и одновременно стал ему коленом на грудь. Гольдмунд, чувствуя, что не может больше дышать, рванулся и сделал резкое движение всем телом, а не освободившись, ощутил вдруг смертельный страх, сделавший его умным и сообразительным. Он сунул руку в карман, в то время как рука Виктора продолжала сжимать его, достал маленький охотничий нож и воткнул его внезапно и вслепую несколько раз в склонившегося над ним. Через мгновение руки Виктора разжались, появился воздух, глубоко и бурно дыша, Гольдмунд возвращался к жизни. Он попытался встать, длинный приятель со страшным стоном перекатился через него, расслабленный и мягкий, его кровь попала на лицо Гольдмунда. Только теперь он смог подняться, тут он увидел в сером свете ноги упавшего длинного, когда он дотронулся до него, вся рука была в крови. Он поднял его голову, тяжело и мягко, как мешок, она упала назад. Из груди и горла все еще текла кровь, изо рта вырывались последние вздохи жизни, безумные и слабеющие. «Я убил человека», — подумал Гольдмунд и думал об этом все время, пока, стоя на коленях перед умираю-



щим, не увидел, как по его лицу разлилась бледность. «Матерь Божья, я убил», — услышал он собственный голос.

Ему вдруг стало невыносимо оставаться здесь. Он взял нож, вытер его о шерстяную фуфайку, надетую на мертвом, связанную Лидией для любимого, убрал нож в деревянный чехол, положил в карман, вскочил и помчался что было сил прочь.

Тяжелым бременем лежала смерть веселого бродяги у него на душе; когда настал день, он с отвращением оттер с себя снегом всю кровь, которую пролил, и еще день и ночь бесцельно блуждал в страхе. Наконец нужды тела заставили его встряхнуться и положить конец исполненному страху раскаянию.

Блуждая по пустынной заснеженной местности без крова, без дороги, без еды и почти без сна, он попал в крайне бедственное положение, как дикий зверь терзал его тело голод, несколько раз он в изнеможении ложился прямо среди поля, закрывал глаза, желая только заснуть и умереть в снегу. Но что-то снова поднимало его, он отчаянно и жадно цеплялся за жизнь, и в самой горькой нужде пробивалась и опьяняла его безумная сила и буйное нежелание умирать, невероятная сила голого инстинкта жизни. С заснеженного можжевельника он обрывал посиневшими от холода руками маленькие засохшие ягоды и жевал эту хрупкую жалкую пищу, смешанную с еловыми иголками, возбуждающе острую на вкус, утолял жажду пригоршнями снега. Из последних сил дуя в застывшие руки, сидел он на холме, делая короткую передышку, жадно смотря во все стороны, но не видя ничего, кроме пустоши леса, нигде ни следа человека. Над ним летало несколько ворон, зло следил он





за ними взглядом. Нет, они не получают его на обед, пока есть остаток сил в его ногах, хотя бы искра тепла в его крови. Он встал, и снова начался неутолимый бег наперегонки со смертью. Он бежал и бежал, в лихорадке изнеможения и последних усилий им овладевали странные мысли, и он вел безумные разговоры, то про себя, то вслух. Он говорил с Виктором, которого заколол, резко и злобно говорил он с ним: «Ну, ловкач, как поживаешь? Луна просвечивает тебе кишки, лисицы дергают за уши? Говоришь, волка убил? Что ж, ты ему глотку перегрыз или хвост оторвал, а? Хотел украсть мой дукат, старый ворюга? Да не тут-то было, маленький Гольдмунд поймал тебя, так-то, старик, пощекотал я тебе ребра! А у самого еще полны карманы хлеба и колбасы, и сыра, эх ты, свинья, обжора!» Подобные речи выкрикивал он, ругая убитого, торжествуя над ним, высмеивая его за то, что тот дал себя убить, рохля, глупый хвостун!

Но потом его мысли и речи оставили бедного Виктора. Он видел теперь перед собой Юлию, красивую маленькую Юлию, как она покинула его в ту ночь; он кричал ей бесчисленные ласковые слова, безумными бесстыдными нежностями пытался соблазнить ее, только бы она пришла, сняла рубашку, отправилась бы с ним на небо за час до смерти, на одно мгновение перед тем, как ему издохнуть. Умоляюще и вызывающе говорил он с ее маленькой грудью, с ее ногами, с белокурыми курчавыми подмышками.

И снова брел он, спотыкаясь, через заснеженную сухую осоку, опьяненный горем, чувствуя торжествующий огонь жизни. Он начинал шептать, на этот раз он беседовал с Нарциссом, сообщая ему свои мысли, прозрения и шутки.



— Ты боишься, Нарцисс, — обращался он к нему, — тебе жутко, ты ничего не заметил? Да, глубокоуважаемый, мир полон смерти, она сидит на каждом заборе, стоит за каждым деревом, и вам не помогут ваши стены и спальни, и часовни, и церкви, она заглядывает в окна, смеется, она прекрасно знает каждого из вас, среди ночи слышите вы, как она смеется под вашими окнами, называя вас по имени. Пойте ваши псалмы и жгите себе свечи у алтаря, и молитесь на ваших вечерних и заутренних, и собирайте травы для аптеки и книги для библиотеки! Постышься, друг? Недосыпаешь? Она-то тебе поможет, смерть, лишит всего, до костей. Беги, дорогой, беги скорей, там в поле уже гуляет смерть, собирайся и беги! Бедные наши косточки, бедное брюхо, бедные остатки мозгов! Все исчезнет, все пойдет к черту, на дереве сидят вороны, черные попы.

Давно уже блуждал он, не зная, куда бежит, где находится, что говорит, лежит он или стоит. Он падал, споткнувшись о куст, наткнулся на деревья, хватался, падая, за снег и колючки. Но инстинкт в нем был силен, все снова и снова срывал он его с места, увлекая и гоня слепо мечущегося все дальше и дальше. В последний раз он, обессиленный, упал и не поднялся в той самой деревне, где несколько дней назад встретил странствующего студента, где ночью держал лучину над роженицей. Тут он оставался лежать, сбежались люди, и стояли вокруг него, и болтали. Он уже ничего не слышал. Женщина, любовью которой он тогда наслаждался, узнала его и испугалась его вида, сжалившись над ним, она, представив мужу браниться, притащила полумертвого в хлев.

Прошло немного времени, и Гольдмунд опять был на ногах и мог отправляться в путь. От тепла в хлеву, от сна и от козьего молока, которое давала ему женщина,





он пришел в себя, и к нему вернулись силы; а все только что пережитое отодвинулось назад, как будто с тех пор прошло много времени. Поход с Виктором, холодная жуткая ночь под елями, ужасная борьба на ложе, страшная смерть товарища, дни и ночи замерзания, голода и блужданий — все это стало прошлым, как будто почти забытым; но забытым это все-таки не было, только пережитым, только минувшим. Что-то оставалось, невыразимое, что-то ужасное и в то же время дорогое, что-то опустившееся на дно души и все-таки незабвенное; опыт, вкус на языке, рубец на сердце. Меньше чем за два года он, пожалуй, основательно познал все радости и горести *бездомной жизни*: одиночество, свободу, звуки леса и животных, бродячую неверную любовь, горькую смертельную нужду. Сколько времени пробыл он гостем в летних полях, в лесу, в смертельном страхе и рядом со смертью, и самым сильным, самым странным было противостоять смерти, зная свою ничтожность и жалкость перед угрозами, в последней отчаянной борьбе со смертью чувствовать в себе эту прекрасную, страшную силу и целостность жизни. Это звучало в нем, это запечатлелось в его сердце так же, как жесты и выражения страсти, столь похожие на выражения рожающей и умирающего. Совсем недавно видел он, как меняется лицо роженицы, совсем недавно погиб Виктор. О, а он сам, как чувствовал он во время голода подкрадывавшуюся со всех сторон смерть, как мучился от голода, а как мерз! И как он боролся, как водил смерть за нос, с каким смертельным страхом и с какой яростной страстью он защищался! Больше этого, казалось ему, уже нельзя пережить. С Нарциссом можно было бы поговорить об этом, больше ни с кем.



Когда Гольдмунд на своем соломенном ложе в хлеву в первый раз пришел в себя, он не нашел в кармане дуката. Неужели он потерял его во время страшного полусознательного голодного блуждания? Долго размышлял он об этом. Дукат был ему дорог, он не хотел мириться с его потерей. Деньги для него мало значили, он едва знал им цену. Но золотая монета имела для него значение по двум причинам. Это был единственный подарок Лидии, остававшийся у него, потому что шерстяная фуфайка осталась в лесу на Викторе, пропитанная кровью. А потом ведь прежде всего из-за монеты, которой он не желал лишиться, из-за нее он защищался против Виктора, из-за нее вынужден был убить его. Если дукат потерян, то в какой-то мере все переживания той ужасной ночи становились бессмысленными и ничемными. Размышляя таким образом, он решил спросить хозяйку. «Кристина, — прошептал он, — у меня была золотая монета в кармане, а теперь ее нет там».

— Так, так, заметил? — сказала она с удивительно милой и одновременно лукавой улыбкой, столь восхитившей его, что он, несмотря на слабость, обнял ее.

— Какой же ты чудак, — сказала она с нежностью, — такой умный да обходительный, и такой глупый! Разве бегают по свету с дукатом в открытом кармане? Ох, дитя малое, дурачок ты мой милый! Монету твою я нашла сразу же, когда укладывала тебя на соломе.

— Нашла? А где же она?

— Ищи, — засмеялась она и действительно заставила его довольно долго искать, прежде чем показала место в куртке, где она была крепко зашита. Она надавала ему при этом кучу добрых материнских советов, которые он скоро забыл, но ее дружескую услугу и лукавую улыбку





на добром крестьянском лице не забывал никогда. Он постарался показать ей свою благодарность, а когда вскоре опять был способен идти дальше, она задержала его, так как в эти дни меняется луна и погода, конечно, смягчиться. Так оно и было. Когда он отправился дальше, снег лежал серый и больной, а воздух был тяжел от сырости, в вышине слышались стоны теплого влажного ветра.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Снова тающие снега гнали реки вниз, снова из-под прелой листвы пахло фиалками, снова брел Гольдмунд, минуя пестрые времена года, впиваясь ненасытными глазами в леса, горы и облака, от двора к двору, от деревни к деревне, от женщины к женщине, сидел иной раз прохладным вечером измученный, с болью в сердце под окном, за которым горел свет и из красного отсвета которого мило и недостижимо сияло все, что на земле называется счастьем, домом, миром. Снова и снова все приходило, что он, казалось, давно так хорошо уже знает, все приходило снова и было каждый раз другим: долгий путь по полям и пустошам или каменной дороге, летние ночевки в лесу, медленное приближение к деревням за рядами молодых девушек, возвращавшихся домой с сенокоса или сбора хмеля, первые осенние дожди, первые злые морозы — все возвращалось, раз, два раза, нескончаемо двигалась перед его глазами пестрая лента.

Не раз лил дождь, и не раз шел снег, когда однажды, поднявшись редким буковым лесом с уже светло-зелеными почками, Гольдмунд увидел с высоты гребня холма мес-



тность, которая порадовала его глаз и пробудила в сердце поток предчувствий, желаний и надежд. Уже несколько дней он чувствовал приближение этой местности, и все-таки она поразила его в этот полуденный час, и то, что он увидел при первой встрече, только подтвердило и укрепило его ожидания. Он смотрел вниз сквозь серые стволы с едва кольшущимися ветвями, на зелено-коричневую дымку, посередине которой блестела, как стекло, широкая голубоватая река. Отныне, он был в этом уверен, будет надолго покончено с блужданием без дороги через пустоши, леса и глухие места, где едва встретишь двор и бедную деревеньку. Там внизу катилась река, а вдоль реки проходили самые главные дороги империи, там лежала богатая, сытая страна, плыли плоты и лодки, и дорога вела в большие деревни, замки, монастыри и богатые города, и, кому хотелось, тот мог путешествовать по этой дороге сколько угодно, не боясь, что она, подобно жалким деревенским тропинкам, вдруг затеряется где-нибудь в лесу или в болоте. Начиналось что-то новое, и он радовался этому.

Уже к вечеру того же дня он был в большом селе, расположенном между рекой и виноградниками на холмах у большой проезжей дороги; красивые ставни окон на домах с фронтонами были выкрашены в красное, здесь были сводчатые въездные ворота и мощные ступенчатые улочки, из кузницы вырывались красные отблески пламени, и слышались звонкие удары по наковальне. С любопытством бродил вновь прибывший по всем уголкам и закоулкам, вдыхал запах бочек и вина у винных погребов, а на берегу реки запах прохлады и рыбы, осмотрел храм и кладбище, не преминул приглядеть и подходящий сарай для ночлега. Но сначала хотел попытаться





попасть на довольство в пастырский дом. Тучный рыжий пастырь расспросил его, а он, кое-что опустив и кое-что присочинив, рассказал свою жизнь; после этого он был любезно принят и весь вечер провел за добрым ужином с вином в долгих разговорах с хозяином. На другой день он пошел дальше вдоль реки. Видал плывущие плоты и баржи, обгонял повозки, иногда его недалеко подвозили, быстро пролетали весенние дни, переполненные впечатлениями, его принимали в деревнях и маленьких городишках, женщины улыбались у изгороди или, наклонившись к земле, сажали что-то, девушки пели по вечерам на деревенских улочках.

На одной мельнице ему так понравилась молодая работница, что он на два дня задержался, обхаживая ее, она смеялась и охотно болтала с ним, ему казалось, что лучше всего было бы навсегда остаться здесь. Он сидел с рыбаками, помогал возничим кормить и чистить лошадей, получая за это хлеб и мясо и разрешение ехать вместе. После долгого одиночества это постоянное общение в пути, после долгих тягостных размышлений веселые разговоры с довольными людьми, после долгого недоедания ежедневная сытость — все это благотворно действовало на него, он охотно отдавался счастливой волне. Она несла его с собой, и чем ближе он подходил к городу, тем многолюдней и веселее становилась дорога.

В одной деревне он шел как-то уже в сумерках, прогуливаясь вдоль реки под деревьями, уже покрытыми листвой. Спокойно и величаво катилась река, у корней деревьев плескалось, вздыхая, течение, под холмом всходила луна, бросая свет на реку и погружая в тень деревья. Тут он увидел девушку, она сидела и плакала, повздорив с любимым, теперь вот он ушел, оставив ее



одну. Гольдмунд подсел к ней и, выслушивая жалобы, гладил ее по руке, рассказывал про лес и про ланей, утешил ее немного, немного посмешил, и она позволила себя поцеловать. Но тут за ней явился ее возлюбленный; он успокоился и сожалел о ссоре. Увидев Гольдмунда возле нее, он кинулся на того с кулаками, Гольдмунду с трудом удалось отбиться, с проклятиями парень побежал в деревню, девушка давно убежала. Гольдмунд же, не доверяя миру, оставил свое убежище и полночи шел дальше в лунном сиянии через серебряный безмолвный мир, очень довольный, радуясь своим сильным ногам, пока роса не смыла белую пыль с его башмаков. Почувствовав наконец усталость, он лег под ближайшим деревом и уснул. Давно уже был день, когда его разбудило щекотание по лицу; еще сонный, он отмахнулся и, шлепнув себя рукой, заснул опять, но вскоре был разбужен опять тем же щекотанием; перед ним стояла крестьянская девушка, смотрела на него и щекотала концом ивового прутика. Он поднялся, шатаясь, с улыбкой они кивнули друг другу, и она отвела его в сарай, где было лучше спать. Они поспали какое-то время там друг возле друга, потом она убежала и вернулась с ведерком еще теплого коровьего молока. Он подарил ей голубую ленту для волос, которую недавно нашел на улице и спрятал у себя, они поцеловались еще раз, прежде чем он пошел дальше. Ее звали Франциска, ему было жаль расставаться с ней.



Вечером того же дня он нашел приют в монастыре, утром был на мессе; причудливой волной прокатились в его душе тысячи воспоминаний: трогательно, по-родному пахнуло на него прохладным воздухом каменного свода: послышалось постукивание сандалий о каменные



плиты переходов. Когда месса кончилась и в церкви стало тихо, Гольдмунд все еще стоял на коленях, его сердце было странно взволновано, ночью ему снилось много снов. У него появилось желание как-то избавиться от впечатлений прошлого, как-то переменить жизнь, он не знал почему, возможно, то было лишь напоминание о Мариабронне и его благочестивой юности, так тронувшее его. Он почувствовал необходимость исповедаться и очиститься; во многих мелких грехах, во многих мелких провинностях нужно было покаяться, но тяжелее всего давила вина за смерть Виктора, который умер от его руки. Он нашел патера, которому исповедался о том о сем, но особенно об ударах ножом в горло и спину бедного Виктора. О, как же давно он не исповедовался! Количество и тяжесть его грехов казались ему значительными, он готов был прилежно искупить их. Но исповедник, казалось, знал жизнь странствующих, он не ужаснулся, спокойно выслушав, серьезно, но дружелюбно пожурил и предостерег без особых осуждений.

Облегченно поднялся Гольдмунд, помолился по предписанию патера у алтаря и собирался уже выйти из церкви, когда солнечный луч проник через одно из окон, он последовал за ним взглядом и увидел в боковом приделе стоящую фигуру, она так много говорила его сердцу, так влекла к себе, что он повернулся к ней любящим взглядом и рассматривал, полный благоговения и глубокого волнения. Это была Божья Матерь из дерева, она стояла, так нежно и кротко склонившись. И как ниспадал голубой плащ с ее узких плеч, и как была протянута нежная девичья рука, и как смотрели над скорбным ртом глаза и высылся прелестный выпуклый лоб — все было так живо, так прекрасно и искренне воодушевленно, что ему



казалось, он никогда такого не видел. Этот рот, это милое естественное движение шеи, он смотрел и не мог наглядеться. Как будто перед ним стояло то, что он часто и уже давно видел в грезах и предчувствовал, к чему нередко стремился в тоске. Несколько раз порывался он уйти, и его опять тянуло обратно.

Когда он наконец собрался уходить, позади остановился патер, который его исповедовал:

— По-твоему, она красива? — спросил он дружески.

— Несказанно красива, — ответил Гольдмунд.

— Кое-кто тоже так говорит, — сказал священник. —

А вот другие говорят, что это не настоящая Божья Мать, что сделана слишком по новой моде и в ней много мирского и все преувеличено и не по правде. Об этом, слышно, много споров. А тебе она, стало быть, нравится, это меня радует. Она стоит в нашей церкви с год, ее пожертвовал нам покровитель нашего монастыря. А сделал мастер Никлаус.

— Мастер Никлаус? Кто это, откуда он? Вы его знаете? О, пожалуйста, расскажите мне о нем! Он, должно быть, замечательно одаренный человек, если сумел сделать такое.

— Я не много знаю о нем. Он — резчик по дереву в нашем епархиальном городе, день пути отсюда, как художник он пользуется большой славой. Художники, как правило, не бывают святыми, вот и он такой же, но, конечно, одаренный и благородный человек. Видел я его иногда...

— О, Вы его видели? Как же он выглядит?

— Сын мой, ты, кажется, прямо-таки очарован им. Ну так найди его и передай привет от патера Бонифация.





Гольдмунд был безмерно благодарен. Улыбаясь, пастер ушел, а он еще долго стоял перед таинственной фигурой, грудь которой, казалось, дышала, а в лице было столько печали и очарования одновременно, что у него сжималось сердце.

Преображенным вышел Гольдмунд из церкви, по совершенно изменившемуся миру шагал он теперь. С того момента, как стоял он перед дивной святой фигурой из дерева, Гольдмунд приобрел то, чего у него никогда не было, над чем он часто посмеивался или чему завидовал, — цель! У него была цель, и, возможно, он ее достигнет, и, может, тогда вся его беспутная жизнь приобретет высокий смысл и значение. Радостью и трепетом было пронизано это новое чувство, окрыляя его. Эта прекрасная, веселая дорога, по которой он шел, была не только тем, чем была еще вчера — местом праздничных гуляний и приятного времяпрепровождения, она была также дорогой в город, дорогой к мастеру. Он шел с нетерпением. Еще до наступления вечера прибыл на место, увидел за стенами возвышающиеся башни, на воротах высеченные гербы и нарисованные щиты, прошел через них с бьющимся сердцем, едва обращая внимание на шум и радостное уличное оживление, на рыцарей верхом, на повозки и кареты. Не рыцари и кареты, не город и епископ были важны для него. У первого человека за воротами он спросил, где живет мастер Николаус, и был неприятно разочарован, что тот ничего не знал о нем.

Он прошел на площадь, окруженную внушительными домами, многие были украшены росписью или скульптурами. Над дверью одного дома красовалась большая фигура ландскнехта, ярко и весело раскрашенная. Она



была не так хороша, как фигура в монастырской церкви, но воин стоял с таким видом, выгнув икры ног и выставив бородатый подбородок, что Гольдмунд подумал, что и эта фигура могла бы быть сделана тем же мастером. Он вошел в дом, постучал в двери, поднялся по лестнице, наконец, встретил господина в бархатном камзоле, отороченном мехом, его он спросил, где ему найти мастера Никлауса. Что ему нужно от него, спросил господин в ответ, и Гольдмунд, с трудом овладев собой, сказал, что у него есть поручение к нему. Господин назвал улицу, где жил мастер, и пока Гольдмунд, спрашивая, добрался до нее, настала ночь. Измученный, но счастливый, стоял он перед домом мастера, посмотрел вверх на окна и хотел было войти, но спохватился, что уже поздно, да и он потный и пыльный с дороги, заставил себя потерпеть. Но он еще долго стоял перед домом. Одно окно светилось, и как раз когда он собрался уходить, то увидел, как к окну подошла красивая белокурая девушка, сквозь волосы которой просвечивал нежный свет лампы.

Наутро, когда город проснулся и опять зашумел, Гольдмунд, заночевавший в монастыре, вымыл лицо и руки, выбил пыль из платья и башмаков, разыскал тот переулок и постучал в ворота дома. Вышла прислуга, она не хотела вести его сразу к мастеру, но ему удалось уговорить старую женщину, и та провела его в дом. В небольшой зале, которая была мастерской, в рабочем фартуке стоял мастер, крупный бородатый человек лет сорока или пятидесяти, как показалось Гольдмунду. Он посмотрел на незнакомца светло-голубыми острыми глазами и спросил коротко, что ему нужно. Гольдмунд передал привет от патера Бонифация.





— Это все?

— Мастер, — сказал Гольдмунд со стесненным дыханием, — я видел вашу Божью Матерь в монастыре. Ах, не смотрите на меня так недружелюбно, меня привели к вам только любовь и почтение. Я не из пугливых, я уже давно странствую, знаю, что такое лес, и снег, и голод. Нет человека, перед которым я испытывал бы страх. Но перед вами я его испытываю. О, у меня есть одно-единственное большое желание, которым до боли полнится мое сердце.

— Что же это за желание?

— Я хотел бы стать вашим учеником и поучиться у вас.

— Ты не единственный молодой человек, кто имеет это желание. Но я не терплю учеников, а двое помощников у меня уже есть. Откуда ты идешь и кто твои родители?

— У меня нет родителей, у меня нет дома. Я был учеником в монастыре, учил там латынь и греческий, потом убежал оттуда и странствовал несколько лет до сегодняшнего дня.

— А почему ты решил, что должен стать резчиком по дереву? Ты уже пробовал что-нибудь в этом роде? У тебя есть рисунки?

— Я сделал много рисунков, но у меня нет их. А почему я хочу учиться у вас, я могу вам сказать. Я много размышлял, видел много лиц и фигур и много думал о них, и некоторые из этих мыслей все время мучают меня и не дают мне покоя. Я заметил, что в одной фигуре всюду повторяется определенная форма, определенная линия, что лоб соответствует колену, плечо — лодыжке, и все это тесно связано с сутью и душой человека,



который имеет именно такое колено, такое плечо и лоб. И еще одно я заметил, я увидел это ночью, когда помогал при родах: что самая большая боль и самое высокое наслаждение имеют одинаковое выражение.

Мастер пронизательно смотрел на незнакомца.

— Ты знаешь, что говоришь?

— Да, мастер, это так. Именно это я увидел, к своему величайшему наслаждению и удивлению, в вашей Божьей Матери, поэтому я и пришел. О, в этом прекрасном лице столько страдания, и в то же время это страдание как будто переходит в чистое счастье и улыбку. Когда я это увидел, меня будто обожгло, все мои многолетние мысли и мечты, казалось, подтвердились и стали вдруг нужными, и я сразу понял, что мне делать и куда идти. Дорогой мастер Никлаус, я прошу вас от всего сердца, позвольте мне поучиться у вас!

Никлаус, не становясь более приветливым, внимательно слушал.

— Молодой человек, — сказал он, — ты умеешь удивительно хорошо говорить об искусстве, мне странно, что ты в твои годы так много можешь сказать о наслаждении и страдании. Я бы с удовольствием поболтал с тобой об этих вещах как-нибудь вечером за бокалом вина. Но, видишь ли, приятная беседа друг с другом — это не то же самое, что жить и работать бок о бок в течение нескольких лет. Здесь мастерская, и здесь нужно работать, а не болтать, и здесь в счет идет не то, что ты напридумывал и сумел наговорить, а лишь то, что ты сумел сделать своими руками. Но у тебя это как будто серьезно, поэтому я не выпроваживаю тебя. Посмотрим, что ты можешь. Ты когда-нибудь лепил из глины или из воска.

Гольдмунд сразу вспомнил сон, который видел давным-давно, там он лепил маленькие фигурки из глины,





они еще потом восстали и превратились в великанов. Однако он умолчал об этом и сказал, что никогда не пробовал.

— Хорошо. Тогда нарисуй что-нибудь. Вон стол, видишь, бумага и уголь. Садись и рисуй, не торопись, можешь оставаться здесь до обеда или даже до вечера. Может, тогда видно будет, на что ты годишься. Ну, хватит, достаточно поговорили, я приступаю к своей работе, а ты к своей.

Итак, Гольдмунд сидел за столом на стуле, указанном мастером. С работой не нужно было спешить, сначала он сидел тихо в ожидании, как робкий ученик, с любопытством и любовью уставившись на мастера, который в пол-оборота к нему продолжал работать над небольшой фигурой из глины. Внимательно всматривался он в этого человека. В его строгой и уже немного поседевшей голове, крепких, но благородных и одухотворенных руках мастера было столько чудесной силы. Он выглядел иначе, чем Гольдмунд представлял себе: старше, скромнее, рассудительнее, намного менее располагающим к себе и совсем не счастливым. Его непреклонный остро-испытующий взор был обращен теперь на работу, и Гольдмунд, не стесняясь, разглядывал всю его фигуру. Этот человек, думалось ему, мог бы быть, пожалуй, и ученым, спокойным строгим исследователем, самоотверженно преданным своему делу, которое начали еще его предшественники, а он когда-нибудь передаст своим последователям, делу всей жизни, не имеющему конца, в котором соединялся бы увлеченный труд и преданность многих поколений. Так рассуждал он, глядя на голову мастера, ему виделось тут много терпения, много умения и раздумий, много скромности и знания о сомни-



тельной ценности всех трудов человеческих, но и веры в свою задачу. Иным был язык его рук, между ними и головой было некое противоречие. Эти руки брали крепкими, но очень чувствительными пальцами глину, из которой лепили, они обходились с глиной так же, как руки любящего с отдавшейся возлюбленной: влюбленно, с нежной чуткостью, страстно, но без различия принятия и отдачи, сладострастно и свято одновременно, уверенно и мастерски, как бы пользуясь глубоко древним опытом. С восторгом и восхищением смотрел Гольдмунд на эти одаренные руки. Он с удовольствием нарисовал бы мастера, если бы не противоречие между лицом и руками, оно мешало ему.

Просидев целый час возле погруженного в работу мастера в поисках тайны этого человека, он почувствовал, что внутри его начинает проступать другой образ, вырисовываясь в его душе, образ человека, которого он знал лучше всех, которого очень любил и которым искренне восхищался; и этот образ был без изъянов и противоречий, хотя полон разнообразных черт и напоминавший о многочисленных спорах. Это был образ его друга Нарцисса. Все теснее соединялся он в целое, все яснее проступал внутренний закон любимого человека в его образе, одухотворенная форма благородной головы, строго очерченный, прекрасный и спокойный рот и немного печальные глаза, худые, но стойкие в борьбе за духовность плечи, длинная шея, нежные, благородные руки. Никогда еще с тех пор, как простился с ним в монастыре, он не чувствовал в себе столь ясно образ друга.

Как во сне, безмолвно, но с необходимой готовностью Гольдмунд осторожно начал рисовать, благоговейно переводя на бумагу любящей рукой образ, что был у него





в сердце, забыв мастера, самого себя и место, где находился. Он не видел, как в зале медленно менялось освещение, не замечал, что мастер несколько раз посмотрел в его сторону. Как бы священнодействуя, выполнял он задачу, вставшую перед ним, поставленную его сердцем: возвысить образ друга и запечатлеть его таким, каким он жил в его душе. Не раздумывая об этом, он принял свое дело как исполнение долга, благодарности.

Никлаус подошел к столу и сказал: «Полдень, я иду обедать, ты можешь пойти со мной. Покажи-ка, ты что-то рисовал?»

Он встал за Гольдмундом и посмотрел на большой лист, потом, отстранив его, взял лист в свои ловкие руки. Гольдмунд проснулся от своих грез и в робком ожидании смотрел на мастера. Тот стоял, держа рисунок обеими руками, и очень внимательно рассматривал его своим острым взглядом бледно-голубых глаз.

— Кто это? — спросил Никлаус через некоторое время.

— Мой друг, молодой монах и ученый.

— Хорошо. Вымой руки, вода во дворе. Потом пойдем поедим. Моих помощников нет, они работают в другом месте.

Гольдмунд послушно вышел, нашел двор и воду, вымыл руки; он много бы отдал, чтобы знать мысли мастера. Когда он вернулся, тот вышел, слышно было, что он в соседней комнате; когда он появился, тоже умывшийся, вместо фартука на нем был прекрасный суконный сюртук, в котором он выглядел статным и торжественным. Он пошел впереди вверх по лестнице, на столбах перил которой из орехового дерева были вырезаны головы ангелов, через переднюю, заставленную старыми и



новыми фигурами, в красивую комнату, пол, стены и потолок которой были из дерева твердой породы, а в углу у окна стоял накрытый стол. В комнату быстро вошла девушка, в которой Гольдмунд узнал ту красивую девушку, что видел вчера вечером.

— Лизбет, — сказал мастер, — принеси-ка еще один прибор, у меня гость. Это — да, я ведь еще не знаю твоего имени.

Гольдмунд назвал себя.

— Так, Гольдмунд. Можно и поесть.

— Сию минуту, отец.

Она достала тарелку, выбежала и вернулась со служанкой, которая несла обед: свинину, чечевицу и белый хлеб. Во время еды отец говорил с девушкой о том о сем, Гольдмунд сидел молча, поел немного и почувствовал себя неуверенно и удрученно. Девушка ему очень понравилась, статная красивая фигура, высокая, почти с отца, она сидела чопорно и совершенно неприступно, как будто под стеклом, не обращаясь к незнакомцу ни словом, ни взглядом.

Когда поели, мастер сказал: «Я хочу еще отдохнуть с полчаса. Пойди в мастерскую или погуляй во дворе пока, потом поговорим о деле».

Поблагодарив, Гольдмунд вышел. Больше часа прошло с тех пор, как мастер увидел его рисунок и не сказал ни слова. А теперь еще полчаса ждать! Но ничего не поделаешь, он ждал. В мастерскую он не пошел, ему не хотелось опять видеть рисунок. Он пошел во двор, сел у воды и смотрел, как струя, непрерывно вытекавшая из желоба, падала в глубокую каменную чашу, поднимая при этом маленькие волны, каждый раз забирая с собой в глубину немного воздуха, и вырывалась назад белыми





жемчужинами. В темном зеркале воды он увидел себя и подумал, это давно уже не тот Гольдмунд, который был в монастыре, или жил у Лидии, и даже не тот, что бродил по лесам. Ему подумалось, что каждый человек движется дальше и постоянно меняется и наконец распадается, в то время, как запечатленный художником образ его остается навсегда неизменным.

Может быть, думал он, корень всех искусств и, пожалуй, всего духовного в страхе перед смертью. Мы боимся ее, мы трепещем перед тленом, с грустью смотрим, как вянут цветы и падают листья, и чувствуем в собственном сердце непреложность того, что и мы тленны и скоро увянем. Когда же, будучи художниками, мы создаем образы или, будучи мыслителями, ищем законы и формулируем мысли, то делаем это, чтобы хоть что-то спасти от великой пляски смерти, хоть что-то оставить, что просуществует дольше, чем мы сами. Женщина, с которой мастер сделал свою прекрасную Мадонну, возможно, уже давно увяла или умерла, а скоро и он сам умрет, другие будут жить в его доме, есть за его столом, но произведение его останется, в тихой монастырской церкви будет стоять оно еще сотни лет и дольше и навсегда останется прекрасным, и будет все так же улыбаться, как бы расцветая и грустя.

Он услышал, как мастер спускается по лестнице, и бросился вперед. Мастер прошелся взад и вперед, несколько раз взглянул на рисунок Гольдмунда, наконец остановился у окна и сказал в своей медлительной и несколько сухой манере: «Порядок у нас такой, ученик учится самое малое четыре года, и за это его отец платит мастеру».

Так как он замолчал, Гольдмунд подумал, что мастер боится остаться без денег на учебу. Он тут же достал из кармана нож, надрезал шов, где хранился дукат, и



вынул его. Никлаус удивленно смотрел на него и засмеялся, когда Гольдмунд протянул ему золотой.

— Ах вот что ты подумал? — смеялся он. — Нет, молодой человек, оставь свой золотой при себе. Слушай. Я сказал тебе, как обычно обучают учеников в нашем цехе. Но я не обычный мастер, а ты не обычный ученик. Обычный начинает учебу с тринадцати-четырнадцати лет, самое позднее — пятнадцати лет и половину учебного времени должен делать подсобную работу и быть на побегушках. Ты же взрослый человек и по возрасту мог бы быть уже подмастерьем, а то и мастером. Ученика с бородой в нашем цехе еще никогда не видали. Я уже сказал тебе, что не хочу держать в доме ученика. Да ты и не похож на того, кому приказывают и посылают туда-сюда.

Нетерпение Гольдмунда достигло предела, каждое рассудительное слово мастера было мучительным для него и казалось отвратительно скучным и педантичным. Он запальчиво воскликнул: «Зачем вы говорите мне все это, если не собираетесь брать в ученики?»

Мастер продолжал непоколебимо в той же манере:

— Я целый час думал о твоём деле, теперь имей терпение и ты выслушай меня. Я видел твой рисунок. В нем есть ошибки, и все-таки он прекрасен. Если бы он не был таковым, я подарил бы тебе полгульдена и расстался бы с тобой навсегда. Больше о рисунке я говорить не буду. Я хотел бы помочь тебе стать художником, возможно, ты к этому предназначен. Но учеником ты стать не можешь. А кто не был учеником, тот не может в нашей гильдии стать подмастерьем или мастером. Это я говорю тебе заранее. Но ты можешь сделать попытку. Если сумеешь на какое-то время остаться в городе, можешь приходить ко мне и кое-чему поучиться. Сделаем





это без обязательств и договоров, ты сможешь уйти в любое время. Возможно, сломаешь мне пару резцов и испортишь пару деревянных болванок, и, если окажется, что ты не резчик по дереву, займешься чем-нибудь другим. Теперь ты доволен?

Пристыженный и тронутый, Гольдмунд слушал.

— Благодарю вас от всего сердца, — воскликнул он. — Я — бездомный и сумею прожить здесь, в городе, как раньше в лесах. Я понимаю, что вы не хотите брать на себя ответственность и заботу обо мне как ученике. Я почту за счастье учиться у вас. От всей души благодарю вас, за то, что вы приняли во мне участие.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Новые картины окружали Гольдмунда здесь, в городе, и новая жизнь началась для него. Так же как эта страна и город приняли его, маня весельем и пышностью, так и он принял эту новую жизнь с радостью и надеждой. Если печаль и оставалась на дне его души неприкосновенной, то на поверхности жизнь играла для него всеми красками. Это было самое радостное и самое беззаботное время, начавшееся в жизни Гольдмунда. Богатый город встретил его разными искусствами, женщинами, приятными играми и картинами; его проснувшаяся тяга к искусству дарила ему новые ощущения и опыт. С помощью мастера он нашел приют в доме позолотчика у рыбного рынка и учился у обоих искусству работать с деревом и гипсом, красками и золотой фольгой.

Гольдмунд не относился к тем несчастным художникам, которые, будучи одаренными, не умели найти пра-



вильные средства для своего выражения. Ведь есть немало таких людей, которым дано глубоко понимать красоту мира и носить в душе высокие, благородные образы, но которые не находят пути вернуть эти образы обратно в мир, сообщить и отдать их на радость другим. Гольдмунд не страдал этим недостатком. Он легко и весело работал руками, учился приемам и навыкам ремесла, с такой же легкостью на досуге научился у товарища играть на лютне, а на воскресных танцах в деревне — танцевать. Учеба шла легко, как будто сама по себе. Правда, чтобы овладеть резьбой по дереву, ему пришлось изрядно потрудиться, он загубил не один кусок дерева и не раз попадал себе резцом по пальцам. Но он быстро прошел азы и приобрел легкость. Однако мастер частенько бывал недоволен им и говорил примерно так: «Хорошо, что ты не мой ученик или подмастерье, Гольдмунд. Хорошо, что мы знаем, что ты пришел с большой дороги из лесов и когда-нибудь вернешься туда опять. Кто не знает, что ты не гражданин и не ремесленник, а бездомный гуляка, то мог бы легко поддаться искушению и потребовать от тебя того и сего, что требует любой мастер от своих людей. Ты прекрасный работник, когда в настроении. Но на прошлой неделе ты бездельничал два дня. Вчера ты должен был отполировать двух ангелов в придворной мастерской, а ты проспал там полдня».

Он был прав в своих упреках, и Гольдмунд выслушивал их молча, не оправдываясь. Он и сам знал, что ненадежен и не очень прилежен. Пока работа его привлекала, ставила перед ним трудные задачи или радовала сознанием своего умения, он был ревностным работником. Тяжелую ручную работу он делал неохотно, работы нетрудные, но требующие времени и старания, каких





много в ремесле и делаться они должны добросовестно и терпеливо, были ему подчас совершенно несносны. Он часто удивлялся сам себе из-за этого. Неужели нескольких лет странствий было достаточно, чтобы сделать его ленивым и ненадежным? Уж не наследство ли это от матери, которое росло и взяло верх в нем? Или все-таки в чем-то была ошибка? Он прекрасно помнил свои первые годы в монастыре, где хорошо и прилежно учился. Почему тогда у него было столько терпения, а теперь нет, почему тогда он мог неустанно заниматься латинским синтаксисом и учить все эти греческие повествовательные временные формы «неопределенного» законченного прошедшего, которые в глубине души были ему совсем неважны? Он не раз задумывался об этом. То была любовь, это она закаляла и окрыляла его; учеба его была не чем иным, как постоянным желанием нравиться Нарциссу, а его любовь можно было завоевать, только привлекая к себе внимание и завоевывая одобрение. Тогда за один лишь одобрительный взгляд любимого учителя он мог стараться часами и днями. Потом цель была достигнута, Нарцисс стал его другом, и, как ни странно, именно ученый Нарцисс показал ему непригодность к учености и заставил вспомнить утраченный образ матери. Вместо учености, монашеской жизни и добродетели его существом овладели многие первобытные влечения: пол, женская любовь, стремление к независимости, бродяжничество. Но вот он увидел фигуру Марии мастера, открыл в себе художника, вступил на новый путь и перестал скитаться. А теперь что? Куда ведет его этот путь? Что мешает ему?

Он не мог сначала понять. Видел только одно: восхищаясь мастером Никлаусом, он ни в коей мере не любит



его, как любил когда-то Нарцисса, иногда ему даже доставляет удовольствие разочаровывать его и сердить. Это было связано, так ему казалось, с двойственной сущностью мастера. Фигуры, сделанные рукой Никлауса, во всяком случае лучшие из них, Гольдмунд почитал за образцы, но сам мастер не был для него таковым.

Рядом с художником, сделавшим Божью Матерь, такую скорбную и такую прекрасную, рядом с ясновидящим, руки которого умели чудесным образом воплощать в фигуры глубокий опыт и понимание, в мастере Никлаусе жил второй: довольно строгий, педантичный хозяин дома и цеховой мастер, вдовец, ведущий в своем тихом доме, имея дочь и некрасивую служанку, покойную и несколько ханжескую жизнь, человек, решительно противившийся сильным влечениям Гольдмунда, довольствовавшийся тихой, размеренной, очень упорядоченной и благопристойной жизнью.

Хотя Гольдмунд уважал своего мастера, хотя он никогда не позволял себе спрашивать других о нем или высказываться перед другими по поводу него, через год он уже знал все до мелочей, что только можно было знать о Никлаусе. Этот мастер был важен для него, он любил его и в то же время ненавидел, он не давал ему покоя, и так ученик, движимый любовью и недоверием, ослабевающим любопытством, проник во все тайники его характера и жизни. Он видел, что у Никлауса не было в доме ни учеников, ни подмастерьев, хотя места было достаточно. Он видел, что тот крайне редко к кому-нибудь ходил и так же редко приглашал гостей к себе. Он видел, как тот трогательно и ревниво любил свою красивую дочь и старался спрятать ее от любого. Он знал также, что за строгий и преждевременной воздержан-





ностью вдовца играли живые силы, так что иногда, получив заказ в другом месте, он за несколько дней путешествия мог удивительным образом помолодеть и измениться. А однажды он заметил, как в одном незнакомом городке, где они ставили резную церковную кафедру, Никлаус вечером тайком отправился к продажной женщине и после этого целый день пребывал в беспокойстве и дурном настроении.

Со временем, кроме любопытства, появилось еще кое-что другое, что удерживало Гольдмунда в доме мастера и занимало его. Это была прекрасная дочь мастера, Лизбет, которая очень нравилась ему. Он редко видел ее, она никогда не заходила в мастерскую, и он не мог определить, была ли ее холодность и боязнь мужчин навязана ей отцом или соответствовала и ее натуре. То, что мастер никогда не приглашал его больше к столу и всячески затруднял его встречу с ней, нельзя было не заметить. Лизбет хранили как драгоценность, он это видел, и на любовь без замужества не было никакой надежды; да и тот, кто захотел бы жениться на ней, должен был быть хорошего происхождения и членом одного из процветающих цехов, по возможности иметь деньги и дом.

Красота Лизбет, столь отличная от красоты бродячих женщин и крестьянок, пленила взор Гольдмунда уже с того первого дня. В ней было что-то, что оставалось ему неизвестно, нечто особенное, очень сильно привлекавшее его и одновременно настораживающее, даже сердившее: необыкновенное спокойствие и невинность, воспитанность и чистота и вместе с тем отсутствие всякой детскости, а за всем благонаравием скрытая холодность, высокомерие, так что ее невинность не трогала и не обезоруживала (да он никогда и не смог бы совратить дитя), а раздражала



и бросала вызов. Едва он немного понял внутренний смысл ее образа, ему захотелось сделать с нее фигуру, но не с такой, какой она была теперь, а с пробудившейся, с чертами чувственности и страдания, не просто девственницу, а Магдалину. Часто ему страстно хотелось увидеть ее спокойное, красивое и неподвижное лицо искаженным и раскрывшимся, выдавшим свою тайну в наслаждении или в страдании.

Кроме того, было еще одно лицо, жившее в его душе и все же не совсем принадлежащее ему, которое он страстно желал удержать, художественно изобразив, но оно все время ускользало и пряталось от него. Это было лицо матери. Это лицо уже давно было не тем, вновь явившимся ему когда-то после разговоров с Нарциссом из утраченных глубинных воспоминаний. В дни скитаний, ночей любви, во времена страстного томления, опасностей для жизни и близости смерти образ матери постепенно преобразовался, обогащался, становясь все глубже и многограннее: это был уже образ не его собственной матери, но из ее черт и красок мало-помалу получался образ не личной матери, а Евы, праматери человечества. Подобно тому как мастер Шиклаус в некоторых мадоннах изобразил скорбящую Богоматерь с совершенством и силой, которые казались Гольдмунду непревзойденными, он надеялся и сам когда-нибудь, став более зрелым и умелым, создать образ той мирской матери Евы, что жил в его сердце, как самая древняя и самая любимая святыня. Но этот внутренний образ, когда-то лишь образ-воспоминание о его собственной матери и любви к ней, постоянно менялся и разрастался. Черты цыганки Лизе, черты дочери рыцаря Лидии и некоторых других женских лиц вливались в этот первоначальный образ, не толь-





ко все лица любимых женщин творили его, любое потрясение, любой опыт и всякое переживание участвовали в его формировании и прибавляли ему какие-то черты. Потому что ведь этот образ, если бы ему впоследствии удалось воплотить его, должен был изображать не какую-то определенную женщину, но саму жизнь как праматерь. Часто, казалось, он видел ее, иногда она являлась ему во сне. Но об этом лице Евы и том, что оно должно было выразить, он не мог сказать ничего, кроме того, что оно должно показать наслаждение жизнью в его внутреннем родстве с болью и смертью.

За год Гольдмунд многому научился. В рисунке он быстро обрел уверенность, и наряду с резьбой по дереву Никлаус время от времени позволял ему пробовать лепить из глины. Его первой удачей была фигура очаровательной, соблазнительной Юлии, сестры Лидии. Мастер похвалил эту работу, но выполнить желание Гольдмунда и отлить ее из металла отказался; для него фигура была слишком нецеломудренной и мирской, чтобы быть ее «крестным отцом». Затем последовала фигура Нарцисса, Гольдмунд делал ее из дерева в виде апостола Иоанна, потому что Никлаус хотел включить ее, если она удастся, в группу у креста Господня, заказанную ему, над ней уже давно работали два подмастерья, чтобы затем отдать мастеру для окончательной отделки.

Над фигурой Нарцисса он работал с глубокой любовью, вновь обретая себя в этой работе, свой артистизм и свою душу, всякий раз после того, как выбивался из колеи, а случалось это нередко; любовные связи, праздники с танцами, товарищеские попойки, игра в кости, а зачастую и потасовки сильно увлекали его, так что он днями не показывался в мастерской или работал смятен-



ный и расстроенный. Но над своим апостолом Иоанном, любимый образ которого все чаще из замысла воплощался в дерево, он работал только в часы согласия с собой, самоотверженно и смиренно. В эти часы он был ни радостен, ни печален, не чувствуя ни жизнелюбия, ни тлена; к нему возвращалось то благоговейное, ясное и чисто звучащее настроение сердца, с которым он некогда отдавался другу и был рад его руководительству. То был не он, стоявший здесь и создававший по собственной воле скульптуру, то был скорее другой Нарцисс, пользовавшийся его руками художника, чтобы уйти от бренности и изменчивости жизни и запечатлеть чистый образ своей сущности.

Вот так, чувствовал иногда Гольдмунд не без страха, возникали подлинные произведения. Такова была незабываемая Мадонна мастера, на которую с тех пор он иной раз в воскресенье приходил взглянуть в монастырь. Так, таинственно и свято, возникали несколько лучших из тех прежних фигур, стоявших у мастера наверху в прихожей. Так возникнет когда-нибудь то, другое, то единственное, что было для него еще более таинственно и свято — изображение праматери человечества. Ах, если бы из рук человеческих выходили только такие произведения искусства, такие святые, непреложные, не запятнанные никаким тщеславным стремлением изображения! Однако это было не так, он давно знал это. Можно было делать и другое, прелестные и восхитительные вещи, исполненные мастерства, на радость ценителям искусств, украшавшие храмы и ратуши, — прекрасные вещи, да, но не святые, не подлинные отражения души. Он знал такие произведения не только у Никлауса и других мастеров, которые при всей изобретательности и тщательности исполнения





были все-таки всего лишь забавой. Он познал, к своему стыду и на свою печаль, уже и сердцем, ощутил собственными руками, как может художник давать миру такие прелестные вещи, исходя из наслаждения собственным умением, из честолюбия, баловства.

Когда он в первый раз осознал это, ему стало смертельно горестно. Ах, чтобы делать милые фигурки ангелов или другие пустяки, будь они даже столь прелестны, не стоило быть художником. Для других, возможно, для ремесленников, для горожан, для спокойных, довольных душ это, пожалуй, подходило, но не для него. Для него искусство и художественность ничего не стоили, если они не жгли, как солнце, и не захватывали подобно буре, а доставляли лишь удовольствие, приятность, мелкое счастье. Он искал другого. Позолотить чистым листовым золотом вырезанный, подобно изящному кружеву, венчик на голове Марии была работа не для него, даже если за нее хорошо платили. Почему мастер Никлаус брался за все эти заказы? Почему держал двух подмастерьев? Почему он часами выслушивал с аршином в руках всех этих членов муниципалитета или благочинных, заказывавших ему отделать портал или церковную кафедру? Он делал это по двум причинам, двум ничтожным причинам: ему хотелось быть прославленным мастером, заваленным заказами, и он копил деньги, деньги не для расширения предприятия или удовольствия от их траты, а деньги для своей дочери, которая давно уже была богатой невестой, деньги для ее приданого, кружевных воротников и парчовых платьев и брачной кровати орехового дерева, полной дорогих покрывал и полотна! Как будто красивая девушка не могла с таким же успехом познать любовь на любом сеновале!



В часы таких рассуждений в Гольдмунде из глубин поднималась материнская кровь, гордость и презрение бесприютного по отношению к оседлым и имущим. Временами ремесленничество и мастер были противны ему, как пресные бобы. Часто он бывал близок к тому, чтобы убежать прочь.

Да и мастер уже не раз горько раскаивался в том, что принял участие в этом строптивом и ненадежном малом, частенько испытывавшем его терпение. То, что он узнал о странствиях Гольдмунда, о его равнодушии к деньгам и имуществу, его страсти к расточительству, его многочисленных любовных похождениях, не могло расположить его; он взял к себе цыгана, ненадежного товарища. Не осталось незамеченным и то, какими глазами этот бродяга смотрел на его дочь Лизбет. И если он и проявлял больше терпения, чем ему хотелось бы, то делал это не из чувства долга и робости, а из-за апостола Иоанна, фигура которого рождалась у него на глазах. С чувством любви и душевного родства, в котором он не вполне признавался себе, мастер наблюдал, как этот приبلудший из лесов цыган из рисунка, ради которого он когда-то оставил его у себя, рисунка трогательного и прелестного, хотя и неумелого, теперь медленно и только по настроению, но упорно и безупречно делал из дерева свою фигуру апостола. Когда-нибудь, в этом мастер не сомневался, она будет готова, несмотря на все настроения и перерывы, и тогда это будет произведение, на которое неспособен ни один из его подмастерьев, да и большим мастерам не часто удается. Хотя многое не нравилось мастеру в его ученике, хотя не раз порицал он его, часто доходя из-за него до бешенства, — об Иоанне он никогда не говорил ни слова.





Остаток юношеской прелести и мальчишеской детскости, из-за которых Гольдмунд столь многим нравился, за эти годы постепенно утратился. Он стал красивым мужчиной, весьма желанным для женщин, мало располагавшим к себе мужчин. Да и характер, его внутренний мир очень изменились с тех пор, как Нарцисс пробудил его от блаженного сна во время пребывания в монастыре, с тех пор, как мир и странствия помяли его. Из прелестного, всеми любимого, кроткого и услужливого монастырского ученика он давно стал другим человеком. Нарцисс его пробудил, женщины сделали знатоком, странствия закалили. Друзей у него не было, сердце его принадлежало женщинам. Эти завоевывали его, достаточно было просящего взгляда. Он с трудом мог противиться женщине, отзываясь на малейший намек. И он, так тонко чувствовавший красоту и всегда любивший больше всего молодых девушек в пору расцвета, он же соблазнялся подчас и мало привлекательными и уже немолодыми женщинами. Иной раз на танцах он привязывался к какой-нибудь стареющей и унылой девице, никому не желанной и привлекавшей его из чувства сострадания, и не только сострадания, но и вечно присутствовавшей жажды нового. Как только он начинал увлекаться какой-нибудь женщиной — длись это недели или всего час, — она становилась для него прекрасной, он отдавался ей целиком. И опыт научил его, что любая женщина прекрасна, может сделать счастливым, что невзрачная и пренебрегаемая другими способна на необыкновенный пыл и самоотдачу, а увядающая — больше на материнскую печально-сладостную нежность, что у каждой женщины есть своя тайна и свое очарование, раскрывать которые — блаженство. В этом все женщины были равны. Любой



недостаток в возрасте или красоте уравновешивался какой-нибудь особенностью. Только, разумеется, не всякая удерживала его одинаково долго. По отношению к молоденькой и самой красивой он бывал ни на йоту более преисполнен любви и благодарности, чем по отношению к дурнушке, он никогда не любил вполсердца. Но были женщины, которые привязывали его к себе лишь через три или десять любовных ночей, другие же после первого раза исчерпывали себя и бывали забыты.

Любовь и сладострастие казались ему единственными, чем можно согреть жизнь и наполнить значением понастоящему. Он не знал честолюбия, епископ и нищий были равны в его глазах; приобретательство и имущество тоже не привлекали его, он презирал их, он никогда бы не принес им ни малейшей жертвы и беспечно бросался заработанными деньгами, временами немалыми. Любовь женщин, игра полов — это стояло у него на первом месте, и семя нередкой его печали и пресыщенности росло из опыта мимолетности и непостоянства сладострастия. Горячая, быстротечная, восхитительная вспышка любовного наслаждения, его короткое чувственное горение, его быстрое угасание — это, казалось ему, является сутью любовного переживания, стало для него символом всех наслаждений и всех страданий жизни. Печали и созерцанию бренности он мог отдаваться с такой же самоотверженностью, как и любви, и даже эта грусть была любовью, даже она была сладострастием. Как любовное наслаждение через миг своего наивысшего, блаженнейшего напряжения со следующим вздохом, должно непременно исчезнуть и опять умереть, так и самое глубокое одиночество и поглощенность печалью непременно вдруг сменится желанием, новой увлеченностью





светлой стороной жизни. Смерть и наслаждение были одно. Матерью жизни можно было назвать любовь или страсть, но ею можно было назвать также могилу и тлен. Матерью была Ева, она была источником счастья и источником смерти, она вечно рождала, вечно убивала, в ней любовь и жестокость были едины, и ее образ становился для него олицетворением и священным символом, чем дольше он носил его в себе.

Он знал не на словах и в сознании, но более глубоким знанием крови, что его путь ведет к матери, к сладострастию и к смерти. Отцовская сторона жизни, дух, воля не были его стихией. То была область Нарцисса. И только теперь Гольдмунд вполне понял слова друга и увидел в нем свою противоположность, и это он тоже передавал в фигуре своего Иоанна и делал видимым. Можно было тосковать по Нарциссу до слез, можно было чудесно мечтать о нем, но достичь его, стать им было нельзя.

Каким-то скрытым чувством Гольдмунд произвел и тайну своего искусства, своей глубокой любви к искусству, своей подчас дикой ненависти к нему. Без размышлений, чутьем он предугадывал в разнообразных подобию: искусство было слиянием отцовского и материнского начал мира, духа и крови; оно могло начаться в самом что ни на есть чувственном и привести к предельно отвлеченному или, взяв свое начало в чистом мире идей, завершиться в наиболее кровяной плоти. Все произведения искусства, поистине возвышенные, а не просто хорошие поделки, были полны вечной тайны, к примеру, Божья Мать мастера, все истинные и несомненные произведения искусства имели опасное, улыбающееся двойное лицо, женско-мужское, совмещенность инстинктивного с чистой духовностью. Но больше всего эта двой-



ственность проявилась бы в матери, если бы ему когда-нибудь удалось создать ее образ.

В искусстве и в бытии художника виделась Гольдмунду возможность некоего примирения своих глубочайших противоположностей или, по крайней мере, замечательного, всегда нового подобия двойственной своей натуры. Но искусство не было просто чистым даром, им нельзя было обладать безвозмездно, оно стоило очень многого, оно требовало жертв. Более трех лет жертвовал Гольдмунд ему самое высшее и насущнейшее, что ставил наряду с любовным наслаждением: свободой. Независимость, блуждание в безбрежности, вольные странствия без семьи по жизни — все это он отдал. Пусть другие считали его своенравным, строптивым и достаточно самовластным, когда он иной раз в неистовстве пренебрегал работой в мастерской — для него самого эта жизнь была рабством, тяготившим его подчас до невыносимости. И не мастеру должен был он подчиняться, не будущему, не естественным потребностям, а самому искусству. Искусство, такое, казалось бы, духовное божество, требовало столько ничтожных вещей! Оно требовало крышки над головой, для него нужны были инструменты, дерево, глина, краски, золото, оно требовало труда и терпения. Для него он пожертвовал свободой лесов, упоением просторами, терпким наслаждением опасностью, гордостью бедности и должен был приносить все новые жертвы, скрепя сердце и мучаясь.

Какую-то часть пожертвованного он обретал вновь, слегка мстя рабскому порядку и оседлому образу жизни известными похождениями, связанными с любовью, потасовками с соперниками. Вся подавляемая необузданность, вся ущемленная сила его натуры устремлялась,





подобно чаду, к этому вынужденному выходу, он проплыл драчуном, которого все боялись. По пути к какой-нибудь девушке или возвращаясь с танцев, подвергнуться вдруг нападению в темном переулке, получив несколько ударов палкой, молниеносно развернуться и перейти от защиты к нападению, с трудом переводя дыхание, прижать запыхавшегося противника, ударить его кулаком в подбородок, оттащить за волосы или изрядно придушить за шею — это доставляло ему удовольствие и излечивало на какое-то время от темных настроений. Да и женщинам это нравилось.

Все это с избытком заполняло его дни, и все имело смысл, пока длилась работа над апостолом Иоанном. Она тянулась долго, и последняя тонкая отделка лица и рук проходила в торжественной и выдержанной собранности. В небольшом сарае для дров позади мастерской заканчивал он работу. Наступил час, когда фигура была готова. Гольдмунд принес метлу, тщательно подмел сарай, смахнул последнюю деревянную пыль с волос своего Иоанна и долго стоял потом перед ним, час, а то и дольше, полный торжественного чувства редкостного переживания величия, может, оно когда-нибудь повторится в его жизни, а может, и останется единственным. Мужчина в день свадьбы или в день посвящения в рыцари, женщина после рождения первенца, пожалуй, чувствует подобное движение в сердце, высокое предназначение, глубокую серьезность и одновременно уже тайный страх перед моментом, когда это высокое и единственное будет пережито и пройдет, заняв свое место, и поглотится обычным ходом дней.

Он встал, увидел перед собой стоящего друга Нарцисса, руководителя своей юности, с поднятым, как бы прислушивающимся лицом, изображенным в одеянии и с



атрибутами любимого ученика Христа, с выражением покоя, преданности и благоговения, которое было как бы зарождающейся улыбкой. Этому прекрасному, благочестивому и одухотворенному лицу, этой стройной, как бы парящей фигуры, этим изящно и благочестиво поднятым, длинным кистям его рук были не чужды боль и смерть, но им чужды были отчаяние, смятение и протест. Душа за этими благородными чертами могла быть радостной или печальной, но она была настроена чисто, она не страдала разладом.

Гольдмунд стоял и созерцал свое творение. Если поначалу это созерцание было благоговейным воспоминанием о ранней юности и первой дружбе, то закончилось оно бурей забот и тяжелыми думами. Вот здесь стоит его творение, и прекрасный апостол останется, и его нежно-му цветению не будет конца. Он же, кто создал его, должен теперь проститься со своим творением, уже завтра оно не будет больше принадлежать ему, не будет больше для него прибежищем, утешением и смыслом жизни. Он остался опустошенным. И ему показалось, что лучше всего было бы сегодня же проститься не только со своим Иоанном, но и с мастером, с городом и с искусством. Здесь ему больше нечего делать; в его душе не было никаких образов, которые он мог бы воплотить. Тот желанный образ образов, фигура матери человечества, был пока для него недостижим еще долго. Что ж, ему теперь опять полировать фигурки ангелов и делать орнаменты?

Он вскочил и пошел к мастерской мастера. Тихо вошел и остановился у двери, пока Никлаус заметил его и спросил:

— Ну что, Гольдмунд?





— Моя фигура готова. Может быть, вы до обеда пойдете взглянуть на нее.

— Охотно пройду, прямо сейчас.

Вместе они прошли в сарай, оставив дверь открытой, чтобы было светлее. Никлаус давно уже не видел фигуру, предоставив Гольдмунду работать самостоятельно. Теперь он рассматривал ее с молчаливым вниманием, его замкнутое лицо стало прекрасным и просветленным. Гольдмунд видел радость в его строгих голубых глазах.

— Хорошо, — сказал мастер. — Очень хорошо. Это твоя пробная работа на звание подмастерья, Гольдмунд, вот ты и выучился. Я покажу твою фигуру людям нашей гильдии и потребую, чтобы тебе выдали за нее свидетельство о получении звания мастера, ты заслужил его.

Гольдмунд мало придавал значения гильдии, но знал, сколь высокое признание значили слова мастера, и был рад.

Медленно обойдя фигуру Иоанна еще раз, Никлаус сказал со вздохом:

— Эта фигура полна смирения и ясности, она серьезна, полна счастья и покоя. Можно подумать, что ее сделал человек, в чьем сердце светло и радостно.

Гольдмунд улыбнулся.

— Вы знаете, что я изобразил в этой фигуре не себя, а своего любимого друга. Это он привнес ясность и покой в образ, не я. Ведь это, собственно, не я создал образ, а он вложил его в мою душу.

— Пусть так, — сказал Никлаус. — Это тайна, как возникает такой образ. Не принижая себя, скажу однако: я сделал много фигур, которые далеко позади твоей, не по искусству и тщательности, а по истинности. Ну, да ты и сам хорошо знаешь, что такое создание нельзя повторить. Это — тайна.



— Да, — сказал Гольдмунд, — когда фигура была готова и я вгляделся в нее, то подумал: что-нибудь подобное мне не сделать вновь. И поэтому я считаю, мастер, что вскоре отправлюсь опять странствовать. — Удивленно и негодуяще Никлаус взглянул на него, его глаза опять стали строгими.

— Мы еще поговорим об этом. Для тебя работа только начинается, вероятно, теперь не время убежать. Но на сегодня ты свободен, а к обеду будь моим гостем.

К обеду Гольдмунд пришел, причесавшись и умывшись, в воскресном костюме. На этот раз он знал, как много значило и какой редкой милостью было приглашение мастера к столу. Однако, когда он поднимался по лестнице к прихожей, заставленной фигурами, сердце его было далеко не так полно благоговения и смущенной радости, как в тот раз, когда он с бьющимся сердцем переступил порог этих красивых покоев.

Лизбет тоже принарядилась и надела на шею ожерелье с камнями, а к столу, помимо карпа и вина, был приготовлен сюрприз: мастер подарил Гольдмунду кожаный мешочек для денег, в котором лежали два золотых, плата ему за изготовленную фигуру.

На этот раз он не сидел молча во время беседы отца с дочерью. Она обращалась к нему и чокалась с ним бокалами. Гольдмунд усердно работал глазами, желая воспользоваться случаем, чтобы получше разглядеть красивую девушку с благородным и несколько высокомерным лицом, и его глаза не скрывали, как сильно она ему нравилась. Она была вежлива с ним, но не краснела и не становилась теплее, что разочаровало его. Опять ему от души захотелось заставить говорить это прекрасное неподвижное лицо и выдать свою тайну.





Он поблагодарил за обед, побыл немного в прихожей с резными фигурами и пошел бродить по городу, бесцельный и праздный. Он был весьма почтен мастером, сверх всяких ожиданий.

Почему же это не радовало его? Почему во всем этом почтении было так мало праздничности?

Следуя прихоти, он нанял лошадь и поскакал в монастырь, где когда-то впервые увидел творение мастера и услышал его имя. Это было два-три года тому назад и тем не менее так невообразимо давно. Он зашел в монастырскую церковь и долго смотрел на Божью Матерь, и сегодня эта фигура восхитила и покорила его; она была прекраснее Иоанна, она была равна ему по глубине и тайне и превосходила его по искусности, свободному, бесплотному парению. Теперь он заметил в этой работе детали, которые видны лишь художнику: спокойные, мягкие движения одеяния, смелость в изображении длинных кистей рук и пальцев, тонкое использование случайностей в фактуре дерева — все эти красоты хотя не шли в сравнение с целым, с простотой и глубиной духовного видения, однако они тоже были налицо, были прекрасны и под силу лишь одаренному человеку, основательно знавшему толк в ремесле. Чтобы суметь сделать нечто подобное, нужно было носить в душе не только образы, но и иметь наметанный глаз и на редкость набитую руку. Так, может быть, стоило поставить на службу искусству всю свою жизнь за счет свободы, за счет сильных переживаний, только для того, чтобы когда-нибудь создать нечто подобное и возможное не только благодаря пережитому, увиденному, перечувствованному в любви, но и благодаря предельно уверенному мастерству? Это был большой вопрос.



Гольдмунд вернулся в город поздно ночью на загнанной лошади. Трактир еще был открыт, там он поел хлеба и выпил вина, затем поднялся в свою комнату у рыбного рынка, в разладе с собой, полный вопросов, полный сомнений.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

На другой день Гольдмунду не хотелось идти в мастерскую. Как уже бывало не раз в таких случаях, он слонялся по городу. Смотрел, как женщины и служанки идут на рынок, остановился нарочно у рыбного базара, наблюдая за рыботорговцами и их дюжими женами, выставлявшими и расхваливавшими свой товар, как они выгаскивали из своих бочек и предлагали прохладных серебряных рыб, которые с мучительно раскрытыми ртами и застывшими от страха золотыми глазами отдавались смерти или яростно и отчаянно сопротивлялись ей. Как уже не раз, его охватывало сострадание к этим животным и мрачное негодование против людей; почему они были так грубы и жестоки, невероятно глупы и тупы, почему все они ничего не видели, ни рыбаков с их женами, ни торгующихся покупателей, почему не видели этих ртов, этих предсмертно испуганных глаз и дико бившихся хвостов, этой ужасной бесполезной борьбы отчаяния, этого невыносимого превращения полных тайны, дивно прекрасных рыб, содрогавшихся последней тихой дрожью в умирающей коже и лежавших мертвыми, угасшими, распростертыми — жалкими кусками мяса на потребу довольных обжор? Ничего они не видели, эти люди, ничего не знали и не замечали, ничто не трогало их! Все равно, было ли это распростертое перед





ними бедное милое животное или выраженные мастером в лике святого надежды, благородство, страдания и весь темный, душастый страх человеческой жизни — ничего они не видели, ничто не захватывало их! Все они были довольны или заняты, считали это важным, спешили, кричали, смеялись и грубили друг другу, шумели, шутили, вопили из-за пары пфеннигов, и всем было хорошо, все у них было в порядке, и они были в высшей степени довольны собой и окружающим миром. Свиньи были они, ах, много хуже и безобразней свиней! Правда, он сам достаточно часто бывал среди них, чувствовал себя радостным среди им подобных, волочился за девушками, смеялся и без всякого ужаса ел жареную рыбу. Но все снова и снова, часто совершенно неожиданно, как по волшебству, радость и покой оставляли его, это сытое, самодовольное наваждение спало с него, эта самоудовлетворенность, значительность и ленивый покой души, и его срывало прочь, в одиночество и раздумья, в странствия, чтобы видеть страдание, смерть, сомнительность всей этой суеты, чтобы заглянуть в бездну. Иногда затем из такого погружения в созерцание безнадежной бессмысленности и ужаса в нем вдруг расцветала радость, вспыхивала влюбленность, желание спеть прекрасную песню или рисовать, или, вдыхая аромат цветка, играя с котенком, он вновь обретал детское согласие с жизнью. И теперь оно вернулось бы, завтра или послезавтра, мир опять стал бы добрым и прекрасным. Пока же — печаль, раздумья, безнадежная, щемящая любовь к умирающим рыбам, вянущим цветам, ужас перед тупой скотской суетностью глазюющих и ничего не видящих людей. В такие минуты глубокой удрученности ему всегда мучительно вспоминался бродяга Виктор, которому он всадил когда-то нож меж



ребер и оставил окровавленного на еловых ветках, и ему думалось, что, собственно, теперь стало с этим Виктором, съели ли его звери без остатка, осталось ли что от него. Да, остались, пожалуй, кости да горсти две волос. А кости — что стало с ними? Сколько же пройдет времени, десятки лет или только годы, пока они потеряют свою форму и станут землей?

Ах, вот и сегодня, глядя с сожалением на рыб и с отвращением на базарных людей, с сердцем, полным страшного уныния и горькой враждебностью к миру и самому себе, он подумал о Викторе. Может, его нашли и похоронили? И если это произошло — все ли мясо теперь сползло с его костей, все ли сгнило, все ли съели черви? Остались ли волосы на его черепе, бровях и глазницах? А жизнь Виктора, наполненная приключениями и историями и фантастической игрой его диковинных шуток и рассказней, — что осталось от нее? Кроме бесвязных воспоминаний, сохранившихся о нем у его убийцы, осталось ли хоть что-нибудь от существования этого человека, бывшего все-таки не совсем обычным? Видели ли еще в своих снах Виктора женщины, когда-то любимые им? Ах, все прошло и истаяло. И так бывает со всем и вся, быстро расцветает и быстро увядает, покрывшись затем снегом. Каких только надежд не питал он сам, когда несколько лет тому назад пришел в этот город, полный жажды искусства, полный глубокого трепетного почтения к мастеру Никлаусу! А что осталось от этого? Ничего, не больше, чем от долговязого грабителя Виктора. Если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что настанет день, когда Никлаус признает его равным себе и потребует от гильдии звания мастера для него, он бы считал, что держит в руках все счастье мира. А теперь





это не более чем увядший цветок, что-то сухое и безрадостное.

Когда Гольдмунд размышлял об этом, ему вдруг представило видение. Это было трепетное сияние, дивившееся всего мгновение: он увидел лицо праматери, склоненное над бездной жизни, с отрешенной улыбкой, прекрасной и страшной, взиравшей на рождение, смерть, на цветы, шелестящие осенние листья, на искусство, на тлен.

Для нее, праматери, все было равно, надо всем, подобно луне, царила ее жуткая улыбка, пребывающий в унынии Гольдмунд был ей так же люб, как распростертый на мостовой рыбка карп, гордая холодная дева Лизбет так же, как разбросанные в лесу кости Виктора, так хотевшего когда-то украсть его дукат.

Вот вспышка погасла, таинственное лицо матери исчезло. Но бледное его сияние продолжало еще мерцать в душе Гольдмунда, волна жизни, боли, щемящей тоски прокатилась через его сердце. Нет, нет, он не желал сытого счастья других, рыборотговцев, горожан, деловых людей. Черт бы их побрал. Ах, это мерцающее, бледное лицо, этот преисполненный зрелости позднего лета рот, по суровым губам которого мелькнула, подобно ветерку и лунному свету, эта невыразимая улыбка смерти!

Гольдмунд подошел к дому мастера, было около полудня, он подождал, пока не услышал, что Никлаус закончил работу в мастерской и пошел мыть руки. Тогда он вошел к нему.

— Позвольте мне сказать вам несколько слов, мастер, это можно сделать, пока вы моете руки и надеваете сюртук. Я жажду глотка истины, я хотел сказать вам кое-что, что могу сказать именно теперь и никогда больше. Со мной происходит такое, о чем мне необходимо погово-



ворить с кем-нибудь, и вы единственный, кто, возможно, поймет меня. Я взываю не к тому человеку, который имеет славную мастерскую и получает все почетные заказы от городов и монастырей в округе и у кого прекрасный, богатый дом. Я обращаюсь к человеку, сделавшему некогда фигуру Божьей Матери, самую прекрасную из известных мне. Именно этого человека я любил и почитал, стать подобным ему казалось для меня наивысшей целью на земле. И вот теперь я сделал фигуру Иоанна, и он не так совершенен, как ваша Божья Матерь, но он таков, как он есть. Другую фигуру я не буду делать, у меня нет никакого образа в наличии, который требовал бы выражения и заставлял бы делать ее. Вернее, есть один далекий священный образ, который я когда-нибудь воплещу в фигуре, но сегодня еще не в состоянии этого сделать. Чтобы суметь это сделать, мне нужно еще больше узнать и пережить. Может быть, я когда-нибудь сделаю это. Но до тех пор, мастер, мне не хотелось бы заниматься ремеслом, лакировать фигуры и украшать резьбой кафедры, вести жизнь ремесленника в мастерской и зарабатывать деньги, становясь таким же, как все, нет, этого я не хочу, я хочу жить и странствовать, чувствовать лето и зиму, посмотреть на мир и его красоту, испытать его ужасы. Хочу страдать от голода и жажды, хочу забыть и освободиться от всего, чем жил здесь и чему научился у вас. Мне, правда, хотелось бы сделать что-нибудь столь же прекрасное и глубоко трогающее сердце, как ваша Божья Матерь, но становиться таким, как вы, и жить так, как вы, я не хочу.

Мастер вымыл руки и вытер, теперь он повернулся и посмотрел на Гольдмунда. Его лицо было строгим, но не рассерженным.





— Ты говорил, — сказал он, — я слушал. Ну и довольно. Я не тороплю тебя с работой, хотя дела много. Мне хотелось бы обсудить с тобой кое-что, дорогой Гольдмунд, не теперь, через несколько дней. Пока можешь проводить время, как хочешь. Видишь ли, я много старше тебя и имею кое в чем опыт. Я думаю иначе, чем ты, но я понимаю тебя и что ты имеешь в виду. Через два-три дня я тебя позову. Мы поговорим о твоём будущем, у меня есть разные планы. А пока потерпи! Я достаточно хорошо знаю, как бывает, когда закончишь дорогу для сердца вещь, мне знакома пустота. Она пройдет, поверь мне.

Гольдмунд, неудовлетворенный, убежал прочь. Мастер хотел как лучше, но чем он мог помочь?

На реке он знал одно место, там было неглубоко, и вода текла по дну, полному ружьяди и отбросов, из домов рыбацкого предместья в реку бросали всякую дрянь. Туда он и пошел, сел на край набережной и смотрел вниз на воду. Воду он очень любил, любая вода влекла его к себе. А если смотреть отсюда вниз сквозь струи, подобные хрустальным нитям, на темное неясное дно, то здесь и там видно что-то сверкающее приглушенным золотым блеском и манящее, какие-то неузнаваемые предметы, то ли осколки бывшей тарелки, то ли выброшенный погнувшийся серп, то ли яркий гладкий камень или покрытая глазурью черепица, это могла быть и иловая рыба, жирный налим или красноперка, вертевшаяся там впризу и на момент поймавшая яркими плавниками и чешуей луч света, — никогда нельзя было точно определить, что это было, но всегда это было волшебно прекрасно и заманчиво, этот краткий приглушенный блеск затонувших сокровищ на черном дне. Такими, как эта меленькая тайна в воде, казалось ему, были все настоящие тайны, все



действительные, подлинные образы души: у них не было очертаний, не было формы, их можно было только предчувствовать, подобно далекой прекрасной возможности, они были прекрасны и многозначны. Как там в сумраке зеленой речной глубины на трепетные мгновения вспыхивало что-то невыразимо золотое или серебряное, какое-то нечто, сулившее, однако, блаженнейшие обещания, так забытый профиль какого-нибудь человека, увиденный снизу наполовину, мог быть иной раз предвестником чего-то бесконечно прекрасного или неслыханно печального, так и ночной фонарь, качаясь над повозкой, рисует на каменных стенах огромные вращающиеся тени колесных спиц, представляя этой игрой теней зрелища, столь полные происшествий и событий, что вмещает всего Вергилия. Из таких же нитей нереального, магического были сотканы ночные сны, ничтожная малость, содержащая в себе все картины мира, вода, в кристалле которой присутствуют формы всех людей, животных, ангелов и демонов, постоянно готовых к проявлению своих очертаний.

Снова погрузился он в игру, потерянно уставившись в струящуюся реку, видел в бесформенных блестках, дрожащих на дне, царские короны и обнаженные женские плечи. Когда-то в Мариабронне, вспомнилось ему, он увидел в латинских и греческих буквах подобные корни и волшебство превращений. Не говорил ли он тогда об этом с Нарциссом? Ах, когда же это было, сколько столетий тому назад? Ах, Нарцисс! Чтобы увидеть его, чтобы часок поговорить с ним, подержать его руку, услышать его спокойный, рассудительный голос, он охотно отдал бы два своих золотых дуката.

Почему эти вещи были так прекрасны, это золотое





свечение под водой, эти тени и предчувствия, все эти нереальные, фантастические явления — почему же все-таки они были так невыразимо прекрасны и благодатны, будучи полной противоположностью тому прекрасному, что мог сделать художник? Потому что ведь красота тех безымянных вещей была без всякой формы и заключалась целиком лишь в тайне, а в произведениях искусства было как раз обратное, они были исключительно формой, они говорили совершенно ясно, ничего не было более непреложно ясного и определенного, чем линия нарисованной головы или вырезанного из дерева рта. Точно, безукоризненно точно мог он при желании срисовать нижнюю губу или веки с фигуры мадонны Николауса; там не было ничего неопределенного, меняющегося, ускользающего.

Гольдмунд самозабвенно размышлял об этом. Ему было неясно, как же можно, чтобы самое, что ни на есть определенное и оформленное действовало на душу совершенно так же, как самое неуловимое и бесформенное. Но одно все-таки стало ему ясно в результате этих размышлений, а именно, почему столь многие безупречные и добротные сделанные произведения искусства ему совершенно не нравились, а были скучны и почти ненавистны, несмотря на определенную красоту. Мастерские, церкви, дворцы были полны таких досадных произведений искусства, он сам участвовал в работе над некоторыми из них. Они глубоко разочаровывали, потому что, пробуждая стремление к высшему, все-таки не удовлетворяли его, так как в них не было главного: тайны. Вот что было общее между мечтой и произведением искусства: тайна.

Далее Гольдмунд думал: тайна — вот что я люблю,



чему буду следовать, что вижу многообразно блистающим и хотел бы как художник, если смогу когда-нибудь, изображать и заставлять говорить. Это образ великой рожающей, праматери, и тайна ее не в той или иной детали, как у другой какой-либо фигуры, не в особой полноте или худобе, грубоватости или изысканности, силе или приятности, а в том, чтобы в этом образе нашли примирение и ужились величайшие противоположности мира: рождение и смерть, добродетели и жестокость, жизнь и уничтожение. Если эту фигуру я выдумал себе и она лишь игра моего воображения или честолюбивое желание художника, то нечего жалеть о ней, я смогу признать ее ошибочность и позабыть. Но праматерь — это же не вымысел, я же ее не выдумал, а видел! Она живет во мне, я постоянно встречаюсь с ней. Впервые я почувствовал ее, когда в деревне зимней ночью должен был держать светильник над кроватью рожающей крестьянки: тогда зародился во мне этот образ. Часто он бывает далеко и теряется на долгое время, но вдруг вспыхивает опять, вот и сегодня. Образ моей собственной матери, когда-то самой любимой, совершенно превратился в этот новый образ, он внутри его, как косточка в вишне.

Ясно чувствовал он теперь свое сиюминутное положение, страх принять решение. Не менее, чем тогда, при прощании с Нарциссом, он был на важном пути к матери. Возможно, когда-нибудь из матери получится воплощенный образ, видимый для всех, произведение его рук. Возможно, там была цель, там был смысл его жизни. Возможно, он этого не знал. Но одно знал он: следовать за матерью, быть на пути к ней, чувствовать себя призванным ею — это было хорошо, это была жизнь. Возможно, он никогда не сможет создать ее образ, возмож-





но, она навсегда останется мечтой, предчувствием, при­манкой, золотым проблеском святой тайны. Ну что ж, во всяком случае, он должен следовать за ней, ей предо­ставить свою судьбу, она была его звездой.

И вот решение уже созрело, все стало ясно. Искусст­во — прекрасное дело, но оно не было ни божеством, ни целью, для него — нет; не искусству должен он следо­вать, а только зову матери. Что пользы делать свои паль­цы все более искусными? На мастере Никлаусе видно, куда это ведет. Это ведет к славе и именитости, к день­гам и оседлой жизни, к отмиранию и гибели тех внут­ренних сил, для которых только и доступна тайна. Это ведет к изготовлению мыльных, дорогих игрушек, ко вся­кого рода богатым алтарям и кафедрам со святыми Се­бастьянами, к ангельским головкам в локонах по четыре талера за штуку. Ах, да что там, золото на глазах како­го-нибудь карпа и прелестный тонкий серебряный пушок на краешке крыла какой-нибудь бабочки были бесконечно более прекрасными, живыми и драгоценными, чем це­лый зал, набитый подобными изделиями. Мальчик спус­кался, напевая, вниз по набережной, время от времени его пение умолкало, и он откусывал от большого куска белого хлеба, который нес в руке. Гольдмунд увидел его и попросил у него кусочек, отщипнул от мякиша двумя пальцами и сделал маленькие шарики. Склонившись через парапет, он бросал шарики медленно один за другим в воду, смотрел, как светлые шарики опускаются в тем­ную воду и, подхваченные быстрыми теснящимися голо­вами рыб, исчезают в одном из ртов. Глубоко удовлетво­ренный Гольдмунд смотрел, как шарик за шариком опускался и исчезал. Потом он почувствовал голод и отыс­кал одну из своих возлюбленных, которая была прислу-



гой в доме мясника и которую он называл «повелительницей колбас и окороков». Привычным свистом он позвал ее к окну кухни, намереваясь получить кое-что из съестного, чтобы, спрятав у себя, съесть где-нибудь там за рекой, на одном из виноградников, красная жирная земля которых так ярко блестела под сочной листвой винограда и где весной цвели маленькие голубые гиацинты, так нежно пахнувшие плодом.

Но сегодня, кажется, был день решений и прозрений. Когда Катрина появилась в окне с улыбкой на крепком, несколько грубоватом лице, когда он уже протянул руку, чтобы дать ей привычный знак, ему вдруг вспомнились другие их встречи, когда он так же стоял здесь в ожидании. И с наводящей скуку отчетливостью он сразу же увидел все наперед, что произойдет в следующие минуты: как она, узнав его знак, исчезнет и вскоре появится у черного хода дома с чем-нибудь копченым в руке, как он возьмет это, слегка погладив ее и прижимая к себе, потому что она этого ждет — и вдруг ему показалось бесконечно глупым и отвратительным вновь вызывать всю эту машинальную последовательность часто переживавшегося и играть в ней свою роль, брать колбасу, чувствовать, как крепкая грудь прижимается к нему, и слегка пожимать ее в качестве ответного подарка. В ее добром простом лице ему увиделась вдруг бездушная привычка, в ее приветливой улыбке что-то слишком часто виденное, что-то машинальное и лишенное тайны, что-то недостойное его. Он не закончил привычного взмаха рукой, на его лице застыла улыбка. Любил ли он ее еще, желал ли ее еще по-настоящему? Нет, слишком часто бывал он здесь, слишком часто видел одну и ту же улыбку, отвечая на нее без сердечной привязанности. Но что еще вчера





он мог делать не задумываясь, сегодня вдруг стало для него больше невозможно. Девушка еще стояла и смотрела, когда он повернулся и исчез в переулке, полный решимости никогда больше не показываться тут. Пусть другой гладит эту грудь! Пусть другой ест эту вкусную колбасу! Вообще, чего здесь в этом сытом, самодовольном городе только не съедают и не проматывают изо дня в день! Как скверны, пресыщены, как привередливы были эти жирные горожане, для которых каждый день закалывалось столько свиней и телят и вытаскивалось столько красивых бедных рыб! А сам он — как сам-то он был избалован и испорчен, как отвратительно похож стал на этих толстых горожан! Когда бредешь, бывало, по заснеженному полю, и сохшаяся слива или старая корка хлеба кажется вкуснее, чем при здешнем благополучии целое застолье. О, странствие, о, свобода, о, роща, освященная луной, и осторожно разглядываемый след зверя в белесой от утренней росы траве! Здесь в городе, у оседлых, все шло так легко и так мало стоило, даже любовь. Хватит с него, наконец, плевал он на все это. Жизнь здесь потеряла свой смысл, это была уже кость без мозга. Она была прекрасной и имела смысл, пока мастер был для него образцом, а Лизбет — принцессой; она была сносной, пока он работал над своим Иоанном. Теперь с этим покончено, аромат пропал, цветок увял. Сильной волной захлестнуло его чувство брэнности, которое так часто глубоко терзало и так глубоко захватывало его. Быстро отцветало все, быстро удовлетворялось любое желание, и ничего не оставалось, кроме костей и пыли. И все-таки одно оставалось: вечная мать, древняя и вечно юная, с печальной и жестокой улыбкой любви. Опять увидел он ее на момент: великаншу со звездами в воло-



сах, мечтательно сидящую на краю мира, рассеянной рукой обрывала она цветок за цветком, жизнь за жизнью, заставляя их медленно падать в бездну.

В эти дни, пока Гольдмунд созерцал, как бледнеет оставшийся позади отцветший период его жизни, и в скорбном упоении прощания бродил по хорошо знакомой местности, мастер Никлаус прилагал немалые усилия, чтобы обеспечить его будущее и навсегда сделать этого беспокойного гостя оседлым. Он уговорил цех выдать Гольдмунду мастерское свидетельство и взвешивал план прочно привязать его к себе не в качестве подчиненного, а в качестве компаньона, чтобы советоваться и выполнять с ним все большие заказы и делить доходы. В этом был, пожалуй, риск, из-за Лизбет тоже, потому что молодой человек, конечно, скоро стал бы его зятем. Но фигуру, подобную Иоанну, никогда не сделать даже лучшему из всех помощником, которых когда-либо держал Никлаус, сам же он стар и все беднее на идеи и творчество, а видеть свою знаменитую мастерскую опустившейся до обыкновенного ремесленничества он не хотел. Нелегко будет с этим Гольдмундом, но надо рискнуть.

Так рассчитывал озабоченный мастер. Он расширит для Гольдмунда заднюю мастерскую и освободит для него комнату наверху, подарит ему к приему в цех и новое дорогое платье. Осторожно выспросил он и мнение Лизбет, которая с того обеда ждала чего-то похожего. И смотрите-ка, Лизбет была не против. Если парень стал оседлым и получил звание мастера, то он ее устраивал. И здесь не было препятствий. И если мастеру Никлаусу и ремеслу не вполне удалось пока приручить этого цыгана, то уж Лизбет доведет дело до конца.

Таким образом, все было продумано, и добрая при-





манка для птахи готова за силком. И вот однажды послали за Гольдмундом, который с тех пор не показывался, и он явился, будучи опять приглашен к столу, начищенный и причесанный, снова сидел в прекрасной, несколько слишком торжественной комнате, опять чокался с мастером и его дочерью, пока та не удалилась, и Никлаус заговорил о своем грандиозном плане и предложениях.

— Ты меня понял, — прибавил он к своим ошеломляющим откровениям, — и мне не нужно объяснять тебе, что, пожалуй, никогда молодому человеку, не отбывшему предписанного времени для обучения, не приходилось так быстро стать мастером и попасть в теплое гнездышко. Твое счастье устроилось, Гольдмунд.

Удивленно и смущенно посмотрел Гольдмунд на своего мастера и отодвинул бокал, еще наполовину полный. Он, собственно, ждал, что Никлаус побранит его слегка за прогулы и предложит остаться у него в качестве помощника. Ему было грустно и неловко сидеть так перед мастером. Он не сразу нашелся, что сказать.

Мастер, уже с несколько напряженным и разочарованным лицом, поскольку его почетное предложение не было принято тотчас с радостью и смирением, встал и сказал: «Ну так, предложение мое для тебя неожиданно, может, ты хочешь сначала обдумать его. Правда, это немного задевает меня, я думал, что доставлю тебе большую радость. Но изволь, подумай какое-то время».

— Мастер, — сказал Гольдмунд, подыскивая слова, — не сердитесь на меня! Я благодарен вам от всего сердца за ваше желание мне добра и еще больше за то терпение, с которым вы учили меня. Я никогда не забуду, в каком долгу я перед вами. Но мне не нужно времени на размышление, я давно решил.



— На что решился?

— Я принял решение еще до вашего приглашения и до того, как получил от вас почетные предложения. Я больше не останусь здесь, я уйду странствовать.

Поблуднев, взглянул на него Никлаус потемневшими глазами.

— Мастер, — умолял Гольдмунд, — поверьте мне, я не хочу вас обидеть! Я сказал вам, на что решился. Это уже нельзя изменить. Я должен уйти, я должен путешествовать, мне нужна свобода. Позвольте мне еще раз сердечно поблагодарить вас, и давайте дружески простимся друг с другом.

Он протянул ему руку, слезы подступили к горлу. Никлаус не взял его руки, лицо его стало белым, и теперь он начал быстро ходить взад и вперед по комнате, все ускоряя от бешенства тяжелый шаг. Никогда еще Гольдмунд не видел его таким.

Потом мастер вдруг остановился, со страшным усилием овладел собой и процедил сквозь зубы, не глядя на Гольдмунда: «Хорошо, иди! Но уходи тотчас же! Чтобы я больше тебя не видел! Чтобы я не сказал или не сделал чего-нибудь, в чем мог бы потом раскаиваться. Уходи!»

Еще раз протянул Гольдмунд ему руку, мастер сделал вид, что плюет на поданную руку. Тогда Гольдмунд, тоже поблудневший, повернулся, тихо вышел из комнаты, надел шапку, спустился вниз по лестнице, пробежав рукой по резным перилам, зашел в маленькую мастерскую во дворе, постоял на прощание перед своим Иоанном и покинул дом с болью в сердце, более глубокой, чем когда-то при расставании с домом рыцаря и бедной Лидией.

По крайней мере все прошло быстро! И не было ска-





зано ничего лишнего! Это была единственная утешительная мысль, когда он выходил за порог, и вдруг переулочек и город увиделись ему в том превращенном чуждом виде, который принимают обычные вещи, когда наше сердце простилось с ними. Он бросил взгляд обратно на дверь дома — теперь чужого, закрытого для него.

Придя к себе, Гольдмунд постоял и начал собираться в дорогу. Правда, собирать-то было почти нечего, оставалось лишь попрощаться. Висела картина на стене, которую он нарисовал сам, нежная Мадонна, висели и лежали вещи вокруг, принадлежавшие ему: летняя шляпа, пара башмаков для танцев, рулон рисунков, маленькая люгня, несколько фигурок из глины, кое-какие подарки от возлюбленных: букет искусственных цветов, рубиново-красный стакан, старый затвердевший пряник в виде сердца и тому подобная ерунда, хотя каждый предмет имел свое значение и историю и был дорог ему, став теперь обременительной рухлядью, потому что ничего из этого он не мог взять с собой. Рубиновый стакан он, правда, обменял у хозяина дома на крепкий добрый охотничий нож, который наточил во дворе на точильном камне, пряник раскрошил и покормил им кур на соседнем дворе, изображение Мадонны подарил хозяйке дома и получил за это нужный подарок: старую кожаную дорожную сумку и достаточный запас съестного на дорогу. В сумку он сложил несколько рубашек, бывших у него, и несколько небольших рисунков, смотанных на палку, а также еду. Остальное пришлось оставить.

В городе было много женщин, с которыми нужно было бы проститься; у одной из них он только вчера ночевал, не говоря ей о своих планах. Да, вот так то да се хватает за пятки, когда соберешься странствовать. Не надо



принимать это всерьез. Он решил ни с кем не прощаться, кроме людей в доме. Он сделал это с вечера, чтобы чуть свет отправиться в путь.

Несмотря на это, кто-то утром встал и, когда он собирался покинуть дом, его пригласили в кухню съесть молочного супа. Это была хозяйская дочь, ребенок лет пятнадцати, тихое, болезненное создание с прекрасными глазами, но с поврежденным суставом в бедре, из-за чего она хромала. Ее звали Мария. С утомленным от бессонной ночи лицом, совершенно бледная, но тщательно одетая и причесанная, она угощала его в кухне горячим молоком и хлебом и казалась очень опечаленной тем, что он уходит. Он поблагодарил ее и поцеловал на прощание сочувственно в губы. Благоговейно, с закрытыми глазами приняла она его поцелуй.



ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

В первые дни своего нового странствия, в первом жадном упоении вновь обретенной свободы Гольдмунд должен был снова учиться жить бесприютной и вневременной бродячей жизнью. Никому не подчиняясь, завися лишь от погоды и времени года, без всякой цели перед собой, без крыши над головой, ничего не имея и подвергаясь всяким случайностям, ведут бездомные свою детскую и смелую, жалкую и сильную жизнь. Они — сыны Адама, изгнанного из рая, и братья зверей невинных. Из рук неба берут они час за часом что им дается: солнце, дождь, туман, снег, тепло и стужу, благополучие и нужду, для них нет времени, нет истории, нет стремлений и тех странных кумиров развития и прогресса, в



которых так отчаянно верят обладатели домашнего очага. Бродяга может быть нежным или суровым, ловким или неуклюжим, смелым или боязливым, но он всегда в душе ребенок, всегда живет первый день, с начала мировой истории, всегда руководствуется в жизни немногими простыми желаниями и нуждами. Он может быть умен или глуп; он может глубоко познать себя, как хрупка и преходяща вся жизнь и как робко и пугливо несет все живое свою частицу теплой крови через холод мировых пространств, или он может лишь по-детски жадно следовать приказам своего бедного желудка — всегда он будет противником и смертельным врагом имущего и оседлого, который ненавидит его, презирает и боится, потому что не желает напоминаний обо всем этом: о мимолетности бытия, о постоянном увядании жизни, о неизбежной ледяной смерти, наполняющей всю вселенную вокруг нас.

Детскость бродячей жизни, ее материнское происхождение, ее отказ от закона и духа, ее оставленность и тайная, всегда присутствующая близость смерти давно глубоко проникли и запечатлелись в душе Гольдмунда. То, что в нем все-таки жили дух и воля, что он все-таки был художником, делало его жизнь богатой и трудной. Любая жизнь ведь становилась богатой и цветущей только благодаря раздвоению и противоречию. Что значили бы рассудок и благоразумие, не ведающие упоения, что были бы чувственные желания, если бы за ними не стояла смерть, и что была бы любовь без вечной смертельной вражды полов?

Лето и осень клонились к концу, трудно приходилось Гольдмунду в скудные месяцы, в упоении бродил он во время приятной благоуханной весны, времена года так



быстро сменяли друг друга, так быстро высокое летнее солнце спускалось опять. Шел год за годом, и казалось, будто Гольдмунд забыл, что на земле есть что-то другое, кроме голода и любви и этой безмолвной жуткой торопливости времен года; он совершенно погрузился в материнский, инстинктивный первобытный мир. Но в каждой грезе и каждый раз раздумывая на отдыхе, глядя на цветущие и увядающие долины, он был полон созерцания, был художником, страдал от мучительной тоски, заклинал духом и наполняя смыслом дивную текучую бессмыслицу жизни.

Однажды ему повстречался товарищ, после кровавого случая с Виктором он никогда больше не странствовал иначе как один, тот незаметно присоединился к нему, и он никак не мог от него отделаться. Правда, он был не похож на Виктора, он шел паломником в Рим, это был еще молодой человек в рясе и шляпе паломника, звали его Роберт, он был родом с Боденского озера. Этот человек, сын ремесленника, какое-то время учился у монахов ордена святого Галла, еще мальчиком вбил себе в голову паломничество в Рим и, будучи преданным этой любимой идее, использовал первую же возможность ее осуществить. Этой возможностью оказалась смерть отца, в мастерской которого он работал столяром. Едва старика похоронили, Роберт объявил матери и сестре, что теперь ничто не удержит его от исполнения своего желания и во искупление своих и отцовских грехов он отправится паломником в Рим. Напрасно сетовали женщины, напрасно бранили его, он настоял на своем и вместо того, чтобы заботиться об обеих женщинах, отправился в путь без материнского благословения, под злобные ругательства сестры. Что его гнало, так это прежде всего желание странствовать да поверхностная набожность, то





есть склонность к пребыванию вблизи церковных мест и духовных учреждений, радость от церковной службы, крещений, похорон, мессы, запаха ладана и горящих свечей. Он знал немного по-латыни, но не к учености стремилась его детская душа, а к покою и тихой мечтательности под сенью церковных сводов. Мальчиком-служкой он страстно отдавался службе. Гольдмунд не принимал его особенно всерьез и все-таки полюбил, чувствуя себя немного родственным ему в инстинктивном стремлении к странствиям и неизвестному. Итак, Роберт, довольный, отправился тогда странствовать и добрался-таки до Рима, пользуясь гостеприимством бесчисленных монастырей и аббатств, посмотрел горы и юг, очень хорошо чувствуя себя в Риме среди всех церквей и благочестивых мероприятий, прослушал сотни месс и поклонился самым знаменитым и самым святым местам, надъшавшись запахом ладана больше, чем полагалось за его мелкие юношеские грехи и грехи его отца. Год или больше он отсутствовал, а когда наконец вернулся и вошел в отчий дом, его встретили не как блудного сына, сестра же за это время освоила домашние обязанности и права, наняла усердного помощника столяра и вышла замуж, управляясь с домом и мастерской так ловко, что после короткого пребывания там вернувшийся почувствовал себя лишним, и никто не уговаривал его остаться, когда он вскоре опять заговорил об новом путешествии. Он не был в обиде, позволил себе взять у матери несколько сбереженных грошей, нарядился опять в костюм паломника и отправился в странствие без цели, через всю империю, полудуховный странник. Медные памятные монеты из известных паломнических мест и освященные четки позвякивали на нем.

Итак, он повстречался с Гольдмундом, прошел один



день вместе с ним, обмениваясь странническими воспоминаниями, потерялся в ближайшем городке, попадался ему снова то тут, то там и, наконец, совсем остался с ним, покладистый и услужливый спутник. Гольдмунд нравился ему очень, он домогался его внимания мелкими услугами, восхищался его знаниями, его смелостью, умом, ему полюбились его здоровье, сила и искренность. Они привыкли друг к другу, потому что и Гольдмунд был покладист. Только одного не выносил он: когда бывал одержим своей тоской или раздумьями, то упорно молчал и смотрел мимо другого, как будто того не было, и тогда нельзя было ни болтать, ни спрашивать, ни утешать, а нужно было предоставить его самому себе и дать отмолчаться. Этому Роберт скоро научился. С тех пор как он заметил, что Гольдмунд знает наизусть множество латинских стихов и песнопений, услышал, как тот объяснял перед порталом одного собора значение каменных фигур, увидел, как он на голой стене, у которой они отдыхали, быстрыми размашистыми линиями нарисовал сангиной человеческие фигуры, он считал своего товарища любимцем Бога и почти магом. Что он был еще и любимцем женщин и завоевывал иную одним взглядом и улыбкой, Роберт тоже заметил; это нравилось ему меньше, но не восхищаться этим он все-таки не мог.

Их путешествие как-то неожиданно прервалось. Однажды они проходили вблизи какой-то деревни, их встретила группа крестьян, вооруженных дубинками, палками и цепями, и предводитель крикнул им издалека, чтобы они тотчас поворачивали обратно и убирались навсегда к черту, иначе будут биты насмерть. Пока Гольдмунд стоял, желая узнать, что все-таки случилось, один камень попал ему в грудь. Роберт, к которому он обернул-





ся, убежал прочь, как одержимый. Угрожая, крестьяне приближались, и Гольдмунду ничего не оставалось, как менее поспешно последовать за убегающим. Дрожа, поджидал его Роберт под крестом с распятием, стоявшим посреди поля.

— Ты бежал, как герой, — смеялся Гольдмунд. — Но что это взбрело в глупые головы этим грязнулям? Разве война? Выставляют вооруженную охрану своего гнезда и никого не хотят пускать! Удивительно, что бы это значило?

Они оба не знали. Лишь на следующее утро они кое-как узнали, войдя в одиноко стоящий крестьянский двор, и нашли разгадку тайне. Этот двор, состоящий из жилья, хлева и сарая и окруженный зеленым участком с высокой травой и множеством фруктовых деревьев, был странно тих, как во сне: ни человеческого голоса, ни звука шагов, ни детского крика, ни звона отбиваемых кос, ничего не было слышно; на участке в траве стояла корова и мычала, по ней было видно, что пришло время ее доить. Они подошли к дому, постучали, не получив никакого ответа, пошли к хлеву, он стоял открытый и пустой, пошли к сараю, на соломенной крыше которого ярко блестел на солнце светло-зеленый мох, не нашли и там ни души. Вернулись к дому, удивленные и озадаченные безлюдностью этого жилища, постучали еще раз кулаками в дверь, опять не последовало никакого ответа. Гольдмунд попытался открыть дверь и, к своему удивлению, нашел ее незапертой, толкнул дверь, вошел в темную комнату. «Мир вам, — воскликнул он громко, — никого дома?», но все оставалось безмолвным. Роберт остался у двери. С любопытством Гольдмунд прошел вперед. Пахло в хижине плохо, пахло особенно и отворачи-



тельно. В очаге было полно золы, он подул в него, на дне еще тлели искры на обуглившихся поленьях. В полумраке за плитой он увидел кого-то сидящего; кто-то сидел в кресле и как будто спал, это была старая женщина. Зовы не помогали, дом казался заколдованным. Он слегка потрепал женщину по плечу, она не шевельнулась, и теперь он увидел, что она сидела, окутанная паутиной, нити которой шли к волосам и коленям. «Она мертва», — подумал он с легким страхом и, чтобы убедиться, стал разводить огонь, мешал угли и дул, пока не разгорелось пламя и он мог зажечь длинную лучину. Он осветил сидящей в лицо. Под седыми волосами он увидел голубовато-черное лицо трупа, один глаз был открыт и блестел свинцовой пустотой. Женщина умерла здесь, сидя в кресле. Ну что ж, ей уже нельзя было помочь.

С горящей лучиной в руке Гольдмунд пошел искать дальше и в том же помещении нашел еще один труп, лежащий на пороге в заднюю комнату, мальчика лет восьми или девяти, с распухшим, искаженным лицом, в одной рубашке. Он лежал животом на пороге, обе руки были сжаты в крепкие, яростные кулачки. Это второй, подумал Гольдмунд; как в жутком сне пошел он дальше, в заднюю комнату, там ставни были открыты и сиял светлый день. Осторожно погасил он свой светильник, притоптав искры на полу.

В задней комнате стояли три кровати. Одна была пуста, из-под грубого серого полотна выглядывала солома. Во второй лежал еще один, бородатый мужчина, застывший на спине, с откинутой головой и торчащим вверх подбородком и бородой; должно быть, крестьянин. Его запрокинутое лицо слабо светилось незнакомыми красками смерти, рука свешивалась до пола, там валял-





ся глиняный кувшин для воды, вылившаяся вода еще не совсем впиталась в пол, она стекла в углубление, образовав маленькую лужу. А в другой кровати лежала целиком закрытая в льняное покрывало и завернутая в грубошерстное одеяло крупная сильная женщина, с лицом, вдавленным в постель, распущенные, цвета соломки волосы мерцали при ярком свете. Здесь же, сплетаясь с ней, как пойманная в растерзанную простыню и задушенная, лежала девочка-подросток, тоже светловолосая, с серо-голубыми пятнами на мертвом лице.

С одного мертвого на другого переходил взгляд Гольдмунда. В лице девочки, хотя оно было уже сильно искажено, застыло что-то вроде беспомощного ужаса перед смертью. В затылке и волосах матери, так глубоко и неистово зарывшейся в постель, читалось бешенство, страх и страстное желание спастись. Именно непокорные волосы никак не хотели сдаваться смерти. В облике крестьянина было упрямство и затаенная боль; видно было, что умирал он трудно, но по-мужески, его бородастое лицо упиралось резко и неподвижно в воздух, подобно лицу павшего на поле брани воина. Его спокойная и упрямая, немного сдержанная поза была прекрасна; по-видимому, это был недоожинный и неробкий человек, так встретивший смерть. Трогательным, напротив, был труп мальчика, лежавшего животом на пороге; его лицо не говорило ничего, но поза вместе с крепко сжатыми кулачками свидетельствовала о многом: о беспомощном страдании, нерешительном сопротивлении неслыханной боли. Рядом с его головой в двери было пропилено отверстие для кошки. Внимательно рассматривал Гольдмунд увиденное. Без сомнения, все в этой хижине выглядело отвратительно, и трупный запах был ужасен; и все-таки



для Гольдмунда все это имело притягательную силу, все было полно судьбоносного величия, так истинно, так непреложно; что-то в этом вызывало его любовь и проникало в душу.

Между тем Роберт снаружи начал кричать, нетерпеливо и испуганно. Гольдмунд любил Роберта, однако в этот момент ему подумалось, как же все-таки живой человек со своим любопытством, страхом, всем своим ребячеством мелок и ничтожен по сравнению с мертвыми. Он не ответил Роберту ничего; он отдался полностью созерцанию мертвых, с тем особым смешанным чувством сострадания и холодной наблюдательности, свойственной художникам. Он точно рассмотрел лежащие фигуры и сидящую тоже, головы, руки, движение, в котором они застыли. Как тихо было в этой заколдованной хижине! Как необыкновенно и страшно пахло! Как призрачно и печально было это маленькое человеческое обиталище, с еще теплившимся огнем в очаге, но населенное трупами, полностью заполненное и пронизанное смертью! Скоро у этих покойников начнет слезать мясо со щек, и крысы сожрут их пальцы. Что с другими людьми происходило в гробу и в могиле, в хорошем укрытии и невидимо, последнее и самое жалкое — распад и уничтожение, то свершалось для этих пятерых здесь, дома, в их комнатах, при свете дня, незапертых дверях, без хлопот, без стыда, без защиты. Гольдмунду приходилось видеть мертвых, но такой картины неумолимой работы смерти он еще никогда не встречал. Глубоко принял он ее в себя.

Наконец крики Роберта перед дверью дома вывели его из размышлений, и он вышел.

Со страхом посмотрел на него товарищ.

— Что там? — спросил он тихо голосом, полным ужа-





са.— Ведь в доме никого нет? Ох, не делай таких глаз. Говори же!

Гольдмунд смерил его холодным взглядом.

— Пойди и посмотри, это забавный дом. Потом подоим корову там, на лугу. Вперед!

Нерешительно Роберт вошел в хижину, направился к очагу, заметив сидящую женщину и обнаружив, что она мертва, громко закричал. Поспешно вернулся назад с широко раскрытыми глазами.

— Господи помилуй! Там у очага сидит мертвая женщина. Что это? Почему ее не похоронят? О Господи! Уже ведь пахнет.

Гольдмунд улыбнулся.

— Ты большой герой, Роберт, но ты слишком скоро вернулся. Мертвая старая женщина, сидящая на стуле, пожалуй, примечательное зрелище, но ты можешь увидеть нечто еще более необычное, если сделаешь еще несколько шагов. Их пятеро, Роберт. В постелях лежат трое, и мертвый мальчик посреди порога. Все мертвые. Вся семья, дом вымер. Поэтому никто и не подоил корову.

Объятый ужасом, тот смотрел на него, потом закричал вдруг сдавленным голосом:

— О, теперь я понимаю крестьян, что не хотели вчера пускать нас в свою деревню. О Господи, теперь мне все ясно. Это чума! Клянусь моей бедной душой, это чума, Гольдмунд! А ты так долго был там, внутри, и, может, касался мертвых! Прочь! Не подходи ко мне, ты наверняка заразился. Мне жаль, Гольдмунд, но я должен уйти, я не могу оставаться с тобой.

Он уже собрался бежать, но Гольдмунд крепко схватил его за руку. Посмотрел строго с немим укором и



неумолимо держал, как тот ни противился и ни упирался.

— Мой маленький мальчик, — сказал он дружески-ироническим тоном, — а ты умнее, чем можно предположить, по-видимому, ты окажешься прав. Ну, да это мы узнаем в ближайшем дворе или деревне. По-видимому, в этой местности чума. Посмотрим, выйдем ли мы отсюда живыми. Но позволить тебе убежать, маленький Роберт, я не могу. Видишь ли, я сердобольный человек, у меня сердце слишком мягкое, и когда я подумаю, что, возможно, и ты заразился там в доме, а я позволю тебе убежать, и ты умрешь где-нибудь на воле, совсем один, и ни один человек не закроет тебе глаза, и не выкопает могилу, и не бросит на тебя немного земли — нет, милый друг, тогда меня задушит горе. Итак, будь внимателен и очень хорошо запомни, что я скажу, повторять я не буду: мы оба в одинаковой опасности, она может поразить тебя и меня. Мы останемся вместе и либо погибнем, либо ускользнем от этой проклятой чумы. Если ты заболеешь и умрешь, я похороню тебя, это уж точно. А если мне суждено будет умереть, то делай, как знаешь, похорони меня или не делай этого, мне все равно. А пока, дорогой, не вздумай удрать, заметь это себе! Мы нужны друг другу. Теперь же заткни глотку, я не хочу ничего слышать, и поищи где-нибудь в хлеву ведро, чтобы наконец подоить корову.

Так уж случилось, и с этого момента и Гольдмунду, который приказывал, и Роберту, который подчинялся, обоим стало хорошо. Роберт больше не пытался бежать. Он только сказал примиряюще: «Я на какой-то момент испугался тебя. Твое лицо мне не понравилось, когда ты вернулся из этого дома мертвых. Мне показалось, ты





подцепил чуму. Но если это и не чума, все равно твое лицо стало другим. Неужели так страшно то, что ты там увидел?»

— Это не так страшно, — ответил Гольдмунд, помедлив. — Я не увидел там, внутри, ничего, кроме того, что предстоит мне, и тебе, и всем, даже если мы не заразимся чумой.

Путешествуя дальше, они всюду наталкивались на черную смерть, царившую в стране. В некоторых деревнях не пускали к себе чужих, в других они беспрепятственно могли расхаживать по всем проулкам. Многие дворы стояли покинутые, множество непогребенных трупов разлагалось в полях или в комнатах. В хлевах мычали недоенные или голодные коровы, или скот одичало бегал в поле. Они доили и кормили некоторых коров и коз, они забили и изжарили на опушке не одного козленка и поросенка и выпили немало вина и сидра из брошенных хозяевами погребов. У них была сытая жизнь, царило изобилие. Но все это было вкусно лишь наполовину. Роберт жил в постоянном страхе перед чумой, и при виде трупов его тошнило, часто он бывал в полном расстройстве от страха, ему все время казалось, что он заразился, он подолгу держал голову и руки в дыму костров (это считалось, помогает), даже во сне ощущал себя, нет ли на ногах, руках, подмышках опухолей.

Гольдмунд часто бранил его, часто высмеивал. Он не разделял его страха, да и его отвращения; он шел по стране мертвых сосредоточенно и мрачно, замороженный ужасным видом грандиозного умирания, с душой, наполненной великой осенью, с тяжелым сердцем от пения разящей косы. Иногда ему опять являлся великий образ вечной матери, огромное бледное лицо великанши с глазами Медузы, с тяжелой улыбкой страдания и смерти.



Как-то они подошли к небольшому городу; он был сильно укреплен, от ворот на высоте домов шел ход по всей крепостной стене города, но наверху не было ни одного часового и никого у открытых ворот. Роберт отказался войти в город, заклиная и товарища не делать этого. В это время они услышали звуки колокола, к воротам вышел священник с крестом в руках, а за ним ехали три телеги, две запряженные лошадьми, а одна парой волов, телеги были доверху наполнены трупами. Несколько работников в особых плащах, с лицами, глубоко спрятанными в капюшоны, шли рядом, погоняя животных. Роберт с побледневшим лицом пропал, Гольдмунд последовал на небольшом расстоянии за телегами с мертвыми, прошли несколько сот шагов, и вот уже не на кладбище, а посреди пустой пашни вырытая яма, всего лишь в три лопаты глубиной, но огромная, как зал. Гольдмунд стоял и смотрел, как работники шестами и баграми стаскивали мертвых с телег и складывали кучей в огромную яму, как священник, бормоча, помахал над ней крестом и пошел прочь, как работники разожгли со всех сторон плоской могилы сильный огонь и молча побежали обратно в город, никто не пришел, чтобы засыпать яму. Он заглянул в нее, лежало пятьдесят, а то и больше, набросанных друг на друга, многие голые. Неподвижно и жалобно торчала в воздухе здесь и там рука или нога, слегка кольхалась на ветру рубаха.

Когда он вернулся, Роберт чуть ли не на коленях умолял его идти как можно скорее дальше. У него таки было основание для уговоров, он видел в отсутствующем взгляде Гольдмунда эту уже слишком знакомую ему погруженность в себя и окаменелость, эту обращенность к ужасному, это жуткое любопытство. Ему не удалось удержать друга. Один, Гольдмунд пошел в город.





Он прошел через неохраемые ворота и, слушая отзвук своих шагов по мостовой, припомнил множество городков и ворот, через которые ему пришлось пройти, ему вспомнилось, как его встречали там детский крик, мальчишеская игра, женская перебранка, стук кузнечного молота по звонкой наковальне. грохот телег и множество других звуков, тонких и грубых шумов, разноголосица которых, как бы сплетаясь в сеть, свидетельствовала о разнообразном человеческом труде, радостях, делах и общении. Здесь же у этих оставленных ворот и в этом пустом переулке не звучало ничего, никто не смеялся, никто не кричал, все лежало в молчании смерти, а лепечущая мелодия бегущего фонтана звучала слишком громко и казалась почти шумом. За открытым окном был виден булочник среди караваев и булок; Гольдмунд показал на булку, и булочник осторожно протянул ее на длинной пекарской лопате, дождался, чтобы Гольдмунд положил ему деньги на лопату, и зло, но без криков закрыл окошко, когда чужак откусил булку и пошел дальше, не заплатив. Перед окнами одного красивого дома стоял ряд глиняных горшков, в которых обычно цветут цветы, теперь же над пустыми горшками свисали засохшие листья. Из другого дома доносились всхлипывания и плач детских голосов. Но в следующем переулке Гольдмунд увидел наверху за окном красивую девушку, расчесывавшую волосы; он смотрел на нее, пока она не почувствовала его взгляда и не взглянула вниз; покраснев, она посмотрела на него, и, когда он ей дружелюбно улыбнулся, по ее покрасневшему лицу медленно пробежала слабая улыбка.

— Скоро причеешься? — крикнул он вверх. Улыбаясь, она наклонила светлое лицо из окна.



— Еще не заболела?— спросил он, и она покачала головой.— Тогда пойдем со мной из этого мертвого города, пойдем в лес и заживем на славу.

Она сделала удивленные глаза.

— Не раздумывай долго, я — серьезно, — кричал Гольдмунд.— Ты живешь у отца с матерью или прислуживаешь у чужих? А, у чужих. Тогда пойдем, милое дитя; оставь старых умирать, мы-то молоды и здоровы и еще неплохо поживем немного. Пойдем, каштаночка, я говорю всерьез.

Испытующе посмотрела она на него, нерешительно, удивленно. Он медленно пошел дальше, прошелся по одному безлюдному переулку, по другому и вернулся обратно. Девушка все еще стояла у окна, наклонившись, и обрадовалась, что он пришел опять. Она кивнула ему, не спеша он пошел дальше, вскоре она последовала за ним, не доходя до ворот, она догнала его, с небольшим узелком в руке, с красным платком на голове.

— Как же тебя зовут?— спросил он ее.

— Лене. Я пойду с тобой. Ох, здесь, в городе, так плохо, все умирают. Прочь отсюда, прочь!

Вблизи ворот на земле прикорнул недовольный Роберт. Он вскочил, когда Гольдмунд подошел, и широко раскрыл глаза, увидев девушку. На этот раз он не сразу сдался, он причитал и устроил скандал. Что вот-де из чумной дыры приводят девицу и требуют от него терпеть ее общество, это более, чем безумие, это искушение Господне, и он отказывается, он не пойдет дальше с ними, его терпению теперь пришел конец.

Гольдмунд позволил ему проклинать и жаловаться, пока тот не стал тише.

— Так, — сказал он, — ты нам достаточно долго рас-





певал. Теперь ты пойдешь с нами и будешь радоваться, что у нас такое милое общество. Ее зовут Лене, и она останется со мной. Но я хочу порадовать тебя, Роберт, слушай: мы проживем немного в покое, пока здоровы, и постараемся избежать чумы. Найдем себе хорошее место с какой-нибудь пустой хижиной или же сами ее построим, мы с Лене будем хозяином и хозяйкой, а ты нашьим другом и будешь жить с нами. Все будет хорошо и по-дружески. Согласен?

О да, Роберт был согласен. Только бы от него не требовалось подавать Лене руку или касаться ее платья.

— Нет, — сказал Гольдмунд, — этого не требуется. Тебе даже строжайше запрещается касаться Лене хотя бы пальцем. И не мечтай!

Они отправились в путь втроем, сначала молча, потом постепенно девушка разговорилась, как она рада снова видеть небо, и деревья, и луга, как страшно было там, в чумном городе, трудно передать. И она начала рассказывать, облегчая душу от печальных и ужасных картин, которые ей приходилось видеть. Немало историй рассказала она, печальных историй, маленький город стал адом. Из двух врачей один умер, другой ходил только к богатым, и во многих домах лежали мертвые и разлагались, потому что их некому было забрать, в других же домах работники, обслуживавшие мертвых, грабили, распутничали и развратничали и часто с трупами вытаскивали из постелей и живых больных, бросали в свои живодерские телеги и швыряли их вместе с мертвыми в ямы. Много дурного могла рассказать она; никто не перебивал ее. Роберт слушал с ужасом и жадностью, Гольдмунд же оставался спокойным и равнодушным, он старался освободиться от страшного и ничего не говорил по этому



поводу. Да и что тут можно было сказать? Наконец Лене устала, и поток иссяк, слова кончились. Тогда Гольдмунд пошел медленнее и начал совсем тихо напевать песню с множеством куплетов, и с каждым куплетом голос его крепчал; Лене начала смеяться, а Роберт слушал, счастливый и глубоко удивленный, — никогда до сих пор ему не приходилось слышать, как Гольдмунд поет. Все умел он, этот Гольдмунд. Вот идет и поет, удивительный человек! Он пел искусно и чисто, но приглушенным голосом. И вот уже на второй песне Лене стала тихо подпевать и вскоре запела в полный голос. Вечерело, вдаль за пашней чернели леса, а за ними поднимались невысокие голубые горы, становившиеся как бы изнутри все голубее. То радостно, то торжественно звучало их пение в такт шагам.

— Ты сегодня такой довольный, — сказал Роберт.

— Да, я довольный, конечно, я сегодня довольный, я ведь нашел такую красивую возлюбленную. Ах, Лене, как хорошо, что прислужники смерти оставили тебя для меня. Завтра найдем небольшое убежище, все будет хорошо, и будем радоваться, что пока живы-здоровы. Лене, ты видела когда-нибудь осенью в лесу толстый гриб, его еще очень любят улитки, и он съедобный?

— О да, много раз, — смеялась она.

— Твои волосы, Лене, такие же коричневые, как его шляпка, и пахнут так же хорошо. Споем еще одну? Или ты проголодалась? В моей сумке найдется кое-что.

На другой день они нашли, что искали. В небольшой березовой рощице стояла хижина из неотесанных бревен, построенная, по-видимому, дровосеками или охотниками. Она стояла пустая, дверь открылась не без труда, и даже Роберт нашел, что это хорошая хижина и здоровая





местность. По пути им встретились козы, бродившие без пастуха, и одну прекрасную козу они взяли с собой.

— Ну, Роберт, — сказал Гольдмунд, — хотя ты и не плотник, зато был когда-то столяром. Мы будем здесь жить, тебе придется сделать перегородку в нашем замке, чтобы у нас было две комнаты, одна для Лене и меня, другая — для тебя и козы. Еды у нас не так много, сегодня мы довольствуемся козьим молоком, много ли его будет или мало. Итак, ты сделаешь стену, а мы вдвоем соорудим ночлег для всех нас. Завтра я отправлюсь за пропитанием.

Все сразу принялись за дело. Гольдмунд и Лене пошли собирать солому, папоротник, мох для постелей, а Роберт точил свой нож, чтобы нарезать кольпиков для стены. Однако за один день он не успел ее сделать и ушел вечером спать под открытое небо. Гольдмунд нашел в Лене милую подругу в любовных играх, робкую и неопытную, но полную любви. Нежно положил он ее к себе на грудь и долго не спал, слушая, как бьется ее сердце, когда она, давно уставшая и удовлетворенная, заснула. Он нюхал ее каштановые волосы, прильнув к ней, думал одновременно о той плоской яме, в которую закутанные черти сбрасывали трупы с телег. Прекрасная была жизнь, прекрасно и мимолетно счастье, прекрасно и быстро увядала молодость.

Очень красивой получилась перегородка в хижине, в конце концов они сделали ее все трое. Роберт, желая показать, на что он способен, с энтузиазмом говорил о том, что бы он сделал, если бы у него только были столярный верстак и инструмент, наугольник и гвозди. Поскольку ничего этого у него не было, кроме ножа и собственных рук, он довольствовался тем, что срезал с



десяток березовых кольшкочков и сделал из них крепкий грубый забор на полу хижины. Промежутки же, так он рассудил, надо заплести дроком. На это нужно было время, но все было радостно и хорошо, и все помогали. Между тем Лене собирала еще ягоды и присматривала за козой, а Гольдмунд, ненадолго отлучаясь, осматривал местность в поисках пропитания, обследовал соседнюю округу, принося то да се. Нигде поблизости не было ни души, Роберт-то был с этим очень даже согласен, они были в безопасности как от заразы, так и от враждебности; но в этом был и свой недостаток, уж очень мало было еды. Неподалеку была покинутая крестьянская изба, на этот раз без мертвых, так что Гольдмунд предложил было перебраться в нее жить вместо их сруба, но Роберт в ужасе отказался и с неохотой смотрел, как Гольдмунд вошел в пустой дом, и каждая вещь, которую тот приносил оттуда, сначала окуривалась и мылась, прежде чем Роберт дотрагивался до нее. Немного нашел там Гольдмунд, но все-таки: две табуретки, подойник, немного глиняной посуды, топор, а однажды поймал в поле двух заблудившихся кур. Лене была влюблена и счастлива, и всем троим доставляло удовольствие строить свое маленькое гнездышко и делать его с каждым днем немножко уютнее. Не было хлеба, зато они взяли еще одну козу, нашлось также небольшое поле с репой. День шел за днем, плетеная стена была готова, постели усовершенствованы и построен очаг. Ручей был недалеко, вода в нем чистая и вкусная. За работой часто пели.



Однажды, когда они все вместе пили молоко и радовались своей домовитой жизни, Лене вдруг сказала мечтательным тоном: «А что же будет, когда придет зима?»

Никто не ответил. Роберт засмеялся, Гольдмунд стран-



но смотрел перед собой. Постепенно Лене заметила, что никто не думает о зиме, никто не собирается всерьез и надолго оставаться на одном месте, что дом — никакой не дом, что она попала к бродяге. Она повесила голову.

Тогда Гольдмунд сказал ей шутливо и ободряюще, как ребенку:

— Ты — дочь крестьянина, Лене, а они беспокоятся наперед. Не бойся, ты опять найдешь дом, когда кончится чума, не вечно же ей быть. Тогда вернешься к родителям, или кто там у тебя еще есть, или пойдешь опять в город в прислуги, и у тебя будет кусок хлеба. Сейчас же лето, а повсюду смерть, и здесь хорошо всем нам. Поэтому мы останемся здесь столько, сколько нам захочется.

— А потом? — крикнула Лене яростно. — Потом все кончится? И ты уйдешь? А я?

Гольдмунд взял ее длинную косу и слегка потянул за нее.

— Милое глупое дитя, — проговорил он, — ты уже была прислужников смерти, и вымершие дома, и огромную яму у ворот города, где горели костры? Ты должна быть рада, что не лежишь там в яме и дождь не льет на твою одежду. Подумай о том, чего ты избежала, о том, что драгоценная жизнь еще есть в твоем теле и ты можешь смеяться и петь.

Она еще не была довольна.

— Но я не хочу опять уходить, — жаловалась она, — и не хочу отпускать тебя, нет. Нельзя же радоваться, коли знаешь, что все скоро кончится и пройдет!

Еще раз ответил Гольдмунд дружелюбно, но со скрытой угрозой в голосе:

— Над этим, малышка Лене, уже ломали головы все мудрецы и святые. Нет счастья, которое длится долго. Если же то, что у нас есть сейчас, для тебя недостаточно



и больше не радуется, я в тот же час подожгу хижину, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Давай-ка по-хорошему, Лене, достаточно поговорили.

На том и остановились, и она сдалась, но тень упала на ее радость.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Еще прежде чем лето успело совсем отцвести, жизнь в хижине пришла к концу иначе, чем они предполагали. Пришел день, когда Гольдмунд долго бродил в округе с пращой в надежде подстеречь кого-нибудь вроде куропатки или другой дичи, еды становилось маловато. Лене была неподалеку и собирала ягоды, иногда он проходил мимо того места и видел сквозь кусты ее голову на загорелой шее, выступающую из льняной рубашки, или слышал ее пение; разок он взял у нее несколько ягод, потом отошел подальше и какое-то время не видел ее больше. Он думал о ней наполовину с нежностью, наполовину сердясь, она опять как-то завела разговор об осени и будущем и о том, что она, кажется, беременна и не отпустит его. Теперь уже скоро конец, думал он, хватит. Скоро я пойду один и Роберта тоже оставлю, попытаюсь до зимы дойти до большого города к мастеру Никлаусу, пробуду зиму там, а следующей весной куплю себе хорошие новые башмаки и двинусь в путь и пройду через все, пока не найду монастыря Мариабронн и не увижусь с Нарциссом, прошло, пожалуй, лет десять, как я не видел его. Я обязательно должен повидаться с ним, хоть на один-два дня.



Какой-то неприятный звук вывел его из раздумий, и вдруг он понял, как далеко зашел во всех своих мыслях



и желаний и был уже не здесь. Он чутко прислушался; тот же жуткий звук повторился, ему показалось, что он узнал голос Лене, и пошел на него, хотя ему не понравилось, что она звала его. Вскоре он был достаточно близко — да, это был голос Лене, звавший его по имени в крайней необходимости. Он пошел быстрее, все еще сердясь, но при повторных криках сострадание и озабоченность взяли верх. Когда он наконец увидел ее, она сидела или упала на колени, в совершенно разорванной рубашке и с криком боролась с каким-то мужчиной, пыгавшимся овладеть ею. В несколько длинных прыжков Гольдмунд очутился на месте, всю злость, беспокойство и тревогу, бывшие в нем, обрушил с неистовым бешенством на покушавшегося незнакомца. Он напал на него, когда тот уже совсем было придавил Лене к земле, ее обнаженная грудь кровоточила, незнакомец жадно сжимал ее в объятиях. Гольдмунд бросился на него и яростно сдавил ему руками шею, худую и морщинистую, заросшую свалывшейся бородой. С упоением давил Гольдмунд, пока мужчина не отпустил девушку и не обмяк, ослабев в руках. Продолжая душить, он протащил обессиленного и полуживого по земле к серым скалистым выступам, голо торчавшим из земли. Здесь он поднял побежденного высоко, несмотря на тяжесть, и два-три раза ударил его головой об острые скалы. Сломав шею, он отбросил тело прочь, его гнев не был удовлетворен, он мог бы и дальше издеваться над ним.

Сияющая, смотрела на это Лене. Ее грудь кровоточила, и она еще дрожала всем телом и жадно хватала воздух, но вскоре она поднялась, собравшись с силами, и не отрывая глаз, полных наслаждения и восхищения, смотрела, как ее сильный возлюбленный тащил нехва-



ного гостя, как душил его, как сломал ему шею и отшвырнул его труп. Подобно убитой змее, лежал труп, обмякший и неловко перевернувшийся, его серое лицо со спутанной бородой и редкими скудными волосами жалко свисало вниз. Торжествуя, Лене выпрямилась и бросилась Гольдмунду на грудь, однако вдруг побледнела, ужас был еще в ее членах, ей стало дурно, и она, изможденная, опустилась на кустики черники. Но вскоре она уже смогла дойти с Гольдмундом до хижины. Гольдмунд обмыл ей грудь, она была расцарапана, а на одной была рана от укуса зубов негодяя.

Роберт очень взволновался происшествием, горячо расспрашивал о подробностях борьбы.

— Сломал шею, говоришь? Великолепно! Гольдмунд, а тебя надо бояться.

Но Гольдмунд не желал больше говорить об этом, теперь он остыл, а отходя от убитого, подумал о бедном грабителе Викторе и о том, что от его руки погиб уже второй человек. Чтобы отделаться от Роберта, он сказал: «Ну теперь и для тебя есть дело. Сходи туда и смотри, чтобы труп был убран. Если слишком трудно вырыть для него яму, надо оттащить его в камыши к озеру или хорошо засыпать камнями и землей». Но это удивительное требование было отклонено, с трупом Роберт ни за что не хотел иметь дело, никто ведь не знал, нет ли в нем чумной заразы.

Лене прилегла в хижине. Укус на груди болел, однако скоро она почувствовала себя лучше, опять встала, развела огонь и вскипятила вечернее молоко; у нее было очень хорошее настроение, но ее рано отослали в постель. Она послушалась, как ягненок, настолько была в восхищении от Гольдмунда. Он же был молчалив и мра-





чен; Роберт знал, что это, и оставил его в покое. Когда поздно вечером Гольдмунд в темноте нащупал свое соломенное ложе, он, прислушиваясь, наклонился к Лене. Она спала. Он чувствовал себя беспокойно, думал о Викторе, тревожился и испытывал желание уйти; он знал, что играм в домашнюю жизнь пришел конец. Но одно делало его особенно задумчивым. Он поймал взгляд Лене, как она смотрела, когда он тащил мертвого парня и отбросил его. Станный это был взгляд, он никогда не забудет его: из расширенных от ужаса и восхищения глаз сияла гордость, триумф, глубокое страстное сопереживание наслаждения мезтью и убийством, который он никогда не видел и не подозревал увидеть в женском лице. Если бы не этот взгляд, думалось ему, он, возможно, позднее с годами забыл бы лицо Лене. Этот взгляд делал ее крестьянское лицо величественным, прекрасным и страшным. Уж сколько месяцев его глазам не представлялось ничего, что озарило бы его желанием: это нужно бы нарисовать! Тот взгляд дал ему опять почувствовать с некоторого рода ужасом трепет этого желания.

Так как он не мог заснуть, то в конце концов встал и вышел из хижины. Было прохладно, ветер слегка играл в березах. В темноте ходил он взад и вперед, потом сел на камень и сидел, погруженный в раздумья и глубокую печаль. Ему было жаль Виктора, ему было жаль того, кого он убил сегодня, ему было жаль утраченной невинности и детскости своей души. Для того ли ушел он из монастыря, оставил Нарцисса, обидел мастера Никлауса и отказался от прекрасной Лизбет, чтобы поселиться здесь, в роще, подстерегать заблудший скот и убить там на камнях этого бедного парня? Был ли во всем этом смысл, стоило ли это переживать? Сердце сжималось от



бессмыслицы и презрения к самому себе. Он опустился на землю, лег, вытянувшись, на спину и устремил взор в бледные ночные облака, долго лежал он в оцепенении, а мысли проходили перед ним; он не знал, смотрит ли он в облака на небе или в печальный мир собственной души. Вдруг в момент, когда он засыпал на камне, появилось, сверкнув будто зарница в бегущих облаках, огромное лицо, лицо Евы, взгляд был тяжелый и хмурый, но глаза вдруг широко раскрылись, огромные глаза, полные сладострастия и кровожадности. Гольдмунд проспал, пока роса не намочила его.

На другой день Лене разболелась. Ее оставили лежать, дела было много: Роберт повстречал утром в лесочке двух овец, которые вскоре убежали от него. Он зашел за Гольдмундом, больше полудня охотились они и поймали одну из овец; очень усталые, они вернулись вечером. Лене чувствовала себя очень плохо. Гольдмунд осмотрел ее и ощупал и нашел опухоли. Он скрыл это, но Роберт заподозрил недоброе, узнав, что Лене все еще больна, и не остался в хижине. Он поищет-де место для сна под открытым небом и возьмет с собой козу, ее ведь тоже можно заразить.

— Так убирайся к черту, — кричал на него Гольдмунд, расщипывая, — я не желаю тебя видеть. — Козу он схватил и взял к себе за перегородку. Без звука Роберт исчез без козы, у него было беспокойно на душе от страха, страха перед чумой, страха перед Гольдмундом, страха перед одиночеством и ночью. Он улегся неподалеку от хижины.

Гольдмунд сказал Лене:

— Я останусь с тобой, не беспокойся. Ты скоро поправишься.





Она покачала головой.

— Смотри, дорогой, чтобы тебе не подцепить болезнь, ты не подходи больше ко мне так близко. Не старайся утешать меня. Я должна умереть, и для меня лучше умереть, чем увидеть однажды, что твоя постель пуста и ты оставил меня. Каждое утро я думала об этом и боялась. Нет, я лучше умру.

К утру ей стало совсем плохо. Гольдмунд время от времени давал ей глоток воды, проспав в промежутке с час. Теперь при утреннем свете он отчетливо увидел на ее лице близкую смерть, оно стало уже таким вялым и неспособным к сопротивлению. Он вышел ненадолго из хижины глотнуть свежего воздуха и посмотреть на небо. Несколько кривых стволов сосен на опушке леса уже золотились на солнце, свеж и сладок был воздух, далекие холмы еще терялись в утренней дымке. Он немного прошелся, разминая уставшие члены и глубоко дыша. Прекрасен был мир в это печальное утро. Итак, скоро опять в путь. Настало время прощания.

Из леса его окликнул Роберт. Не лучше ли ей? Если это не чума, он останется. Пусть Гольдмунд не сердится на него, он пас это время овцу.

— Иди к чертям вместе со своей овцой! — крикнул ему Гольдмунд в ответ. — Лене умирает, и я заразился.

Последнее было ложь; он сказал это, чтобы отделаться от него. Хотя Роберт и был добродушным парнем, Гольдмунду он надоел, он казался ему слишком трусливым и ничтожным, слишком не подходил для него в это время, полное судьбоносности и потрясения. Роберт исчез и больше не появлялся. Вставало яркое солнце.

Когда он вернулся к Лене, она спала. Он тоже заснул еще раз, во сне он увидел свою бывшую лошадь



Блесса и прекрасный монастырский каштан; на душе у него было так, как будто из бесконечной дали и безысходности он опять смотрит на милую, утраченную родину, и, когда он проснулся, слезы текли по его бородастым щекам. Он услышал, что Лене говорит что-то тихим голосом, ему показалось, что она зовет его, и он приподнялся на постели; но она говорила, ни к кому не обращаясь, лепетала просто так ласковые слова, ругательные, смеялась немного, потом начала тяжело вздыхать и всхлипывать, постепенно опять затихая. Гольдмунд встал, наклонился над ее уже искаженным лицом, с горьким любопытством следил он глазами за ее чертами, так страшно обезображенными и опустошенными палящим дыханием смерти. Милая Лене, взывало его сердце, милое доброе дитя, и ты оставляешь меня? С тебя уже довольно?

Охотно он убежал бы прочь. В путь, в путь, шагать, дышать, уставать, видеть новые картины, это подействовало бы благотворно на него, возможно, смягчило бы его глубокую удрученность. Но он не мог, нельзя было оставлять дитя одиноко умирать здесь. Едва решался он каждые два часа на какое-то время выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Так как Лене уже не принимала молока, он сам напился его досыта, больше есть было нечего. Козу он тоже несколько раз выводил поесть травы, попить и подвигаться. Потом он опять стоял у постели Лене, нашептывая нежности, неотрывно смотрел ей в лицо, безутешно, но внимательно глядя, как она умирает. Она была в сознании, время от времени засыпала, а когда просыпалась, открывала глаза лишь наполовину, веки были утомлены и слабы. На его глазах молодая женщина с каждым часом становилась старие, на





свежей молодой шее покоилось быстро вянувшее лицо старухи. Она лишь изредка произносила какое-нибудь слово, говорила «Гольдмунд» или «любимый»; пытаясь увлажнить языком распухшие посиневшие губы. Тогда он давал ей несколько капель воды.

На следующую ночь она умерла. Умерла не жалуясь, прошла лишь короткая судорога, потом остановилось дыхание, и по коже пробежала дрожь, при виде этого волна поднялась у него в сердце, и ему вспомнились умирающие рыбы, которых он часто видел и жалел на рыбном базаре: именно так угасали они, с судорогой и тихой горестной дрожью, пробегавшей по их коже и уносившей с собой блеск и жизнь. Он постоял на коленях возле Лене еще какое-то время, потом вышел наружу и сел в заросли вереска. Вспомнив о козе, он вошел еще раз и вывел ее, она, немного покружив, легла на землю. Он лег рядом, положив голову на ее бок, и проспал до рассвета. Теперь он в последний раз вошел в хижину, за плетеную стену посмотреть на лицо бедной умершей. Ему было неприятно оставлять ее лежать здесь. Он вышел и набрал полные охапки хвороста и сухого валежника, бросил в хижину, высек огонь и поджег. Из хижины он ничего не взял с собой, кроме огнива. В момент вспыхнула сухая дроковая стена. Он стоял снаружи и смотрел с порозовевшим от огня лицом, пока всю крышу не охватило пламя и не упала первая балка. В страхе, жалобно блея, прыгала коза. Неплохо было бы убить животное и часть прокоптить и съесть, чтобы силы были для путешествия. Но он был не в состоянии, он отогнал козу в поле и пошел прочь. Вплоть до леса его преследовал дым от пожара. Никогда еще он не был так безутешен, начиная странствие.



И все же то, что предстояло ему, оказалось хуже, чем можно было ожидать. Началось с первых же дворов и деревень и продолжалось, усугубляясь, по мере того, как он двигался дальше. Местность, вся обширная страна была объята смертью, охвачена ужасом, страхом и помрачением душ, и самое скверное было не в вымерших домах, не в изголодавшихся на цепи или разлагавшихся дворовых собаках, не в лежавших непохороненных мертвых, не в нищенствующих детях, не в общих могилах возле городов. Самым скверным были живые, которые под тяжестью ужасов и страха смерти, казалось, потеряли глаза и души. Странные и жуткие вещи приходилось слышать и видеть страннику повсюду. Родители оставляли детей, мужья жен, если те заболели. Прислужники чумы и больничные работники действовали как палачи, они грабили опустевшие дома, по своему произволу то оставляли трупы непогребенными, то стаскивали с кроватей на трупные телеги умирающих, прежде чем они испустят дух. Запуганные беглецы одиноко блуждали в округе, одичалые, избегая любого соприкосновения с людьми, гонимые страхом смерти. Другие объединялись в подогреваемой страхом смерти жажде жизни, устраивали кутежи, справляли праздники, танцуя и любя, но и тут смерть правила бал. Бездомные, печалась и проклиная, с безумными глазами сидели третьи перед кладбищами у своих опустевших домов. И что хуже всего — каждый искал для этого невыносимого бедствия козла отпущения, каждый утверждал, что знает нечестивцев, которые виноваты в чуме и являются ее злонамеренными зачинщиками. Сатанисты, стало быть, злорадно старались распространять смерть, извлекая из чумных трупов яд, мазали им стены и ручки дверей, отравляли





колодцы и скот. На кого падало подозрение в этих мерзостях, тот погибал, если не бывал предупрежден и не мог бежать; его приговаривали к смерти либо юридически, либо сама чернь. Кроме того, богатые обвиняли бедных, и наоборот, или это были евреи, или чужеземцы, или врачи. В одном городе Гольдмунд с похолодевшим сердцем наблюдал, как горел целый еврейский переулок, дом к дому, вокруг стояла орущая толпа, и кричащих беглецов загоняли обратно в огонь оружием. В безумии страха и ожесточения везде убивали, жгли, мучили невинных. С яростью и отвращением смотрел на все это Гольдмунд, мир казался разрушенным и отравленным, казалось, на земле не было больше ни радости, ни невинности, ни любви. Часто убегал он на бурные празднества жизнерадостных, всюду звучала скрипка смерти, он вскоре научился различать ее звуки, нередко он сам принимал участие в отчаянных попойках, играл при этом на лютне или танцевал при свете смоляных факелов лихорадящими ночами.

Страха он не чувствовал. Однажды испытал он страх смерти, в ту зимнюю ночь под елями, когда пальцы Виктора сдавили ему горло, а также голодая в снегу в какой-то трудный день странствия. То была смерть, с которой можно было бороться, против которой была защита, и он защищался, дрожащими руками и ногами, с пустым желудком, изможденный, он защищался, победил и ушел от нее. Но с этой смертью от чумы нельзя было бороться, ей надо было дать отбушевать и смириться перед ней, и Гольдмунд давно смирился. Страха у него не было, казалось, для него нет ничего больше важного в жизни, с тех пор как он оставил Лене в горящей хижине, с тех пор как он день за днем шел по опустошенной



смертью стране. Но невероятное любопытство гнало его и заставляло бодрствовать; он был неутомим, наблюдая смерть, слушая песнь тлена, никуда не уклонялся, постоянно охваченный спокойной страстью быть свидетелем и проделать путь в ад с открытыми глазами. Он ел заплесневелый хлеб в опустевших домах, он пел и распивал вино на безумных пирушках. Срывая быстро вянувший цветок желания, смотрел в застывшие пьяные глаза женщин, в застывшие безумные глаза пьяных, в угасающие глаза умирающих, любил отчаявшихся, лихорадочных женщин, помогал выносить мертвых за тарелку супа, за пару грошей засыпал голые трупы. Мрачно и дико стало в мире, во всю глотку пела смерть свою песню, Гольдмунд внимал ей с отверстыми ушами, с горящей страстью.

Его целью был город мастера Никлауса, туда звал его голос сердца. Долгим был путь, и был он полон смерти, увядания и умирания. Печально двигался он туда, оглушенный песнью смерти, отдавшись громко кричащему страданию мира, печально и все же пылко, с широко раскрытой душой.

В одном монастыре он увидел недавно нарисованную фреску, он долго рассматривал ее. На одной стене была изображена пляска смерти, бледная, костлявая смерть уводила в танце людей из жизни: короля, епископа, аббата, графа, рыцаря, врача, крестьянина, ландскнехта, всех забирала с собой, и костлявые музыканты подыгрывали при этом на голых костях. Глубоко в себя впитывали картину жадные глаза Гольдмунда. Незнакомый собрат извлек урок из того, что видел в черной смерти, и пронзительно прокричал горькую проповедь о смертности прямо в уши людям. Она была хороша, картина, хороша была и проповедь, неплохо понимал свое дело этот





незнакомый собрат, лязгом костей и жутью веяло от картины. И все-таки это было не то, что видел и пережил он сам, Гольдмунд. Здесь была изображена неизбежность смерти, строгая и неумолимая. А Гольдмунду виделась другая картина, совсем иначе звучала в ней дикая песня смерти, не лязгом костей и строгостью, а скорее сладостным соблазном манила обратно на родину, к матери. Там, где смерть простирала руку над жизнью, слышались не только пронзительные звуки войны, звучала также и глубокая любовь, по-осеннему насыщенная, а вблизи смерти огонек жизни пылал ярче и искренне. Пусть для других смерть будет воином, судьбой или палачом, строгим отцом — для него смерть была также матерью и возлюбленной, ее зов манил любовью, ее прикосновение — любовным трепетом. Когда, насмотревшись на изображение пляски смерти, Гольдмунд пошел дальше, его с новой силой потянуло к мастеру и к творчеству. Но всюду случались задержки, новые задержки и переживания, дрожащими ноздрями вдыхал он воздух смерти, сострадание или любопытство останавливали то на час, то на день. Три дня с ним пробыл маленький, хныкающий крестьянский мальчик, часами нес он его на спине, полуголодное существо пяти или шести лет, доставлявшее ему много хлопот и от которого он с трудом освободился. Наконец мальчика взяла у него жена угольщика, ее муж умер, ей хотелось иметь возле себя кого-нибудь живого. Несколько дней его сопровождала бездомная собака, ела у него с руки, согревала по ночам, но однажды утром потерялась. Ему было жаль ее, он привык разговаривать с ней, по полчаса обращался он к псу с горькими речами о людской низости, о существовании Бога, об искусстве, о груди и бедрах младшей дочери



рыцаря по имени Юлия, которую он знал в молодости. Потому что, естественно, за время своего странствия в мире смерти Гольдмунд немного повредился в уме, все люди в чумной местности были немного сумасшедшими, а многие — совсем и окончательно. Немного не в себе, по-видимому, и молодая еврейка Ревекка, красивая черноволосая девушка с горящими глазами, с которой он потерял два дня.

Он встретил ее перед маленьким городком в поле, она сидела перед кучей обуглившихся развалин и рыдала, ударяя себя по лицу и рвя свои черные волосы. Он пожалел волосы, они были так прекрасны, поймал ее ясные руки и, сдерживая их, заговорил с девушкой, заметив при этом, что ее лицо и фигура тоже очень красивы. Она оплакивала отца, который вместе с четырнадцатью другими евреями был сожжен по приказу властей, ей же удалось бежать, но теперь она в отчаянии вернулась и обвиняет себя, что не дала себя сжечь вместе с ним. Терпеливо удерживал он ее дрожащие руки и мягко заговаривал, бормоча сочувственные и покровительственные слова, предлагал помощь. Она попросила помочь ей похоронить отца, и они, собрав все кости из еще горячей золы, отнесли их в укромное место и закопали в землю. Между тем настал вечер, и Гольдмунд нашел место для ночлега, в дубовом лесочке он устроил девушке постель, пообещав посторожить, и слышал, как лежа она продолжала плакать и вздыхать и наконец заснула. Тогда он немного поспал, а утром начал свои ухаживания. Он говорил ей, что ей нельзя так оставаться одной, в ней узнают еврейку и убьют, или беспутные проходимцы обесчестят ее, а в лесу волки и цыгане. Он же, он возьмет ее с собой и защитит от волков и людей,





потому что ему жаль ее, и он очень хорошо относится к ней, и ни за что не потерпит, чтобы эти милые умные глаза и эти роскошные плечи сожрали звери или попали на костер. Мрачно слушала она его, вскочила и убежала. Ему пришлось выследить ее и поймать, прежде чем уйти.

— Ревекка, — сказал он, — ты же видишь, я не хочу тебе ничего плохого. Ты огорчена, думаешь об отце, ты ничего не хочешь знать о любви. Но завтра или послезавтра, или еще позже, я опять спрошу тебя, а пока буду защитником и принесу тебе поесть и не трону тебя. Будь печальна, сколько нужно. Ты и при мне можешь быть печальной или радостной, ты всегда будешь делать то, что доставляет тебе радость.

Но все говорилось впустую. Ей ничего не хочется делать того, говорила она озлобленно и яростно, что доставляло бы радость, ей хочется делать то, что доставит страдания, никогда больше она не подумает о чем-либо вроде радости, и чем скорее волк съест ее, тем лучше. Он может идти, ничто не поможет, и так слишком много сказано.

— Ты разве не видишь, — сказал он, — что повсюду смерть, что во всех домах и городах умирают и все полно горя. И ярость глупых людей, которые сожгли твоего отца, не что иное, как нужда и горе, и происходит от слишком больших страданий. Посмотри, скоро смерть наступит и нас, и мы сгинем в поле, а нашими костями будет играть крот. Позволь нам пока еще пожить и порадовать друг друга. Ах, так жаль твоей белой шеи и маленькой ножки! Милая прелестная девочка, пойдем со мной, я не трону тебя, я хочу лишь смотреть на тебя и заботиться о тебе.



Он еще долго упрашивал и вдруг почувствовал сам, насколько бесполезно уговаривать словами и доводами. Он замолчал и печально посмотрел на нее. На ее гордом царственном лице застыл отказ.

— Таковы уж вы, — сказала она наконец голосом, полным ненависти и презрения, — таковы уж вы, христиане! Сначала ты помогаешь дочери похоронить отца, которого убили такие же, как ты, не стоящий и ногтя на его мизинце, и едва дело сделано, девушка должна принадлежать тебе и идти миловаться с тобой. Вот вы какие! Сначала я подумала, может, ты хороший человек! Да как же ты можешь быть хорошим! Ах, свиньи вы!

Пока она говорила, Гольдмунд увидел в ее глазах: за ненавистью что-то пылало, тронувшее и пристыдившее его и глубоко проникавшее в сердце. Он увидел в ее глазах смерть, не необходимость смерти, а желание ее, ее дозволенность, тихая послушность и готовность следовать зову земли-матери.

— Ревекка, — сказал он тихо, — ты, возможно, права. Я не хороший человек, хотя я думал сделать как лучше. Прости меня. Я только сейчас тебя понял.

Сняв шапку, он глубоко поклонился ей как царице и пошел прочь с тяжелым сердцем; он вынужден был оставить ее на погибель. Долго он еще оставался в печали, ни с кем не желая разговаривать. Как ни мало походили они друг на друга, это гордое еврейское дитя напоминало ему чем-то Лидию, дочь рыцаря. Любить таких женщин было страданием. Однако какое-то время ему казалось, будто он никогда не любил никого, кроме этих двух, бедной, боязливой Лидии и нелюдимою, ожесточенной еврейки.

Еще не один день думал он о черноволосой пылкой





девушке и не одну ночь мечтал о стройной обжигающей красоте ее тела, предназначенной, казалось, для счастья и расцвета и уже преданной, однако, умиранию. О, неужели эти губы и грудь станут добычей «свиней» и сгниют в поле! Разве нет силы, нет заклания, чтобы спасти эти драгоценности? Да, было одно такое заклятье: они должны продолжать жить в его душе, чтобы он изобразил их и тем сохранил. С ужасом и восторгом чувствовал он, как переполнена его душа образами, как это долгое странствие по стране смерти заполнило его до отказа фигурами. О, с каким нетерпением ждала эта полнота в его душе часа, как страстно требовала спокойного осмысления, возможности низвержения и превращения в воплощенные образы! Все более пылко и жадно стремился он дальше, со все еще отверстыми глазами и жадными до новых чувств, но уже полный страстной тоски по бумаге и карандашу, по глине и дереву, по мастерской и работе.

Лето прошло. Многие уверяли, что с наступлением осени или в крайнем случае к началу зимы чума прекратится. То была безрадостная осень. Гольдмунд проходил через места, где никого не осталось, чтобы собрать фрукты, они падали с деревьев и гнили в траве; в других местах одичавшие орды из городов по-разбойничьи опустошали и растаскивали все.

Медленно приближался Гольдмунд к своей цели, и как раз в это время на него подчас нападал страх, что он, не достигнув ее, подцепит чуму и умрет где-нибудь в конюшне. Теперь он не хотел умирать, нет, пока не насладится счастьем еще раз стоять в мастерской и отдаваться творчеству. Первый раз в жизни мир казался ему слишком огромным, а германская империя слишком большой. Ни



один красивый городок не прельщал его отдохнуть, ни одна красивая девушка не могла удержать дольше, чем на одну ночь.

Как-то он проходил мимо церкви, на портале которой в глубоких нишах, несомых в виде украшения колонками, стояло много каменных фигур очень древних времен, фигур ангелов, апостолов, мучеников, подобных им он уже видел не раз; и в его монастыре, в Мариабронне, было немало фигур такого рода. Раньше, мальчиком, он охотно, но без увлечения рассматривал их; они казались ему красивыми и полными достоинств, но немного слишком торжественными, чопорными и старомодными. Позднее же, после того как в конце своего первого большого странствия он так сильно проникся и был восхищен фигурой прелестной печальной Божьей Матери мастера Никлауса, он стал находить эти древнефранкские торжественные каменные фигуры слишком тяжелыми и неподвижными и чуждыми, он рассматривал их с определенным высокомерием и в новой манере своего мастера видел намного более живое, искреннее, одушевленное искусство. И вот сегодня, когда он, полный образов, с душой, иссеченной рубцами и заметами, возвращался из мира сильных переживаний и приключений, был полон болезненной тоски по осмыслению и новому творчеству, эти древние строгие фигуры вдруг тронули его сердце с необычайной силой. Сосредоточенный, стоял он перед почтенными фигурами, в которых продолжала жить душа давно минувшего времени, застыв в камне, тлену вопреки, столетия спустя представляли они страхи и восторги давно исчезнувших поколений. В его одичавшем сердце с ужасом и смирением поднялось чувство благоговения и отвращение к собственной растроченной и





прожженной жизни. Он сделал то, чего не делал бесконечно давно, он нашел исповедально, чтобы исповедаться и понести наказание.

Однако исповедален в церкви было сколько угодно, но ни одного священника; они умерли, лежали в больнице, бежали, боясь заразиться. Церковь была пуста, глухо отражали каменные своды шаги Гольдмунда. Он опустился на колени перед одной из исповедален, закрыл глаза и прошептал в решетку: «Господи, посмотри, что со мной стало. Я возвращаюсь из мира дурным, бесполезным человеком, я попусту растратил свои молодые годы как мот, осталось уже немного. Я убивал, воровал, я распутничал, я бездельничал и ел хлеб других. Господи, почему Ты создал нас такими, зачем ведешь нас такими путями? Разве мы не дети Твои? Разве не Твой Сын умер за нас? Разве нет святых и ангелов, чтобы руководить нами? Или все это красивые вымышленные слова, которые рассказывают детям, а сами пастыри смеются над ними? Я разуверился в Тебе, Бог-Отец, Ты сотворил дурной мир и плохо поддерживаешь порядок в нем. Я видел дома и переулки, полные валяющихся трупов, я видел, как богатые заперлись в своих домах или бежали, а бедные оставляли своих братьев непогребенными, подозревали один другого и убивали евреев, как скот. Я видел, как множество невинных страдает и погибает, а множество злых купается в благополучии. Неужели Ты нас забыл и оставил, разве Твое творение Тебе совсем опротивело и Ты хочешь, чтобы все мы погибли?»

Вздыхая, прошел он через высокий портал и посмотрел на молчащие каменные фигуры ангелов и святых, худые и высокие, стояли они в своих одеяниях, застывших складками, неподвижные, недоступные, сверхчело-



веческие и все-таки созданные людьми и человеческим духом. Строго и немо стояли они там высоко в своем малом пространстве, недоступные просьбам и вопросам и все-таки были бесконечным утешением, торжествующей победой над смертью и отчаянием, стоя вот так в своем достоинстве и красоте и переживая одно умирающее поколение людей за другим. Ах, если бы здесь стояли также бедная прекрасная еврейка Ревекка, и бедная, сторевшая вместе с хижинной Лене, и прелестная Лидия, и мастер Никлаус! Но они будут когда-нибудь стоять, и долго, он поставит их, и их фигуры, внушающие ему сегодня любовь и мучения, страх и страсть, предстанут позднее перед живущими без имен и историй, тихие, молчаливые символы человеческой жизни.



ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Наконец цель была достигнута, и Гольдмунд вступил в желанный город, через те же ворота, в которые прошел когда-то в первый раз, столько лет тому назад, в поисках своего мастера. Некоторые сведения из епископского города дошли до него еще в пути при приближении к нему, и он узнал, что и тут была чума, а возможно, еще и есть, ему рассказали о волнениях и народных восстаниях и что для наведения порядка прибыл кайзеровский наместник, чтобы принять необходимые законы в защиту имущества и жизни граждан, потому что епископ покинул город сразу после того, как разразилась чума, и обосновался далеко за городом в одном из своих замков. Все эти сведения мало касались путешественника. Лишь бы город еще стоял и мастерская, где он соби-



рался работать! Все остальное было для него неважно. Когда он прибыл, чума стихала, ждали возвращения епископа и радовались отъезду наместника и возвращению к привычной мирной жизни.

Когда Гольдмунд вновь увидел город, через его сердце прокатилась волна обретения и чувства родины, никогда ранее не испытываемые, и ему пришлось сделать непривычно строгое лицо, чтобы овладеть собой. О, все было на месте: ворота, прекрасные фонтаны, старая, неуклюжая колокольня собора и стройная новая — церкви Марии, чистый звон у Святого Лоренца, огромная сияющая базарная площадь! О, как хорошо, что все это ждало его! Видел же он как-то дорогой во сне, будто пришел сюда, а все чужое и изменившееся, частью разрушено и в развалинах, частью незнакомо из-за новых построек и странных неблагоприятных знаков. Он чуть не прослезился, проходя по переулкам, узнавая дом за домом. В конце концов и оседлым можно позавидовать, их красивым надежным домам, их мирной бюргерской жизни, их покойному крепкому чувству родины, своего дома с комнатой и мастерской, с женой и детьми, челядью и соседями.

Было далеко за полдень, и с солнечной стороны переулка дома, вывески хозяев и ремесленных цехов, резные двери и цветочные горшки стояли освещенные теплыми лучами, ничто не напоминало о том, что в этом городе свирепствовала смерть и царил безумный страх. Прохладная, светло-зеленая и светло-голубая струилась под звучными сводами моста чистая река; Гольдмунд посидел немного на набережной, внизу в зеленых кристаллах все так же скользили темные, похожие на тени рыбы или стояли неподвижно, повернув головы против течения, все



так же вспыхивал из сумрака глубины здесь и там слабый золотистый свет, так много обещая и поощряя фантазию. И в других реках бывало это, и другие мосты и города выглядели красиво, и все-таки ему казалось, что он очень давно не видел и не чувствовал ничего подобного.

Двое молодых помощников мясника гнали, смеясь, теленка, они обменялись взглядами и шутками с прислугой, снимавшей белье на крытой галерее над ними. Как быстро все прошло! Еще недавно здесь горели противочумные костры и правили страшные больничные прислужники, а сейчас жизнь опять шла дальше, люди смеялись и шутили, да и у него самого на душе было так же, он сидел и был в восторге от встречи и чувствовал себя благодарным и даже полюбил оседлых, как будто не было ни горя, ни смерти, ни Лене, ни еврейской принцессы. Улыбаясь, он встал и пошел дальше, и только когда он приблизился к переулку мастера Никлауса и проходил опять по дороге, которой годы тому назад ходил каждый день на работу, сердце его защемило от беспокойства. Он пошел быстрее, желая еще сегодня поговорить с мастером и узнать ответ, дело не терпело отлагательства, не было никакой возможности ждать до завтра. Неужели мастер все еще сердится на него? Это было так давно, теперь это не имело никакого значения; а если это все же так, он преодолеет это. Если только мастер еще там, он и мастерская, то все будет хорошо. Поспешно, как бы боясь что-то забыть в последнюю минуту, он подошел к хорошо знакомому дому, дернул ручку двери и испугался, когда нашел ворота закрытыми. Значило ли это что-то недоброе? Раньше никогда не случалось, чтобы эту дверь держали на запоре днем. Он громко постучал и ждал. У него вдруг стало очень тоскливо на сердце.





Вышла та же самая служанка, которая встретила его когда-то при первом посещении этого дома. Безобразнее она не стала, но постарела и стала неприветливее. Гольдмунда она не узнала. С робостью в голосе спросил он мастера. Она посмотрела на него тупо и недоверчиво.

— Мастер? Здесь нет никакого мастера. Идите-ка дальше, никого не велено пускать.

Она хотела было вытолкнуть его, он же, взяв ее за руку, крикнул ей:

— Скажи, Маргрит, ради Бога! Я — Гольдмунд, разве ты не знаешь? Мне нужно к мастеру Никлаусу.

В дальних, наполовину угасших глазах не появилось приветливости.

— Здесь нет больше мастера Никлауса, — сказала она отчужденно, — он умер. Сделайте одолжение, идите себе дальше, я не могу стоять здесь и болтать.

Гольдмунд, чувствуя, как все в нем рушится, отодвинул старуху в сторону, та с криком побежала за ним, он поспешил через темный проход к мастерской. Она была заперта. Сопровождаемый жалобами и ругательствами старухи, он взбежал по лестнице вверх, заметив в сумраке знакомого помещения стоящие фигуры, собранные Никлаусом. Громким голосом он позвал барышню Лизбет.

Дверь комнаты открылась, и появилась Лизбет, и когда он лишь со второго взгляда узнал ее, сердце у него сжалось. Если все в этом доме с того момента, как он нашел ворота запертыми, казалось призрачным и заколдованным, как в дурном сне, то теперь при взгляде на Лизбет он содрогнулся от ужаса. Красивая гордая Лизбет стала робкой, сгорбленной старой девой, с желтым, болезненным лицом, в черном платье без украшений, с неуверенным взглядом и пугливой манерой держаться.



— Простите, — сказал он, — Маргрит не хотела меня впускать. Вы не узнаете меня? Я — Гольдмунд. Ах, скажите, это правда, что ваш отец умер?

По ее взгляду он понял, что теперь она его узнала, и сразу же увидел, что здесь его помнят не по доброму.

— Итак, вы — Гольдмунд? — сказала она, и в ее голосе он узнал что-то от ее прежней высокомерной манеры. — Вы напрасно беспокоились. Мой отец умер.

— А мастерская? — вырвалось у него.

— Мастерская? Закрыта. Если вы ищете работу, вам надо пойти куда-нибудь в другое место.

Он попытался взять себя в руки.

— Барышня, — сказал он дружелюбно, — я не ищу работу, я хотел лишь поприветствовать мастера и вас. Мне очень жаль того, что пришлось услышать! Я вижу, вам было нелегко. Если благодарный ученик вашего отца может вам чем-нибудь служить, скажите, это было бы для меня радостью. Ах, барышня Лизбет, у меня сердце разрывается от того, что я нашел вас в такой глубокой печали.

Она отошла обратно к двери комнаты.

— Благодарю, — сказала она, помедлив. — Вы не можете больше ничем послужить ему и мне тоже. Маргрит вас проводит.

Плохо звучал ее голос, наполовину зло, наполовину боязливо. Он почувствовал: если бы ей хватило мужества, она выставила бы его с руганью.

Вот он уже внизу, вот уже старуха заперла за ним ворота и задвинула засовы. Он еще слышал удары обоих засовов, это звучало, как заколачивание крышки гроба.

Он вернулся на набережную и сел опять на старое место над рекой. Солнце зашло, от воды тянуло холодом, холодным был камень, на котором он сидел. При-





брежний переулоч затих, у столбов моста плескалось течение, глубина темнела, золотой блеск уже не играл на ней. О, думал он, если бы мне теперь упасть и исчезнуть в реке! Опять мир полон смерти. Прошел час, и сумерки превратились в ночь. Наконец он смог заплакать. Он сидел и плакал, сквозь пальцы падали теплые капли. Он оплакивал умершего мастера, утраченную красоту Лизбет, он оплакивал Лене, Роберта, девушку-еврейку, свою увядшую, растраченную молодость.

Совсем поздно он очутился в одном погребке, где когда-то часто кутил с товарищами. Хозяйка узнала его, он попросил кусок хлеба, она дала ему по дружбе и бокал вина. Он не пошел вниз. На скамье в погребке проспал ночь. Хозяйка разбудила его утром, он поблагодарил и ушел, доедая по дороге кусок хлеба.

Он пошел к рыбному базару, там находился дом, в котором у него когда-то была комната. Возле фонтана несколько рыбачек предлагали свой живой товар, он загляделся на красивых блестящих рыб в садках. Часто видел он это раньше, ему вспомнилось, что нередко он испытывал жалость к рыбам и ненависть к женщинам и продавцам. Как-то, припомнил он, ему пришлось провести здесь тоже утро, он восхищался рыбами и жалел их и был очень печален, с тех прошло много времени и утекло немало воды. Он был очень печален, это он помнил хорошо, но из-за чего — уже забыл. Вот так: и печаль прошла, и боль и отчаяние прошли, так же, как радости, они прошли мимо, поблекшие, утратив свою глубину и значение, и наконец пришло время, когда уже и не вспомнить, что же причиняло когда-то такую боль. И страдания тоже отцветали и блекли. Поблекнет ли сегодняшняя боль когда-нибудь и потеряет ли свое зна-



чение его отчаяние из-за того, что мастер умер, сердясь на него, и что не было мастерской, чтобы испытать счастье творчества и скинуть с души груз образов? Да, без сомнения, устареет и утихнет и эта боль, и эта горькая нужда, и они забудутся. Ни в чем нет постоянства, даже в страдании.

Стоя так, уставившись на рыб и предаваясь этим мыслям, он услышал тихий голос, приветливо называвший его по имени.

— Гольдмунд, — звал его кто-то робко, и когда он поднял голову, перед ним стояла хрупкая и несколько болезненная молодая девушка с прекрасными темными глазами, она-то и звала его. Он ее не узнал.

— Гольдмунд! Ты ли это? — произнес робкий голос. — Давно ли ты опять в городе? Ты меня не узнаешь? Я — Мария.

Но он ее не узнавал. Ей пришлось рассказать, что она дочь его бывшей хозяйки и когда-то ранним утром перед его уходом напоила его в кухне молоком. Она покраснела, рассказывая это.

Да, это была Мария, бедное дитя с поврежденным суставом бедра, так мило позаботившаяся о нем тогда. Теперь он все вспомнил: она ждала его прохладным утром и была так грустна из-за его ухода, она напоила его молоком, и он отблагодарил ее поцелуем, который она приняла тихо и торжественно, как святыню. Никогда больше он не думал о ней. Тогда она была еще ребенком. Теперь она стала взрослой, и у нее были очень красивые глаза, но она все еще хромала и выглядела несколько болезненно. Он подал ей руку. Его обрадовало, что все-таки кто-то в городе еще помнил его и любил.





Мария взяла его с собой, он почти не сопротивлялся. У ее родителей в комнате, где все еще висел его портрет, а красный рубиновый бокал стоял на полке над камином, ему пришлось отобедать, и его пригласили остаться на несколько дней, здесь были рады снова увидеться с ним. Здесь же он узнал, что произошло в доме его мастера. Никлаус умер не от чумы, а вот прекрасная Лизбет заболела чумой, она лежала смертельно больная, и отец ухаживал за ней до самой смерти, он умер до того, как она совсем поправилась. Она была спасена, но красота ее пропала. «Мастерская пустует, — сказал хозяин дома, — и для толкового резчика наготове налаженное и выгодное дело. Подумай-ка, Гольдмунд. Она не откажет. У нее нет другого выбора».

Он узнал еще то да се из времен чумы, что толпа подожгла больницу, а потом захватила и разграбила несколько богатых домов, какое-то время в городе совсем не стало порядка и защиты, потому что епископ сбежал. Тогда король, который был как раз неподалеку, прислал сюда наместника, графа Генриха. Ну так вот, господин этот не промах, с несколькими своими рыцарями и солдатами навел порядок в городе. Но теперь-то уж скоро его правление кончится, ждут обратно епископа. Граф немало требует для себя от горожан, да и его наложница Агнес порядком надоела всем, вот уж поистине исчадь ада. Ну да ничего, скоро они отбудут, совет общины давно съг ими по горло, вместо доброго епископа иметь на своей шее такого придворного и вояку, он ведь любимчик короля и постоянно принимает посланцев и депутации, что твой князь.

Теперь и гостя спросили о его приключениях.

— Ах, — сказал он грустно, — что об этом говорить?



Я бродил и бродил, и всюду была чума, и вокруг лежали мертвые и повсюду сумасшедшие и злые от страха люди. Вот остался в живых, возможно, все это когда-нибудь забудется. Я вот вернулся, а мастер мой умер! Позвольте мне остаться на несколько дней и отдохнуть, а потом я пойду дальше.

Он остался не для отдыха. Он остался, потому что был разочарован и нерешителен, потому что воспоминания о более счастливых временах в городе были ему дороги и потому что любовь бедной Марии действовала на него благотворно. Он не мог дать ей ничего, кроме приветливой сострадательности, но ее тихое, смиренное поклонение все-таки согревало его. Однако больше всего его удерживала в этом месте жгучая потребность снова стать художником, пусть даже без мастерской, пусть как-то по-другому.

В течение нескольких дней Гольдмунд только и делал, что рисовал. Мария достала ему бумагу и перья, и вот он сидел в своей комнате и часами рисовал, заполняя большой лист то быстро набросанными, то с любовью выписанными нежными фигурами, изливая на бумагу переполненную образами душу. Он много раз рисовал лицо Лене, с улыбкой, полной удовлетворения, любви и жажды крови после убийства бродяги, и лицо Лене в ее последнюю ночь, уже готовое истаять в бесформенности, вернуться к земле. Он рисовал маленького крестьянского мальчика, которого когда-то увидел лежащим мертвым на пороге в комнату родителей, со сжатыми кулачками. Он рисовал телегу, полную трупов, запряженную тремя усталыми клячами, сопровождаемую живодерами-прислужниками с длинными шестью, с глазами, мрачно смотрящими из прорезей черных противочумных масок.





Он снова и снова рисовал Ревекку, стройную, чернокожую еврейку, ее узкие гордые губы, ее лицо, полное боли и отчаяния, ее прелестную юную фигуру, казалось, созданную для любви, ее высокомерный горький рот. Он рисовал самого себя странником, любящим, убегающим от косящей смерти, танцующим на оргиях жадных к жизни пирующих во время чумы. Самозабвенно склонился он над бумагой, рисовал высокомерное, твердое лицо девицы Лизбет, каким он его знал раньше, уродливую старую служанку Маргрит, дорогое и внушающее страх лицо мастера Никлауса. Несколько раз он намечал также тонкими, неопределенными штрихами большую женскую фигуру матери-земли, сидящую с руками на коленях, с легкой улыбкой на лице, с печальными глазами. Бесконечно благодатно действовало на него это излияние, чувство рисующей руки, власть над видениями. За несколько дней он полностью изрисовал все листы, которые принесла ему Мария. От последнего листа он отрезал кусок и нарисовал на нем скупыми штрихами лицо Марии с прекрасными глазами, отреченным ртом. Его он подарил ей.

Благодаря рисованию он освободился, нашел выход и облегчение от чувства тяжести, застоя и переполненности в душе. Пока он рисовал, он не знал, где он, его миром был только стол, белая бумага, по вечерам свеча и ничего больше. Теперь он проснулся, вспоминая недавно пережитое, видел перед собой неизбежность нового странствия и начал бродить по городу со странным двойным ощущением наполовину встречи, наполовину прощания.

Во время одной из таких прогулок он встретился с женщиной, вид которой дал всем его чувствам, вышед-



шим из обычной колеи, новое направление. Женщина была верхом, статная светлая блондинка с любопытными, несколько холодноватыми голубыми глазами, крепким, налитым телом и цветущим лицом, полным жажды наслаждений и власти, полным чувства собственного достоинства и предвкушения новых чувственных впечатлений. Несколько властно и высокомерно держалась она на своей гнедой лошади, привыкшая повелевать, однако не замкнутая или отвергающая, холодноватым же глазам противостояли подвижные ноздри, открытые всем запахам мира, а большой, чувственный, ненапряженный рот, казалось, в высшей степени был способен брать и давать. В момент, когда Гольдмунд увидел ее, он совершенно проснулся и был полон желания помериться силами с этой гордой женщиной. Завоевать эту женщину казалось ему благородной целью, а сломать на пути к ней шею — неплохой смертью. Он сразу понял, что с этой белокурой львицей они похожи богатыми чувствами и душой, доступны всем бурям, так же дики, как и нежны, искушены в страстях по опыту крови, унаследованной от далеких предков.

Она проскакала мимо, он смотрел ей вслед, меж развевающимися белокурыми волосами и воротником голубого бархата выступал ее крепкий затылок, сильная и гордая шея с нежнейшей кожей. Она была, так хотелось ему думать, самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. Эту шею он хотел держать в своих руках и раскрыть тайну ее холодных голубых глаз. Кто она такая, нетрудно было выпросить. Вскоре он узнал, что она живет в замке и это — Агнес, возлюбленная намесника, это его не удивило, она могла быть и самой королевой. Он остановился у водоема фонтана и посмотрел





на свое отражение. Отражение и блондинка походили друг на друга как брат и сестра, только у него был слишком одичалый вид. В тот же час он разыскал знакомого цирюльника и попросил его коротко остричь волосы и бороду и как следует расчесать.

Два дня длилось преследование. Агнес выходила из замка — незнакомый блондин уже стоял у ворот и восхищенно смотрел ей в глаза. Агнес скакала за укрепление — из ольшаника выходил незнакомец. Агнес была у ювелира, выходя из мастерской, встречала его опять. Она сверкнула на него взглядом, при этом крылья носа ее заиграли дрожью. На другое утро, найдя его при первом выезде стоящим опять наготове, она улыбнулась ему, принимая вызов. Графа-наместника он тоже видел; это был статный и смелый мужчина, он был серьезным соперником, но у него уже была седина в волосах и озабоченное лицо. Гольдмунд почувствовал свое превосходство перед ним.

Эти два дня сделали его счастливым, он сиял от вновь обретенной молодости. Прекрасно было показать себя этой женщине, предложив ей помериться силами. Прекрасно было утратить свободу ради такой красавицы. Прекрасно и очень увлекательно было чувствовать, что ставишь свою жизнь на эту единственную карту.

Наутро третьего дня Агнес выехала из ворот замка верхом в сопровождении конного слуги. Ее глаза сразу же стали искать преследователя, задорно и несколько беспокойно. Правильно, он был уже тут. Она отправила слугу с поручением, оставшись одна, она медленно поехала вперед, медленно выехала за ворота, проехав мост. Только раз она оглянулась. Увидела, что незнакомец следует за ней. На дороге, ведущей к церкви св. Витта



для паломников, где в это время было совсем пустынно, она ждала его. Ей пришлось ждать с полчаса, незнакомец шел не спеша, он не собирался прибежать запыхавшись. Свежий и улыбающийся, он наконец подошел с веточкой ярко-красного шиповника во рту. Она сошла с лошади и привязала ее, прислонившись к увитой плющом отвесной подпорной стене, она стояла, смотря навстречу преследователю. Подойдя к ней вплотную, глядя ей прямо в глаза, он остановился и снял шапку.

— Почему ты преследуешь меня? — спросила она. — Что тебе надо от меня?

— О, — ответил он, — я хотел бы скорее подарить тебе кое-что, чем брать у тебя. Я хотел бы предложить тебе, прекрасная женщина, в подарок себя, а ты делай затем со мной, что захочешь.

— Хорошо, я посмотрю, что с тобой можно сделать. Но если ты думаешь, что здесь, в безопасности, можешь сорвать цветочек, то ты ошибаешься. Я люблю только таких мужчин, которые при необходимости рискуют жизнью.

— Ты можешь распоряжаться мной.

Медленно сняла она со своей шеи тонкую золотую цепочку и протянула ему.

— Как же тебя зовут?

— Гольдмунд.

— Хорошо, Гольдмунд, я попробую, насколько сладостен твой рот. Слушай меня внимательно: к вечеру в замке ты покажешь эту цепочку и скажешь, что нашел ее. Ты не должен выпускать ее из рук, я сама получу ее обратно от тебя. Ты придешь так, как есть, пусть они примут тебя за нищего. Если кто-нибудь из слуг накричит на тебя, оставайся спокоен. Имей в виду, что в за-





мке у меня только два надежных человека: грум Макс и моя камеристка Берта. Одного из них ты должен будешь найти, чтобы попасть ко мне. Со всеми остальными в замке, включая графа, веди себя осторожно, они враги. Я тебя предупредила. Это может стоить тебе жизни.

Она протянула ему руку, с улыбкой он взял ее, нежно поцеловал и слегка потерся щекой о нее. Потом спрятал цепочку у себя и пошел прочь, вниз по направлению к реке и городу. Виноградники были уже голы, с деревьев падал один желтый лист за другим. Гольдмунд, улыбаясь, покачал головой, когда, поглядев вниз на город, нашел его таким приветливым и милым. Всего несколько дней тому назад он был так печален, печален даже из-за того, что горе и страдания преходящи. И вот они действительно уже прошли, упали, как золотая листва с ветки. Ему казалось, что никогда еще любовь не сияла для него так, как от этой женщины, статная фигура и белокурая смеющаяся полнота жизни которой напомнили ему образ его матери, который он носил в сердце мальчиком в Мариабронне. Еще позавчера он счел бы невозможным, что мир еще раз так радостно засмеется ему в глаза, что он еще раз почувствует, как поток жизни, радости, молодости так полно и напористо течет в его крови. Какое счастье, что он еще жив, что за все эти страшные месяцы смерть пощадила его!

Вечером он появился в замке. Во дворе было оживленно, расседывали лошадей, прибывали посыльные, небольшую группу священников и высокопоставленных духовных лиц слуги провожали через внутренние ворота к лестнице. Гольдмунд хотел пройти вслед за ними, но привратник остановил его. Он достал золотую цепочку и сказал, что ему приказано никому не отдавать ее, кроме



самой госпожи или ее камеристки. Ему дали в сопровождение слугу, он долго ждал в проходах. Наконец появилась милая расторопная женщина, проходя мимо него, она тихо спросила: «Вы — Гольдмунд?» — и дала знак следовать за собой. Бесшумно исчезла за дверь, появилась через некоторое время опять и пригласила его войти.

Он вошел в небольшую комнату, где сильно пахло мехом и сладкими духами и висело множество платьев и плащей, женских шляп, надетых на деревянные болванки, всякого рода обувь стояла в открытом ларе. Здесь он остановился и ждал добрых полчаса, вдыхая аромат надушенных платьев, проводя рукой по мехам и с любопытством посмеиваясь над всеми красивыми вещами, висевшими тут.

Наконец внутренняя дверь отворилась, и вошла не камеристка, а сама Агнес, в светло-голубом платье с белой меховой оторочкой вокруг шеи. Медленно приближалась она к ожидавшему, шаг за шагом, строго глядели на него холодно-голубые глаза.

— Тебе пришлось ждать, — сказала она тихо. — Я думаю, теперь мы в безопасности. У графа представители духовенства, он ужинает с ними и, видимо, будет еще вести долгие переговоры, заседания со священнослужителями всегда затягиваются. В нашем распоряжении час. Добро пожаловать, Гольдмунд.

Она наклонилась ему навстречу, ее жаждущие губы приблизились к его, молча приветствовали они друг друга в первом поцелуе. Его рука медленно обвилась вокруг ее шеи. Она провела его через дверь в свою спальню, освещенную высокими яркими свечами. На столе была сервирована трапеза, они сели, заботливо предложила она





ему хлеб и масло и что-то мясное и налила белого вина в красивый голубоватый бокал. Они ели, пили из одного голубоватого бокала, играя руками друг с другом в виде пробы.

— Откуда же ты прилетела, моя дивная птица? — спросила она. — Ты воин, или музыкант, или просто бедный странник?

— Я — все, что ты хочешь, — засмеялся он тихо, — я весь твой. Если хочешь, я музыкант, а ты моя сладкозвучная лютня, и если положу пальцы на твою шею и заиграю на ней, мы уельшим ангельское пение. Пойдем, мое сердце, я здесь не для того, чтобы есть твои яства и пить белое вино, я здесь только из-за тебя.

Осторожно снял он с ее шеи белый мех и освободил от одежды ее тело. Пусть придворные и священнослужители совещаются, пусть снуют слуги, и тонкий серп луны полностью выплывет из-за деревьев, любящие ничего не хотели знать об этом. Для них цвел рай, увлекая друг друга, поглощенные друг другом, они забылись в своей благоуханной ночи, видели в сумраке свои светлые тайные места, срывали нежными благодарными руками заветные плоды. Еще никогда не играл музыкант на такой лютне, еще никогда не звучала лютня под такими сильными искусными пальцами.

— Гольдмунд, — шептала она ему пылко на ухо, — о, какой же ты волшебник! От тебя, милый Гольдмунд, я хотела бы иметь ребенка. А еще больше я хотела бы умереть от тебя. Выпей меня, любимый, заставь меня растаять, убей меня!

Глубоко в ее горле запело счастье, когда он увидел, как таяла и слабела твердость в ее холодных глазах. Как нежная дрожь умирания, пробежал трепет в глубине ее глаз, угасая, подобно серебристому ознобу умирающей



рыбы, матово-золотистой, подобно отблескам волшебного мерцания в глубине реки. Все счастье, какое только способен пережить человек, казалось ему сосредоточилось в этом мгновении.

Сразу после этого, пока она, трепещущая, лежала с закрытыми глазами, он тихо поднялся и скользнул в свое платье. Со вздохом сказал он ей на ухо:

— Сокровище мое, я тебя оставляю. Мне не хочется умирать, я не хочу быть убитым графом. Сначала мне хотелось бы еще раз сделать тебя и себя такими счастливыми, какими мы были сегодня. Еще раз, еще много, много раз!

Она продолжала лежать молча, пока он совсем оделся. Вот он осторожно закрыл ее покрывалом и поцеловал в глаза.

— Гольдмунд, — сказала она, — о, тебе нужно уходить! Приходи завтра опять! Если будет опасно, я предупрежу тебя. Приходи, приходи завтра!

Она потянула за шнур колокольчика. У двери гардеробной его встретила камеристка и вывела из замка. Он с удовольствием дал бы ей золотой, в этот момент он постыдился своей бедности.

Около полуночи он был на рыбном рынке и посмотрел вверх на дом. Было поздно, все уже, видимо, спали, вероятно, ему придется провести ночь под открытым небом. К его удивлению, дверь дома оставалась открытой. Путь в его комнату вел через кухню. Там был свет. При крохотном масляном светильнике за кухонным столом сидела Мария. Она только что задремала, прождав два, три часа. Когда он вошел, она испугалась и вскочила.

— О, — сказал он, — Мария, ты еще не ложилась?





— Я не ложилась, — ответила она. — Иначе дом заперли бы.

— Мне жаль, Мария, что тебе пришлось ждать. Уже так поздно, не сердись на меня.

— Я никогда не рассержусь на тебя, Гольдмунд. Мне только немного грустно.

— Тебе нечего печалиться. Почему же ты печальна?

— Ах, Гольдмунд, как бы мне хотелось быть здоровой, и красивой, и сильной. Тогда тебе не приходилось бы ходить по ночам в чужие дома и любить других женщин. Тогда бы ты, пожалуй, и остался со мной и хоть немного любил бы меня.

Никакой надежды не звучало в ее нежном голосе и никакой горечи, только печаль. Смущенный, он стоял возле нее, ему было жаль ее настолько, что он не нашелся ничего сказать. Осторожно взял он ее голову и погладил по волосам, и она стояла тихо, трепетно чувствуя его руку на своих волосах, немного всплакнув, она выпрямилась и сказала робко:

— Иди спать, Гольдмунд. Я сказала глупость спросонья. Спокойной ночи.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Какой-то день, полный счастливого нетерпения, Гольдмунд провел на холмах. Если бы у него была лошадь, он сегодня же поехал бы в монастырь, где находилась прекрасная Мадонна его мастера; ему необходимо было увидеть ее еще раз, ему казалось также, что ночью он видел мастера Никлауса во сне. Ну да еще успеется. Если это счастье любви Агнес и будет недолгим и, может,



приведет к беде — сегодня оно было в расцвете, ему нельзя было его упускать. Видеть людей и отвлекаться ему не хотелось, ему хотелось провести этот мягкий осенний день под открытым небом, среди деревьев и облаков. Он сказал Марии, что собирается погулять за городом и вернется, видимо, поздно, попросил дать ему кусок хлеба побольше и вечером не дожидаться его. Она ничего не ответила на это, дала полную сумку хлеба и яблок, прошлась щеткой по его старому сюртуку, дыры которого она в первый же день заштопала, и отпустила его бродить.

Он шел над рекой через опустевшие виноградники по крутым ступенчатым дорогам вверх на холмы, брел в лесу, переставая подниматься, пока не достиг последнего круга холмов. Здесь солнце слабо просвечивало сквозь стволы голых деревьев, дрозды вспархивали от его шагов в кусты, сидели, пугливо нахохлившись, и смотрели черными бусинками глаз из чащи, а далеко внизу голубой дугой текла река и лежал город, маленький, будто игрушечный, оттуда не доносилось ни звука, кроме призывного звона к молитве. Здесь, наверху, было много небольших поросших травой валов и холмов, еще с древних языческих времен, не то укреплений, не то могил. На один из таких холмиков он опустился. Здесь хорошо было сидеть на сухой шуршащей траве и обозревать всю далекую долину, а по ту сторону реки холмы и горы, цепь за цепью, пока горы и небо не сливались в игре голубоватых тонов и были уже неразличимы. Всю эту далекую страну и много дальше, насколько хватал глаз, прошел он своими ногами; все эти местности, бывшие теперь далью и воспоминанием, были когда-то близкими и настоящими. В этих лесах он тысячи раз спал, собирал





ягоды, голодал и мерз, за этим гребнем гор и полосами пустоши он странствовал, бывал радостным и печальным, полным сил и усталым. Где-то в этой дали, по ту сторону видимого, лежали сожженные кости доброй Лене, где-то там, может, все еще бродит его товарищ Роберт, если его не настигла чума; где-то там лежал убитый Виктор, и где-то в волшебной дали лежал и монастырь его юношеских лет, поместье рыцаря с его прекрасными дочерьми, металась несчастная затравленная Ревекка или погибла. Все они, далекие места, поля и леса, города и деревни, поместья и монастыри, все эти люди, живы они или мертвы, были внутри его, в его памяти, в его любви, его раскаянии, его тоске связаны между собой. И если завтра и его настигнет смерть, все это опять распадется и угаснет, вся эта книга образов, столь полная женщины и любви, летних утр и зимних ночей. О, пришло время сделать еще что-то, создать и оставить после себя что-то, что переживет его.

Эта жизнь, эти странствия, все эти годы со времени его ухода в мир пока дали не много плодов. Остались несколько фигур, которые он сделал когда-то в мастерской, прежде всего Иоанн, да еще эта книга образов, этот нереализованный мир в его голове, прекрасный и скорбный мир воспоминаний. Удастся ли ему спасти что-нибудь из этого внутреннего мира, воплотив его вовне? Или все так и будет идти дальше: все новые города, новые пейзажи, новые женщины, новые переживания, новые образы, нагроможденные друг на друга, из которых он ничего не вынесет, кроме вот этой беспокойной, мучительной, хотя и прекрасной переполненности сердца?

Ведь как постыдно дурачит нас жизнь, хоть смейся, хоть плачь! Или живешь, играя всеми чувствами, впи-



твая все от груди праматери Евы — но тогда, хотя и испытываешь немало высоких желаний, нет никакой защиты от брэнности; становишься грибом в лесу, который сегодня полон прекрасных красок, а назавтра сгнил. Или же, пытаясь защититься, закрываешься в мастерской, желая сделать памятник быстротекущей жизни — тогда вынужден отказаться от жизни, становясь только инструментом, хотя и стоишь на службе вечного, но иссыхаешь и теряешь свободу, полноту и радость жизни. Так случилось с мастером Никлаусом.

Ах, и вся-то жизнь только тогда и имеет смысл, если подчинишь себе и то и другое, чтобы жизнь не была раздвоена иссушающим «или — или!» Творчество без того, чтобы платить за него жизнью! Жизнь, чтобы не отказываться из-за нее от благородного творчества! Неужели же это невозможно?

Возможно, были люди, способные на это. Возможно, были супруги и отцы семейства, не утратившие при верности чувственного наслаждения? Возможно, были не бродяги, которым недостаток свободы и опасности не иссушил душу? Возможно. Он таких еще не встречал.

Казалось, все бытие зиждется на двойственности, на противоположностях; ты — или женщина, или мужчина; или бродяга, или обыватель, силен или разумом, или чувствами — нигде вдох и выдох, мужское и женское, свобода и порядок, инстинкт и духовность не могли испытываться одновременно, всегда за одно надо было платить утратой другого, и всегда одно было столь же важно и желанно, как другое! Женщинам в этом смысле было, пожалуй, легче. Их природа создала так, что чувственное желание несло с собой свой плод, и из счастья любви получался ребенок. У мужчин вместо этой про-





стой плодовитости была вечная тоска. Неужели Бог, так все сотворивший, злой и враждебный, злорадно посмеялся над своим творением? Нет, он не мог быть злым, создав ланей и оленей, рыб и птиц, лес, цветы, времена года. Но трещина прошла через его творение, то ли оно не удалось, и было несовершенным, то ли Бог имел особые намерения, наделяя бытие человека именно этим недостатком и тоской, то ли это было семя дьявола, первородный грех? Но почему же эта тоска и неудовлетворенность должны быть грехом? Разве не возникло из них все прекрасное и святое, что создал человек, отдав Богу в качестве благодарной жертвы?

Подавленный своими мыслями, он взглянул на город, увидел рынок и рыбный базар, мосты, церкви и ратушу. А вот и замок, гордый дворец епископа, где теперь правил граф Генрих. За этими башнями и островерхими крышами жила Агнес, его прекрасная царственная возлюбленная, которая выглядела высокомерно, но была способна так самозабвенно отдаваться любви. С радостью думал он о ней, с радостью и благодарностью вспоминая прошлую ночь. Чтобы пережить счастье этой ночи, чтобы суметь сделать счастливой эту великолепную женщину, ему понадобилась вся его жизнь, весь опыт с женщинами, все странствия и беды, холод зимних ночей и дружба с доверчивыми животными, цветами, деревьями, водами, рыбами, бабочками. Ему понадобились все обостренные страстью и опасностью чувства, весь мир образов, накопившихся за бездомные годы. Пока его жизнь была садом, в котором цвели такие дивные цветы, как Агнес, он не смел жаловаться.

Целый день провел он среди осенних холмов, блуждая, отдыхая, вкушая хлеб, думая об Агнес и вечере.



Перед наступлением ночи он опять был в городе и подошел к замку. Стало прохладно, покойно лился красноватый свет из окон домов, ему встретилась небольшая процессия поющих мальчиков, которые несли на палках выдолбленные тыквы с вырезанными рожищами и вставленными внутрь свечками. От этого маленького карнавала повеяло зимой; улыбаясь, Гольдмунд смотрел им вслед. Долго слонялся он возле замка. Депутация священников была еще здесь, тут и там можно было видеть у окна кого-нибудь из духовенства. Наконец ему удалось проскользнуть во внутренний двор и найти камеристку Берту. Его опять спрятали в гардеробной, пока не появилась Агнес и не увела его в свою комнату. Ласково встретила она его, ласково было ее прекрасное лицо, но не радостно; она была грустна, у нее были заботы, страхи. Ему пришлось очень постараться, чтобы немного развеселить ее. Медленно, под действием его поцелуев и слов любви она обрела немного уверенности.

— Ты умеешь быть таким милым, — сказала она благодарно. — У тебя в голосе такие глубокие тона, моя радость, когда ты с нежностью воркуешь и болтаешь, я люблю тебя, Гольдмунд. Если бы мы были далеко отсюда! Мне здесь больше не нравится, правда, и так скоро все кончится. Графа отзывают, скоро вернется этот глупый епископ. Граф сегодня злой, священники ему надоели. Ах, только бы он не увидел тебя! Тогда ты и часа не проживешь. Мне так страшно за тебя.

В его памяти возникли полузабытые речи — когда то много лет тому назад он это уже слышал. Так говорила ему когда-то Лидия, тоже любя и страшась, так же нежно-печально. Она приходила по ночам в его комнату, тоже полная любви и страха, полная забот, ужасных





картин, нарисованных страхом. Он слушал с удовольствием эту нежно-пугливую песню. Что значила бы любовь без тайны! Что была бы она без риска!

Мягко притянул он Агнес к себе, держал ее руку, тихо нашептывая нежности, целуя веки. Его трогало и восхищало, что она так боялась и беспокоилась за него. С благодарностью принимала она его ласки, почти смиренно, она прижималась к нему, полная любви, но веселой не стала.

И вдруг она сильно вздрогнула, слышно было, как вблизи хлопнула дверь и к комнате стали приближаться быстрые шаги.

— Господи помилуй, это он! — вскрикнула она в отчаянии. — Это граф. Быстро, через гардеробную ты можешь убежать. Беги! Не выдавай меня!

Она уже толкнула его в гардеробную, он стоял там один и осторожно ступал в темноте. За стеной он слышал, как граф громко разговаривает с Агнес. Он пробирался меж платьев к выходной двери, бесшумно переступая. Он был уже у двери, которая вела в коридор, и пытался тихо открыть ее. И только в этот момент, найдя дверь запертой снаружи, он тоже испугался, его сердце начало бешено и болезненно биться. Это могло быть несчастной случайностью, что кто-то запер дверь, пока он был здесь. Но он этому не верил. Он попал в ловушку, он пропал. Это будет стоить ему жизни. Дрожа, он стоял в темноте и тут же вспомнил слова Агнес на прощание: «Не выдавай меня!» Нет, он ее не выдаст. Сердце его колотилось, но решение сделало его твердым, он упрямо стиснул зубы.

Все это длилось несколько мгновений. Вот дверь открылась изнутри, и из комнаты Агнес вошел граф со



светильником в левой руке и обнаженным мечом в правой. В то же мгновение Гольдмунд резко схватил несколько висевших вокруг него платьев и плащей и перекинул через плечо. Его можно было принять за вора, возможно, это был выход.

Граф сразу же увидел его. Медленно подошел.

— Кто ты? Что делаешь здесь? Отвечай, или я ударю.

— Простите, — прошептал Гольдмунд, — я бедный человек, а вы так богаты! Я все положу обратно, что взял, господин, смотрите!

И он положил вещи на пол.

— Так, так, значит, ты хотел украсть? Неумно из-за старого плаща рисковать жизнью. Ты гражданин города?

— Нет, господин, у меня нет дома. Я бедный человек, жальтесь надо мной.

— Перестань! Я хотел бы, пожалуй, знать, не были ты настолько нахален, что намеревался оскорбить господжу. Но так как тебя все равно повесят, не стоит расследовать. Достаточно воровства.

Он резко постучал в закрытую дверь и крикнул:

— Есть кто? Откройте!

Дверь снаружи открылась, трое слуг стояли с обнаженными клинками.

— Свяжите его хорошенько, — крикнул граф голосом, полным презрения и высокомерия. — Этот бродяга пожелал воровать здесь. Заприте его, а завтра утром повесьте негодяя.

Гольдмунду связали руки, он не сопротивлялся. Его повели через длинный ход, вниз по лестницам, через внутренний двор, слуга впереди нес факел. Перед круглым, обитым железом входом в подвал они остановились; оказалось, что не было ключа; после споров и рассужде-





ний один из сопровождающих взял факел, слуга же побежал обратно за ключом. Так стояли они, трое вооруженных и один связанный, и ждали у входа. Тот, что был с факелом, с любопытством осветил пленному в лицо. В этот момент мимо проходили двое из священников, которых так много гостило в замке. Они шли из церкви замка и остановились перед группой, внимательно рассматривая ночную сцену; из трех слуг и одного связанного, стоящих и ожидающих.

Гольдмунд не замечал ни священников, ни своих охранников. Он не мог ничего видеть, кроме пылающего огня, поднесенного близко к его лицу и слепящего глаза. А за светом в сумраке, полном жути, ему виделось нечто бесформенное, огромное, призрачное: бездна, конец, смерть. Он стоял с остановившимся взглядом, ничего не видя и не слыша. Один из священников шептался со слугами по поводу случившегося. Когда он услышал, что это вор и должен умереть, он спросил, был ли у него духовник. Нет, ответили ему, он попался с поличным.

— Так я приду к нему утром, — сказал священник, — до утренней мессы со святым причастием и исповедаю его. Обещайте мне, что до этого его не уведут. С господином графом я переговорю сегодня же. Хотя человек этот и вор, он имеет право любого христианина на исповедника и причастие.

Слуги не рискнули возражать. Они знали важного священника, он принадлежал к делегации, и они не раз видели его за столом графа. Да почему бы и не разрешить бедному бродяге причаститься?

Священники ушли. Гольдмунд стоял, уставившись перед собой. Наконец вернулся слуга с ключом и отпер дверь. Пленника ввели в сводчатый подвал; спотыкаясь,



он спустился на несколько ступеней вниз. Здесь стояли несколько треногих табуреток без спинок и стол, это было помещение перед винным погребком. Ему подтолкнули к столу табурет и приказали сесть.

— Утром рано придет священник, ты сможешь исповедаться, — сказал один из слуг.

Затем они ушли, тщательно заперев тяжелую дверь.

— Оставь мне свет, друг, — попросил Гольдмунд.

— Нет, браток, ты с ним еще беды наделаешь. И так хорошо. Будь благоразумен и смирись. Да и сколько он прогорит, свет? Через час все равно погаснет. Доброй ночи.

Теперь он был в темноте один, сидел на табурете, положив голову на стол. Плохо было так сидеть, и перевязанные руки болели, однако эти ощущения лишь позднее дошли до его сознания. Сначала он только сидел, положив голову на стол, как на плаху, ему хотелось сделать с телом и душой то, что было у него на сердце: сдать перед неизбежным, отдаться необходимости умереть.

Целую вечность просидел он так, горестно склонившись и пытаясь понять возложенное на него наказание, впитать его в себя, осознать и проникнуться им. Теперь был вечер, начиналась ночь, а конец этой ночи принесет с собой и его конец. Он должен был попытаться понять это. Завтра он уже не будет жить. Его повесят, он станет предметом, на который будут садиться птицы и клевать его, он станет тем, чем стал мастер Никлаус, чем стала Лене в сожженной хижине и все те, кого он видел в вымерших домах и на переполненных трупами телегах. Было нелегко осознать это и проникнуться этим. Именно осознать это было невозможно. Слишком много





всего было, с чем он еще не расстался, с чем еще не простился. Эта ночь была дана ему для того, чтобы сделать это.

Ему нужно было проститься с прекрасной Агнес, никогда больше не увидит он ее статную фигуру, ее мягкие золотистые волосы, ее холодные голубые глаза, как, слабея, высокомерие отступает в этих глазах, не увидит больше прелестный золотистый пушок на ее благоухающей коже. Прощайте, голубые глаза, прощайте, влажные трепетные уста! Он надеялся еще долго целовать их. О, еще сегодня на холмах в лучах осеннего солнца как он мечтал о ней, принадлежал ей, тосковал по ней! Но прощаться приходится и с холмами, с солнцем, с голубым в белых облаках небом, с деревьями и лесами, странствиями, временами года. Возможно, Мария еще сидела в ожидании его, бедная Мария с добрыми любящими глазами и хромающей походкой, сидела в ожидании на кухне, засыпая и просыпаясь вновь, а Гольдмунд так и не вернулся.

Ах, а бумага и рисовальный карандаш, а надежда сделать все эти фигуры. Все пропало! А надежда на встречу с Нарциссом, дорогим апостолом Иоанном, и от нее придется отказаться.

А прощаться приходилось и с собственными руками, собственными глазами, с чувством голода и жажды, едой и питьем, с любовью, игрой на лютне, со сном и бодрствованием — со всем. Завтра мелькнет птица в воздухе, а Гольдмунд ее не увидит, запоет девушка в окне, а он ее не услышит, будет течь река и безмолвно будут плавать темные рыбы, поднимется ветер, гоня желтые листья по земле, будет светить солнце, а в небе — звезды, молодежь пойдет на танцы, ляжет первый снег на далекие



горы — и все будет жить дальше, деревья давать тень, люди смотреть радостно или печально своими живыми глазами, будут лаять собаки, мычать коровы в деревенских хлевах, и все без него, все это уже не его, от всего он будет оторван.

Он чувствовал запах утра в поле, он пробовал сладкое молодое вино и молодые крепкие лесные орехи, через его стесненное сердце пробежало воспоминание, вспыхнуло отражение всего красочного мира, уходя, на прощанье, через все его чувства молнией промчалась еще раз его прекрасная безумная жизнь, и, сжавшись от невыносимого горя, он почувствовал, как слезы одна за другой покатались из его глаз. Всклипывая, он отдался волне, слезы струились; теряя все, он вновь отдавался бесконечному пути. О вы, долины и лесистые горы, ручьи в зеленом ольшанике, о девушки, лунные вечера на мосту, о, ты, прекрасный, сияющий красками мир, как же мне тебя оставить!

Плача, лежал он на столе, безутешное дитя. Из глубины сердца вырвался вздох и молящий зов: «О мать, мать!»

И когда он произнес заветное слово, из глубины памяти в ответ всплыл образ, образ матери. Это был образ матери не его размышлений и художественных мечтаний, а его собственной матери, прекрасной и живой, какой он еще никогда не видел со времени жизни в монастыре. К ней-то и обратил он свою жалобу, ей выплакал это невыносимое страдание необходимости умереть, он отдавал ей себя, лес, солнце, глаза, руки, ей обратно он отдавал все свое существо и жизнь, в ее материнские руки.

В слезах он заснул; по-матерински взяли его в свои руки изможденность и сон. Он проспал час или два, избавившись от скорби.





Проснувшись, он снова ощутил сильные боли. Мучительно горели связанные кисти рук, тянущая боль пронзала спину и затылок. С трудом он выпрямился, пришел в себя и опять вспомнил о своем положении. Вокруг была совершенно черная темнота, он не знал, как долго проспал, он не знал, как долго ему еще оставалось жить. Может быть, уже в следующее мгновение за ним придут и отведут отсюда на смерть. Тут он вспомнил, что ему обещали прислать священника. Он не думал, что его причащение может особенно ему помочь. Он не знал, может ли самая искренняя исповедь и отпущение грехов привести его на небо. Он не знал, есть ли Небо, Бог-Отец, и суд, и вечность. Он давно потерял уверенность в существовании этих вещей.

Но есть вечность или нет, не она ему нужна, он не хотел ничего, кроме этой ненадежной преходящей жизни, этого дыхания, этого привычного бытия в своей плоти, он не хотел ничего, кроме как жить. Он стремительно встал, качаясь в темноте дошел до стены, прислонился к ней и стал размышлять. Должно же все-таки быть спасение! Может быть, оно было в священнике, может, убедившись в его невинности, он замолвит за него словечко или поможет в отсрочке или побеге? С ожесточением углублялся он в эти мысли, все снова и снова. А если из этого ничего не выйдет, он все равно не сдастся, игру надо все-таки выиграть. Итак, сначала он попытается склонить священника на свою сторону, он очень постарается, чтобы очаровать его, растрогать, убедить, подольститься к нему. Священник был единственной выигрышной картой в его игре, все остальные возможности только мечты. Бывают, правда, случайные стечения обстоятельств: у палача начинаются колики, виселица ломается, находится непредвиденная возможность



бежать. Во всяком случае, Гольдмунд отказывался умирать; он напрасно пытался свяжнуться с судьбой и принять ее, это ему не удалось. Он будет защищаться и бороться до конца, подставит ножку стражнику, столкнет вниз палача, он будет до последнего момента, до последней капли крови отстаивать свою жизнь.

О, если бы ему удалось уговорить священника развязать ему руки! Тогда можно было бы бесконечно много выиграть.

Между тем он попытался, не обращая внимания на боль, зубами развязать веревки. С бешеным усилием после ужасно долгого времени ему удалось их немного ослабить. Он стоял, задыхаясь, во тьме своей тюрьмы, распухшие руки и кисти очень болели. Когда дыхание наладилось, он пошел, осторожно ощупывая стену, все дальше обследуя шаг за шагом сырую стену подвала в поисках какого-нибудь выступающего края. Тут он вспомнил о ступенях, по которым его опустили в это подземелье. Он искал и нашел их. Встав на колени, он попытался перетереть веревку об одну из каменных ступеней. Дело шло с трудом, вместо веревки все время на камень попадали его руки, боль обжигала, он чувствовал, что потекла кровь. Все-таки он не сдавался. Когда между дверью и порогом стала виднеться едва заметная тонкая полоса серого рассвета, дело было сделано. Веревка перетерлась, он мог от нее освободиться, его руки были свободны! После этого он едва мог пошевелить пальцами, кисти опухли и затекли, а руки до плеч свела судорога. Он стал упражняться, принуждая их к движению, чтобы кровь опять прилила к ним. Теперь у него возник план, показавшийся ему хорошим.

Если не удастся уговорить священника помочь ему,





придется, оставшись с ним вдвоем хотя бы совсем ненадолго, убить его. Можно табуретом. Задушить он не сможет, для этого в руках недостаточно силы. Итак, ударить его, быстро переодеться в его платье, и в нем выйти! Пока другие обнаружат убитого, ему нужно выбраться из замка и бежать, бежать! Мария пустит его и спрячет. Он должен попытаться. Это возможно.

Еще никогда в жизни Гольдмунд так не следил за рассветом, не ждал его с таким нетерпением и не боялся в то же время, как в этот час. Дрожь от напряжения и решимости, вглядывался он глазами охотника, как слабая полоска под дверью медленно, медленно становилась светлее. Он вернулся обратно к столу, продолжая упражнения, сел на табурет, положив руки на колени, чтобы нельзя было сразу заметить отсутствие веревки. С тех пор как его руки были свободны, он больше не думал о смерти. Он решил пробиться, даже если при этом весь мир разлетится на куски. Он решил жить любой ценой. Его ноздри дрожали от жажды свободы и жизни. И кто знает, может, помощь придет извне? Агнес была женщиной, и ее сила была невелика, возможно, что и мужество — тоже, скорее она бросила его в беде. Но она любила его, быть может, она все-таки сделала что-нибудь. Может, сюда проникнет камеристка Берта, а потом был еще грум, которого она считала преданным себе. Если же никто не появится и не подаст ему знак, ну что ж, тогда он приведет в исполнение свой план. Если же он не удастся, то он убьет табуретом охранников, двоих, троих, сколько бы их не пришло. Одно преимущество у него было определено: его глаза уже привыкли к темноте, теперь в сумраке он узнавал все формы и размеры, в то время как другие будут здесь поначалу совершенно слепы.



Как в лихорадке сидел он за столом, тщательно обдумывая, что сказать священнику, чтобы тот помог ему, потому что с этого нужно было начать. Одновременно он жадно следил за постепенным возрастанием света в щели. Момент, которого несколько часов тому назад он так боялся, теперь страстно ждал, едва сдерживаясь; невероятное напряжение он не мог дольше выносить. Да и силы его, его внимание, решительность и осторожность будут постепенно опять слабеть. Охранник со священником должны прийти, пока эта напряженная готовность, эта решительная воля к спасению еще в полной силе.

Наконец мир снаружи стал пробуждаться, наконец враг приблизился. По мощеному двору раздались шаги, в замочную скважину вставили и повернули ключ, каждый этот звук раздавался в долгой мертвенной тишине как гром.

И вот тяжелая дверь медленно приоткрылась и закричала на петлях. Внутри вошел священник, без сопровождения, без охраны. Он пришел один, неся светильник, с двумя свечами. Все было иначе, чем представлял себе узник.

И как волнующе удивительно: вошедший, за которым невидимые руки закрыли дверь, был одет в орденскую мантию монастыря Мариабронн, такую знакомую, родную, какую когда-то носил настоятель Даниил, патер Ансельм, патер Мартин!

Увидев это, он почувствовал странный удар в сердце, ему пришлось отвести глаза. Появление этого посланца из монастыря обещало хорошее, могло быть добрым знаком. Но, возможно, все-таки не было иного выхода, кроме смертельного удара. Он стиснул зубы. Ему было бы очень трудно убить брата этого ордена.





СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

— Слава Иисусу Христу, — сказал священник и поставил светильник на стол.

Гольдмунд невнятно ответил, уставившись перед собой.

Священник молчал. Он стоял в ожидании и молчал, пока Гольдмунд не забеспокоился и не поднял испытующий взгляд на стоящего перед ним человека.

Этот человек, как увидел он к своему смущению, носил не только одеяние патера Мариабронна, на нем было отличие аббатского звания.

И вот он взглянул аббату в лицо. Это было худое лицо, с твердыми и ясными чертами, очень тонкими губами. Это было лицо, которое он знал. Как замороженный смотрел Гольдмунд на это лицо, исполненное, казалось, только духа и воли. Неуверенной рукой он взял светильник, поднял его к лицу незнакомца, чтобы разглядеть его глаза. Он увидел их, и светильник задрожал в его руке, когда он ставил его обратно.

— Нарцисс, — прошептал он едва слышно. Все начало кружиться вокруг него.

— Да, Гольдмунд, когда-то я был Нарциссом, но уже давно я сменил это имя, ты мог бы его и забыть. Со времени моего пострижения меня зовут Иоанн.

Гольдмунд был потрясен до глубины души. Весь мир переменялся вдруг, и неожиданный порыв его нечеловеческого напряжения грозил задушить его, он дрожал и чувствовал, что голова его кружится, подобно пустому шару, желудок светло. Глаза жгло подступившее рыдание. Расплакаться и упасть в слезах в обмороке — вот чего хотелось в этот момент всему его существу.



Но из глубины юношеского воспоминания, вызванного взглядом Нарцисса, в нем поднялось предостережение: когда-то мальчиком, он плакал и дал волю чувствам перед этим прекрасным строгим лицом, перед этими темными всезнающими глазами. Он не смел этого сделать еще раз. Вот он опять появился, этот Нарцисс, подобно привидению, в самый неожиданный момент его жизни, возможно, чтобы спасти ему жизнь — а он опять разразится рыданиями и упадет в обморок? Нет, нет, нет. Он сдержит себя. Он овладеет сердцем, пересилит желудок, прогонит головокружение. Ему нельзя теперь показывать слабость.

Неестественно сдержанным голосом ему удалось сказать:

— Ты позволишь мне называть тебя по-прежнему Нарциссом?

— Называй меня так, дорогой. А ты не подашь мне руки?

Гольдмунд опять превозмог себя. С мальчишеским упрямством и слегка ироничным тоном, совсем как когда-то в школьные годы, он вымолвил в ответ:

— Извини, Нарцисс, — сказал он холодно и немного напыщенно. — Я вижу, ты стал аббатом. Я же всего лишь бродяга еще. И кроме того, наша беседа, как ни желательна она для меня, к сожалению, не может продлиться долго. Потому что, видишь ли, Нарцисс, я приговорен к виселице, и через час или раньше меня, видимо, повесят. Я говорю это тебе только для того, чтобы объяснить ситуацию.

Лицо Нарцисса не изменилось. Некоторая мальчишеская бравада в поведении друга позабыла и одновременно тронула его. Гордость же, стоявшую за этим и





тившую Гольдмунду броситься в слезах ему на грудь, он понял и от души одобрил. По правде, и он представлял себе их встречу иначе, но он был искренне согласен с этим маленьким притворством. Ничем другим Гольдмунд не завоевал бы опять его сердце быстрее.

— Ну да, — сказал он, тоже разыгрывая равнодушные. — Впрочем, в отношении виселицы я могу тебя успокоить. Ты помилован. Мне поручено сообщить это тебе и взять тебя с собой. Потому что здесь, в городе, ты не должен оставаться. Так что у нас будет достаточно времени порассказать друг другу то да се. Ну так как же: теперь ты подашь мне руку?

Они подали друг другу руки и долго крепко держали и пожимали их, чувствуя сильное волнение, однако в их словах еще некоторое время продолжала звучать притворная чопорность.

— Хорошо, Нарцисс, итак, мы покинем это малопочтенное убежище, и я присоединюсь к твоей свите. Ты возвращаешься в Мариабронн? Да? А как? Верхом? Отлично. Значит, нужно будет и для меня достать лошадь.

— Достанем, друг, и через два часа уже выезжаем. О, но что с твоими руками! Господи, помилуй, все содранные, и распухшие, и в крови! О, Гольдмунд, как же они с тобой обошлись!

— Не беспокойся, Нарцисс. Я сам это сделал. Я ведь был связан и должен был освободиться. Должен признаться, это было нелегко. Между прочим, очень смело было с твоей стороны войти ко мне без охраны.

— Почему смело? Ведь это было неопасно.

— О, маленькая опасность была — быть убитым мной. Именно так я все себе придумал. Мне сказали, что при-



дет священник, Я бы убил его и бежал в его одежде. Неплохой план.

— Значит, ты не хотел умирать? Ты хотел бороться?

— Конечно, хотел. Что священником будешь именно ты, я конечно, не мог предвидеть.

— И все-таки, — сказал Нарцисс, помедлив, — в сущности, это был отвратительный план. Неужели ты в самом деле убил бы священника, который пришел бы тебя исповедовать?

— Тебя, конечно, нет, Нарцисс, и, возможно, никого из твоих патеров, если бы на нем была мантия Мариабронна. Но любого другого священника, о да, будь уверен.

Вдруг его голос стал печальным и глухим.

— Это был бы не первый человек, которого я убил. Они молчали. Обоим стало не по себе.

— Об этих вещах, — сказал Нарцисс холодно, — мы поговорим после. Ты можешь, если захочешь, как-нибудь исповедаться мне. Или просто расскажешь о своей жизни. И я расскажу тебе кое о чем. Я буду рад этому. Ну, пошли?

— Еще один момент, Нарцисс! Мне пришло в голову сейчас, что когда-то я называл тебя Иоанном.

— Не понимаю тебя.

— Нет, конечно. Ты ведь ничего не знаешь. Это было несколько лет тому назад, когда я дал тебе имя Иоанн, и оно навсегда останется с тобой. Я ведь был скульптором и резчиком по дереву и думаю опять стать им. А лучшая фигура, которую я тогда сделал, была фигура апостола из дерева в натуральную величину, это изображение тебя, но называется не Нарцисс, а Иоанн. Это апостол Иоанн у распятия.





Он встал и пошел к двери.

— Ты еще помнил обо мне? — спросил Нарцисс тихо.

Так же тихо Гольдмунд ответил:

— О да, Нарцисс, я помнил тебя. Всегда, всегда.

Он резко толкнул тяжелую дверь, заглянуло блеклое утро. Они больше не разговаривали. Нарцисс взял его с собой в комнату для приезжих гостей. Молодой монах, сопровождавший его, укладывался к отъезду. Гольдмунду дали поесть, его руки обмыли и перевязали. Вскоре привели лошадей.

Когда они сажались на лошадей, Гольдмунд сказал:

— У меня еще одна просьба. Позволь проехать путем через рыбный базар, у меня там есть дело...

Они отъехали, и Гольдмунд, посмотрев во все окна замка в надежде заметить в одном из них Агнес, нигде не увидел ее. Они поскакали к рыбному рынку. Мария очень беспокоилась за него. Он попрощался с ней и ее родителями, поблагодарил их тысячу раз, обещал как-нибудь приехать опять и ускакал. Мария долго стояла в дверях дома, пока всадник не исчез. Медленно хромая, она ушла обратно в дом.

Они ехали вчетвером: Нарцисс, Гольдмунд, молодой монах и вооруженный конюх.

— Помнишь мою лошадку, Блесса? — спросил Гольдмунд. — Она стояла в монастырской конюшне.

— Конечно, но ее уже нет в живых, ты, видимо, не ожидал этого. Лет семь, или восемь тому назад нам пришлось зарезать ее.

— И ты это помнишь!

— О да, помню.

Гольдмунд не очень опечалился смерти Блесса. Но он был рад, что Нарцисс так хорошо был осведомлен о Блессе,



он, который никогда не интересовался животными и наверняка никогда не знал кличек других монастырских лошадей. Он очень обрадовался.

— Ты посмеешься надо мной,— начал он снова,— первое существо в вашем монастыре, о ком я тебя спросил, бедная лошадь. Это нехорошо с моей стороны. Собственно, я хотел спросить совсем о другом, прежде всего о нашем настоятеле Данииле. Но я ведь понял, что он умер, раз ты стал его преемником. А говорить сразу о смерти мне не хотелось. Я не могу спокойно говорить о смерти после прошедшей ночи, да из-за чумы, из-за которой я слишком много нагляделся на нее. Но уж если зашел разговор, да и когда-нибудь он же должен был состояться, скажи мне, когда и как умер аббат Даниил, я очень чтил его. И скажи еще, живы ли патер Ансельм и патер Мартин. Я готов ко всему плохому. Я доволен, что тебя, по крайней мере, чума пощадила. По правде, я никогда не думал, что ты можешь умереть, я твердо верил в нашу встречу. Но вера может обмануть, я это, к сожалению, знаю. Моего мастера, резчика Никлауса, я тоже не мог представить себе мертвым, рассчитывал определенно увидеться с ним и снова поработать у него, и все-таки он уже умер, когда я пришел.

— Это недолгий рассказ,— ответил Нарцисс.— Аббат Даниил умер вот уже как восемь лет, не болея и не страдая. Я не сразу стал его преемником, я только год как настоятель. Его преемником был патер Мартин, когда-то заведовавший школой, он умер в прошлом году в неполные семьдесят лет. И патера Ансельма нет в живых. Он любил тебя, часто говорил о тебе. В последнее время перед смертью он совсем не мог ходить, а лежать для него было мучительно, он умер от водянки. Да, чума





тоже побывала у нас, многие умерли. Не будем говорить об этом! Хочешь еще что-нибудь спросить?

— Конечно, и очень много. Прежде всего: как ты попал сюда, в епископский город и к наместнику?

— Это длинная история, и она тебе наскучит, дело в политике. Граф — фаворит короля и в некоторых вопросах его уполномоченный, а сейчас между королем и нашим орденом нужно было кое-что уладить. Орден направил меня вести переговоры с графом. Успех ничтожный.

Он замолчал, и Гольдмунд больше не спрашивал. Да ему и не следовало знать, что вчера вечером, когда Нарцисс попросил у графа сохранить жизнь Гольдмунда, жестокосердый граф вынудил его заплатить за эту жизнь несколькими уступками.

Они ехали. Гольдмунд вскоре почувствовал усталость и с трудом держался в седле.

Через некоторое время Нарцисс спросил:

— А это правда, что тебя схватили за воровство? Граф утверждал, что ты проник в замок и во внутренние покои и там что-то украл.

Гольдмунд засмеялся.

— Ну я действительно притворился вором, но у меня было свидание с возлюбленной графа, и он несомненно знал об этом. Удивляюсь, как это он меня отпустил.

— Ну, с ним можно было договориться.

Они не смогли осилить расстояние, которое наметили проехать за день; Гольдмунд был слишком изможден, его руки не могли больше держать поводья. Они остановились в деревне; его уложили в постель, его немного лихорадило, и он еще и следующий день провел лежа. Потом он смог ехать дальше. А вскоре его руки опять



были здоровы, путешествие верхом стало доставлять ему наслаждение. Как давно он не ездил верхом! Он ожил, снова стал молодым и проворным, скакал с конюхом наперегонки и во время бесед забрасывал своего друга Нарцисса сотнями нетерпеливых вопросов. Сдержанно, но с радостью отвечал на них Нарцисс; он опять был очарован Гольдмундом, ему нравились его вопросы, такие стремительные, такие детские, столь полные безграничного доверия к душе и уму друга.

— Один вопрос, Нарцисс: вы сжигали когда-нибудь евреев?

— Сжигали евреев? Как это? Ведь у нас нет никаких евреев.

— Правильно. Но скажи: был бы ты в состоянии сжечь евреев? Можешь представить себе такой случай как возможный?

— Нет, зачем, я должен это делать? Ты что, считаешь меня фанатиком?

— Пойми меня, Нарцисс! Я имею в виду: можешь ты себе представить, чтобы в каком-то случае ты мог бы отдать приказ об уничтожении евреев и дать свое согласие на это? Ведь было сколько угодно герцогов, бургомистров, кардиналов, епископов и других власть имущих, отдававших такие приказы.

— Я не отдал бы приказ такого рода. Но могу себе представить случай, когда мне пришлось бы быть свидетелем такой жестокости и смириться с ней.

— Так ты бы смирился?

— Конечно, если бы у меня не было власти помешать этому. Ты, видимо, присутствовал при сожжении евреев, Гольдмунд?

— Ах, да.





— Ну и помешал ты ему? Нет? Ну, вот видишь.

Гольдмунд подробно рассказал историю Ревекки и при этом очень разгорячился.

— Ну, так вот, — заключил он решительно, — что же это за мир, в котором нам приходится жить? Разве это не ад? Разве это не возмутительно и не отвратительно?

— Разумеется. Мир таков.

— Так! — воскликнул Гольдмунд сердито. — А сколько раз ты раньше утверждал, что мир божественный, он великая гармония кругов, в центре которых восседает Творец, и все существующее — это добро, и так далее. Ты говорил, что так рассуждали Аристотель или святой Фома. Мне очень интересно услышать твое объяснение противоречия.

Нарцисс засмеялся.

— Твоя память поразительна, и все-таки ты немного ошибаешься. Я всегда почитал Творца совершенным, но никогда — творение. Я никогда не отрицал зла в мире. Что жизнь на земле гармонична и справедлива и что человек добр, этого, мой милый, не утверждал ни один настоящий мыслитель. Больше того, что помыслы и желания человеческого сердца злы, недвусмысленно записано в Священном Писании, и мы каждодневно видим тому подтверждение.

— Очень хорошо. Теперь я, по крайней мере, знаю, как считаете вы, ученые. Итак, человек зол, и жизнь на земле полна низости и свинства, это вы признаете. А где-то в ваших мыслях и ученых книгах существуют еще справедливость и совершенство. Они есть, их можно доказать, но только ими нельзя пользоваться.

— У тебя накопилось много неприязни к нам, теологам, милый друг! Но ты все еще не стал мыслителем, у



тебя все разбросано. Тебе придется кое-чему еще поучиться. Но почему ты считаешь, что мы не используем идею справедливости? Каждый день и каждый час мы делаем это. Я, например, настоятель и должен управлять монастырем, а в этом монастыре все идет столь же несовершенно и небезгреховно, как и в миру. И все-таки, признавая первородный грех, мы постоянно идем навстречу идее справедливости, пытаемся мерить нашу несовершенную жизнь по ней, стремимся исправлять зло и постоянно стремимся связывать жизнь с Богом.

— Ах да, Нарцисс. Я ведь имел в виду не тебя и не то, что ты плохой настоятель. Но я думал о Ревекке, о сожженных евреях, об общих могилах, о великой смерти, об улицах и домах, в которых лежали чумные трупы, обо всем этом ужасном запустении, о бездомных, осиротевших детях, о дворовых собаках, голодавших на своих цепях, — и когда я обо всем этом думаю и вижу перед собой эти картины, у меня болит душа, и мне кажется, что наши матери родили нас в безнадежный, жестокий и дьявольский мир и лучше было бы, если бы они этого не делали, а Бог не создавал бы этот ужасный мир и Спаситель не умирал бы напрасно за него на кресте.

Нарцисс дружелюбно кивнул.

— Ты совершенно прав, — сказал он участливо, — выговоришься полностью, скажи мне все. Но в одном ты очень ошибаешься: ты считаешь, что говоришь, выражая мысли, а это — чувства! Это чувства человека, которого беспокоит жестокость существования. Но не забывай, что этим печальным и отчаянным чувствам противостоят ведь и совсем другие! Когда ты, здоровый, скачешь по красивой местности или достаточно легкомысленно пробира-





ешься вечером в замок, чтобы поухаживать за возлюбленной графа, мир выглядит для тебя совсем иначе, и никакие чумные дома и сожженные евреи не мешают тебе искать наслаждений. Разве не так?

— Конечно, так. Поскольку мир так жесток, полон смерти и ужаса, я постоянно ищу утешения для сердца, срывая прекрасные цветы, которые встречаются среди этого ада. Я наслаждаюсь и на час забываю об ужасе. От этого его не становится меньше.

— Ты очень хорошо сказал. Значит, ты считаешь, что окружен смертью и ужасом, и бежишь от этого в наслаждение. Но наслаждение не вечно, оно опять приводит тебя к опустошенности.

— Да, это так.

— С большинством людей происходит то же самое, только немногие воспринимают это с такой силой и горячностью, как ты. А скажи-ка, кроме этого отчаянного качания туда-сюда между наслаждением и ужасом, между жаждой жизни и чувством смерти, — не пытался ты идти каким-нибудь иным путем?

— О да, разумеется. Я пытался заниматься искусством. Я ведь тебе уже говорил, что я стал, кроме прочего, художником. Однажды, это было года три, как я ушел из монастыря и все время странствовал, в одной монастырской церкви я увидел деревянную Божию Матерь, она была так прекрасна и ее вид так поразил меня, что я узнал, кто мастер, и разыскал его. Это был знаменитый мастер; я стал его учеником и поработал у него несколько лет.

— Об этом ты мне еще подробнее расскажешь потом. А вот что же тебе дало искусство и что оно для тебя значит?



— Это было преодоление бренности. Я видел, что от дурацкой игры и пляски смерти в человеческой жизни что-то оставалось и продолжало жить: произведения искусства. И они, разумеется, тоже когда-то исчезали, их жгли или портили, или разбивали. Но все-таки они продолжают жить после человека и образуют за гранью мимолетности молчаливое царство картин и святых. Участвовать в работе над этим кажется мне добрым и утешительным, потому что это почти увековечивание преходящего.

— Это мне очень нравится, Гольдмунд. Я надеюсь, ты создашь еще много прекрасных произведений, я очень верю в твои силы, и, надеюсь, ты долгое время будешь моим гостем в Мариабронне и позволишь сделать для тебя мастерскую; в нашем монастыре давно не было художника. Но мне кажется, что твое определение не исчерпывает чудо искусства. Мне думается, искусство состоит не только в том, чтобы благодаря камню, дереву или краскам вырвать у смерти существующее, но смертное, и продлить этим его существование. Я видел немало произведений искусства, некоторых святых и мадонн, и не думаю, что они только лишь верные изображения какого-то отдельного человека, жившего когда-то, формы или краски которого сохранил художник.

— В этом ты прав, — воскликнул Гольдмунд живо, — я и не предполагал, что ты так хорошо разбираешься в искусстве! В хорошем произведении искусства прообраз не является действительной, живой моделью, хотя она и может послужить поводом. Прообраз — не из плоти и крови, он духовен. Это образ, который рождается в душе художника. И во мне, Нарцисс, живут такие образы, которые я надеюсь как-то выразить и показать тебе.





— Чудесно! А сейчас, мой друг, ты, сам того не зная, углубился в философию и выдал одну из своих тайн.

— Ты смеешься надо мной.

— О нет. Ты говорил о прообразах, то есть образах, которых нет нигде, кроме как в творческом духе, но которые могут воплощаться материально и становиться видимыми. Задолго до того, как художественный образ станет видимым и обретет существование, он наличествует как образ в душе художника! Так вот, этот образ, этот прообраз как две капли воды похож на то, что древние философы называли идеей.

— Да, это звучит вполне правдоподобно.

— Ну а поскольку ты признаешь себя причастным к идеям и прообразам, ты попадаешь в духовный мир, в наш мир философов и теологов и соглашаешься, что среди запутанно-сложной и болезненной жизни с ее борьбой, среди бесконечного и бессмысленного танца смерти для плотского существования есть творческий дух. Видишь ли, к этому духу в тебе я постоянно обращался, когда ты был мальчиком. Этот дух у тебя не дух мыслителя, а дух художника. Но это дух, и он укажет тебе дорогу из темного хаоса чувственного мира, из вечного качания между наслаждением и отчаянием. Ах, друг, я счастлив услышать от тебя это признание. Я ждал этого — с тех пор, как ты покинул своего учителя Нарцисса и нашел мужество стать самим собой. Теперь мы опять станем друзьями.

За этот час Гольдмунду показалось, что жизнь его обрела смысл, что он посмотрел на нее как бы сверху, увидев три важные ступени: зависимость от Нарцисса и освобождение от нее — время свободы и странствий — и возвращение, углубление в себя, начало зрелости и подведения итогов.



Видение исчезло. Но теперь он нашел подобающее отношение к Нарциссу, отношение не зависимости, но свободы и равенства. Отныне он без униженности перед его превосходящим духом мог бы быть его гостем, так как тот признал в нем равного, творца. Показать ему себя, свой внутренний мир в художественных произведениях — этому он радовался с возрастающей силой. Но иногда у него возникали и сомнения.

— Нарцисс, — предупредил он, — я боюсь, ты не знаешь, кого, собственно, везешь в свой монастырь. Я не монах и не хочу им стать. Я, правда, знаю три великих обета и с бедностью охотно мирюсь, но я не люблю ни целомудрия, ни послушания; эти добродетели кажутся мне недостойными мужчины. А от прежней набожности у меня ничего не осталось, я вот уже сколько лет не исповедовался, не молился, не причащался.

Нарцисс остался невозмутим.

— Ты, кажется, стал язычником. Но это не страшно. Своими многочисленными грехами не следует гордиться. Ты вел обычную мирскую жизнь, ты как блудный сын пас свиней, ты уже не знаешь, что такое закон и порядок. Конечно, из тебя вышел бы очень плохой монах. Но ведь я приглашаю тебя совсем не для того, чтобы ты вступил в орден; я приглашаю тебя, чтобы ты просто был нашим гостем и устроил себе у нас мастерскую. И еще одно: не забывай, что тогда, в наши юношеские годы, именно я разбудил тебя и побудил уйти в мир. Хорошим или плохим стал ты, за это наряду с тобой несу ответственность и я. Я хочу видеть, что же из тебя вышло; ты покажешь мне это словами, жизнью, своими произведениями. Когда ты это сделаешь и если я увижу, что наш монастырь не место для тебя, я первый же попрошу тебя покинуть его.





На этот раз полон восхищения был Гольдмунд, услышав своего друга говорящим так, выступившим как настоятель, со скрытой уверенностью и неким налетом иронии по отношению к людям мира и мирской жизни, потому что только теперь ему стало очевидно, что вышло из Нарцисса: мужчина. Правда, муж духа и церкви, с нежными руками и лицом ученого, но мужчина, полный уверенности и мужества, руководитель, тот, кто несет ответственность. Этот мужчина Нарцисс уже не был больше юношей той поры и мягким проникновенным апостолом Иоанном, и этого нового Нарцисса, этого мужественного рыцаря ему хотелось изобразить своими руками. Много фигур ждало его: Нарцисс, настоятель Даниил, патер Ансельм, мастер Никлаус, прекрасная Ревекка, красивая Агнес и еще немало других, друзей и врагов, живых и мертвых. Нет, он не собирался становиться ни членом ордена, ни набожным, ни ученым, он хотел творить; и то, что бывшая колыбель его юности станет родиной его произведений, делало его счастливым.

Была прохладная поздняя осень, и однажды, когда утром голые деревья стояли все в инее, они въехали в холмистую местность с пустыми красноватыми болотами и странно знакомыми линиями длинных цепей холмов; вот и высокий осинник, и русло ручья, и старый сарай, при виде которого у Гольдмунда радостью заныло сердце; он узнал холмы, по которым прогуливался верхом когда-то с дочерью рыцаря Лидией, и поле, по которому однажды, изгнанный и глубоко печальный, уходил странствовать сквозь редкий снег. На горизонте поднимался ольшаник и мельница, и бург, со странной болью узнал он окно кабинета, в котором тогда, в сказочное время юности, он слушал рассказы рыцаря о паломни-



честве и должен был исправлять его латынь. Они проехали во двор, здесь была намечена остановка. Гольдмунд попросил аббата не называть здесь его имени и разрешить есть вместе с конюхом у прислуги. Так и было. Старого рыцаря уже не было в живых, и Лидии тоже, но кое-кто из охотников и прислуги оставались, а в доме жила и правила вместе с супругом очень красивая, гордая и властная госпожа Юлия. Она все еще была дивно прекрасной, очень красивой и немного злой; ни она, ни прислуга не узнали Гольдмунда. После еды в вечерних сумерках он осторожно подошел к саду и посмотрел через забор на уже зимние клумбы, вернулся к двери конюшни и взглянул на лошадей. Они с конюхом спали на соломе; груз воспоминаний лежал у него на груди, и он много раз просыпался. О, какой разбросанной и бесплодной казалась ему его жизнь, богатая чудесными картинами, но разбитая на столько черепков, такая незначительная, такая бедная любовью. Утром при отъезде он робко поднял глаза к окнам в надежде увидеть еще раз Юлию. Так смотрел он недавно во дворе епископского дворца, не покажется ли Агнес. Она не подошла, и Юлия не показалась больше. Вот так всю жизнь, казалось ему: прощаешься, бежишь прочь, тебя забывают, и вот стоишь с пустыми руками и стынущим сердцем. Весь день это преследовало его, он не говорил ни слова, мрачно сидя в седле. Нарцисс предоставил его самому себе.

Но вот они приблизились к цели, и через несколько дней она была достигнута. Незадолго до того, как стали видны башни и крыши монастыря, они проскакали по каменистому брошенному полю, где он, о, сколько лет тому назад, собирал как-то траву зверобоя для патера Ансельма, и цыганка Лизе сделала его мужчиной. И вот





они проехали в ворота Мариабронна и слезли с лошадей под итальянским каштаном. Нежно коснулся Гольдмунд ствола и наклонился за одним из лопнувших колючих плодов, которые лежали на земле, коричневые и увядшие.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Первые дни Гольдмунд жил в своем монастыре, в одной из келий для гостей. Потом по его просьбе ему устроили жилье напротив кузницы в одной из хозяйских построек, окружавших большой, как рыночная площадь, двор.

Прошлое захватило его с такой чарующей страстью, что он подчас сам удивлялся этому. Никто его здесь не знал, кроме настоятеля, никто не знал, кто он такой, братья, как и миряне, жили по твердому распорядку и были заняты своим делом, оставив его в покое. Но его знали деревья во дворе, его знали порталы и окна, мельница с водяным колесом, каменные плиты переходов, увядшие розовые кусты в обходной галерее, гнезда аистов на амбаре и трапезной. Из каждого уголка сладостно и трогательно несло навстречу благоухание его прошлого, первых юношеских лет, с любовью смотрел он на все это опять, слушал все звуки, колокол ко всенощной и воскресный звон к мессе, шум темного мельничного ручья в его узком замшелом ложе, звук сандалий по каменным плитам, вечером звон ключей на связке, когда привратник шел запирать ворота. Рядом с каменными водостоками, по которым сбегала дождевая вода с крыши трапезной для мирян, все еще бурно росли те же невысокие травы, герань и подорожник, а старая ябло-



ня в саду у кузнеца все еще ровно держала свои далеко раскинувшиеся ветви. Но сильнее, чем все остальное, волновал его каждый раз звук маленького школьного колокольчика, когда на перемену сбегали по лестницам и резвились во дворе ученики из монастырской школы. Как юны и бездумны, как прелестны были эти ребячьи лица — неужели и он в самом деле был когда-то так же юн, так же неотесан, так же по-детски прелестен?

Но, кроме хорошо знакомого монастыря, он узнал и почти незнакомое, уже в первые дни это бросилось ему в глаза, становясь все важнее и лишь постепенно увязываясь с хорошо знакомым. Правда, и здесь не прибавилось ничего нового, все стояло на своем месте, как во время его ученичества и сотни лет до того, но он смотрел на это не глазами ученика. Он видел и чувствовал соразмерность зданий, сводов церкви, старую живопись, каменные и деревянные скульптуры на алтарях и порталах, и хотя не было ничего, что не стояло бы на своем месте уже тогда, он только теперь видел красоту этих вещей и дух, создавший их. Он смотрел на каменную Богоматерь в верхней часовне, мальчиком он тоже любил ее и срисовывал, но только теперь он увидел ее прозревшими глазами, видел, что она — чудо, которое он никогда не сможет превзойти самыми лучшими и удачными своими работами. И таких чудесных вещей было множество, и каждая стояла не сама по себе, не случайно, но, происходя от того же самого духа, стояла меж древних стен, колонн и сводов как в своей естественной отчизне. Все, что здесь было построено, изваяно, нарисовано, пережито, продумано и преподано за несколько столетий, было одного рода, одного духа и подходило друг другу, как ветви одного дерева.

Среди этого мира, этого безмолвного мощного един-





ства Гольдмунд чувствовал себя совсем ничтожным и никогда прежде не сознавал себя незначительнее, чем когда видел, как управляет этим огромным, однако спокойным-дружелюбным упорядоченным миром настоятель Иоанн, его друг Нарцисс. Пусть между ученым, тонкогубым аббатом Иоанном и простодушным скромным настоятелем Даниилом была внешне огромная разница, но каждый из них служил одному и тому же единству, тем же мыслям, тому же порядку, обретая через них свое достоинство, приносил свою личность в жертву. Это делало их похожими точно так же, как монастырское одеяние.

В монастыре Нарцисс казался Гольдмунду невероятно великим, хотя он не относился к нему иначе, как к другу и хозяину. Скоро он едва решался называть его на «ты» и Нарциссом.

— Послушай, настоятель Иоанн, — сказал он как-то ему, — постепенно мне ведь все-таки придется привыкнуть к твоему новому имени. Должен тебе сказать, мне очень нравится у вас. Иногда мне почти хочется исповедоваться во всем и после покаяния просить принять меня в качестве брата-мирянина. Но видишь ли, тогда нашей дружбе пришел бы конец: ты — настоятель, а я — брат-мирянин. Жить же так возле тебя, на твои труды, и ничего не делать самому — этого я дольше не выдержу. Я тоже очень хочу работать и показать тебе на что я способен, чтобы ты увидел, стоило ли освобождать меня от виселицы.

— Я очень рад этому, — ответил Нарцисс, произнося свои слова точнее и отточеннее, чем когда-либо. Ты можешь в любой момент устраивать себе мастерскую, а тотчас же прикажу кузнецу и плотнику быть в твоём распоряжении. Располагай материалом для работы, ко-



торый есть здесь, что нужно заказать, привезти, на это составь список. А теперь выслушай, что я думаю о тебе и твоих намерениях! Дай мне немного времени, чтобы выразить себя: я ученый и попытаюсь представить себе дело с точки зрения мыслителя, другого языка у меня нет. Послушай меня еще раз, как терпеливо ты это делал когда-то в прежние времена.

— Я попытаюсь. Говори.

— Вспомни, как я еще в наши школьные годы иногда говорил, что считаю тебя художником. Тогда мне казалось, что из тебя вышел бы поэт; при чтении и письме у тебя была определенная антипатия к понятиям и абстракциям, и ты особенно любил в языке слова и звуки, которым свойственны чувственно-поэтические качества, то есть слова, при помощи которых можно себе что-то представить.

Гольдмунд перебил:

— Прости, но эти понятия и абстракции, которые ты предпочитаешь, разве они не представления и образы? Или ты употребляешь и любишь для выражения мысли действительно слова, за которыми ничего нельзя себе представить? Разве можно вообще мыслить, не представляя себе что-нибудь при этом?

— Хорошо, что ты спрашиваешь! Но, разумеется, можно мыслить без представлений! Мышление не имеет с представлениями ничего общего. Оно осуществляется не в образах, а в понятиях и формулах. Именно там, где кончаются образы, начинается философия. Это и было как раз то, о чем мы так часто спорили в юности: для тебя мир состоял из образов, для меня — из понятий. Я все время говорил тебе, что ты не годишься в мыслителя, я и говорил также, что это не является недостатком, потому что ты владеешь миром образов. Будь внимате-





лен, я поясню. Если бы ты вместо того, чтобы идти в мир, стал мыслителем, то могло бы случиться непоправимое. Ты бы стал мистиком. Мистики — это, коротко и несколько грубо говоря, те мыслители, которые не смогли освободиться от представлений, то есть вообще не мыслители. Они втайне художники: поэты без стихов, художники без кисти, музыканты без звуков. Среди них есть в высшей степени одаренные и благородные умы, но они все без исключения несчастные люди. Таким мог стать и ты. Вместо этого ты, слава Богу, стал художником и овладел миром образов, где ты можешь быть творцом и господином, вместо того чтобы оставаться незадачливым мыслителем.

— Боюсь, — сказал Гольдмунд, — мне никогда не удастся постичь твой мир мыслей, где думают без представлений.

— О, напротив, ты сразу все поймешь. Слушай: мыслитель пытается познать и представить сущность мира путем логики. Он знает, что наш разум и его инструмент, логика, несовершенны — точно так же, как знает умный художник, что его кисть или резец никогда не сможет в совершенстве выразить сияющую сущность ангела или святого, и все-таки оба пытаются, и мыслитель, и художник, каждый по-своему. Они не могут и не смеют иначе. Ведь стремясь осуществить себя с данными ему природными дарами, человек делает самое великое и единственно осмысленное, что может. Поэтому я так часто говорил тебе раньше: не пытайся подражать мыслителю или аскету, а будь собой, стремись осуществить себя самого!

— Я тебя почти понял. Но что значит, собственно, осуществить себя?

— Это философское понятие, я не могу это выразить



иначе. Для нас, последователей Аристотеля и святого Фомы, наивысшим из всех понятий является совершенное бытие. Совершенное бытие есть Бог. Все остальное, что есть, есть лишь наполовину, отчасти, оно в становлении, смешанно, состоит из возможностей. Но Бог не смешан. Он един, Он не имеет возможностей, являясь целиком и полностью действительностью. Мы же преходящи, мы в становлении, мы являемся возможностями, для нас нет совершенства, нет полного бытия. Но там, где мы перешагиваем от потенции к делу, от возможности к осуществлению, мы участвуем в истинном бытии, становимся на одну йоту ближе к совершенному и божественному. Это значит: осуществлять себя. Ты должен знать этот процесс по собственному опыту. Ведь ты художник и сделал несколько фигур. Если какая-то фигура тебе действительно удалась, если ты освободил портрет какого-то человека от случайного и выразил в чистой форме — тогда ты как художник осуществил образ этого человека.

— Я понял.

— Меня ты видишь, друг Гольдмунд, в таком месте и на таком служении, где моей природе легче всего осуществить себя. Я живу в общине и в традиции, которые соответствуют мне и помогают. Монастырь не небо, и здесь сколько угодно несовершенства, и все-таки благопристойная монастырская жизнь для людей моего склада несравненно более способствует осуществлению, чем жизнь в миру. Я не хочу говорить о морали, но даже чисто практически чистое мышление, упражняться в котором и учить которому является моей задачей, требует защиты от мира. Так что здесь, в нашем монастыре, мне было гораздо легче осуществить себя, чем пришлось тебе. То, что ты, несмотря на это, нашел путь и стал ху-





дожником, просто восхищает меня. Ведь тебе было намного труднее.

Гольдмунд смущенно покраснел от похвалы и от радости. Чтобы отвести внимание, он перебил друга:

— В основном, что ты сказал мне, я понял. Но одно все-таки не уместается у меня в голове: то, что ты называешь чистым мышлением, то есть твое так называемое мышление без образов и оперирование словами, за которыми ничего нельзя представить.

— Ну на примере ты поймешь это. Подумай-ка о математике! Какие представления содержат числа? Или знаки плюс и минус? Какие образы содержит равенство? Ведь никаких! Когда ты решаешь арифметическую или алгебраическую задачу, тебе не поможет никакое представление, а ты решаешь при помощи выученных форм мышления формальную задачу.

— Так, Нарцисс. Если ты напишешь мне ряд чисел и знаков, то безо всяких представлений я смогу решить задачу, руководствуясь плюсом и минусом, квадратами, скобками и так далее. То есть я мог это когда-то, сегодня я уже не в состоянии этого сделать. Но я не могу себе помыслить, чтобы решение таких формальных задач могло иметь какое-то другое значение, кроме учебных упражнений. Научиться считать — это, конечно, очень хорошо. Но, по-моему, бессмысленное ребячество всю жизнь просидеть за такими задачками и вечно испывать бумагу рядами цифр.

— Ты ошибаешься, Гольдмунд. Ты предполагаешь, что этот прилежный счетовод все время решает новые школьные задачи, которые задает ему учитель. Но ведь он и сам может ставить перед собой задачи, они могут возникать в нем как настоятельная необходимость. Нужно вычислить и измерить некоторое действительное и неко-



торое мнимое пространство, прежде чем решаться думать о проблеме пространства вообще.

— Ну да. Но проблема пространства как проблема чистого мышления кажется мне тоже не тем предметом, которому человек должен отдавать свой труд и тратить годы. Слово «пространство» для меня ничто и не стоит размышления, пока я не представлю себе действительное пространство, что-нибудь вроде звездного пространства; рассматривать и измерять его кажется мне, во всяком случае, не пустой задачей.

Улыбнувшись, Нарцисс вставил:

— Ты, собственно, хочешь сказать, что ни во что не ставишь мышление, но признаешь применение мышления в практическом и видимом мире. Я могу тебе ответить: в случаях применения нашего мышления и в воле к нему у нас нет недостатка. Мыслитель Нарцисс, к примеру, находил применение своему мышлению как по отношению к своему другу Гольдмунду, так и к любому из своих монахов сотни раз и делает это постоянно. Но как же он мог бы применить что-то, не изучив и не узнав на опыте? И художник ведь постоянно тренирует свой глаз и фантазию, и мы узнаем о его опытности, когда он даже в немногих действительных произведениях проявит себя. Ты не можешь отбрасывать мышление как таковое, одобряя его применение! Противоречие налицо. Итак, позволь мне спокойно думать и суди мое мышление по его воздействию, точно так же я буду судить о твоём искусстве по твоим произведениям.

— Ты сейчас спокоен и возбужден, — добавил Нарцисс, — потому что между тобой и твоими произведениями еще есть препятствия. Устрани их, найди или сделай себе мастерскую и приступай к делу! Многие вопросы решаются тогда сами собой!





Гольдмунд и не желал ничего лучшего.

Он нашел помещение возле ворот во двор, которое пустовало и подходило для мастерской. Он заказал плотнику стол для рисования и другие необходимые вещи, которые точно нарисовал ему. Он составил список предметов, которые постепенно должны были привезти ему из ближайших городов монастырские возчики, длинный список. Он просмотрел у плотника и в лесу все запасы срубленного дерева, отобрал некоторые куски для себя и приказал разложить на траве позади мастерской для просушки, и сам сделал над ними навес. Много дел было у него и в кузнице, сын кузнеца, молодой и мечтательный, был совершенно очарован им и во всем держал его сторону. Он по полдня простаивал с ним у кузнечного горна, у наковальни, у холодного чана и точильного камня, здесь делались всякие кривые и прямые ножи для вырезания, резцы, сверла и скребки, нужные ему для обработки дерева.

Сын кузнеца Эрих, юноша лет двадцати, стал другом Гольдмунда, он во всем помогал и был полон горячего участия и любопытства. Гольдмунд обещал научить его играть на лютне, чего тот страстно желал, да и вырезать он тоже не прочь был попробовать. Если временами в монастыре и у Нарцисса Гольдмунд чувствовал себя довольно бесполезным и угнетенным, то с Эрихом он отдыхал, тот же робко любил его и почитал без меры. Часто он просил рассказать ему о мастере Никлаусе и епископском городе, иногда Гольдмунд охотно делал это и потом вдруг удивлялся, что вот он сидит здесь и, как старик, рассказывает о путешествиях и делах минувших, когда жизнь его только теперь начинается по-настоящему.

То, что за последнее время он сильно изменился и был гораздо старше своих лет, никто не замечал, ведь никто



не знал его раньше. Лишения странничества и беспорядочной жизни уже давно изнурили его; а время чумы с ее многочисленными ужасами и, наконец, заключение у графа и та страшная ночь в подвале замка потрясли его до глубины души, и все это оставило свой след: седину в белокурой бороде, тонкие морщины на лице, временами плохой сон и иногда глубоко в сердце некую усталость, ослабление желаний и любопытства, серое безразличие удовлетворенности и пресыщенности. Готовясь к своей работе, в беседах с Эрихом, в хлопотах у кузнеца и плотника он отдыхал, оживлялся и молодел, все восхищались им и любили его, но промежутках он нередко по полчаса и целому часу, усталый, улыбаясь в полусне, отдавался апатии и равнодушию.

Очень важным для него был вопрос, когда же он начнет работать. Первое произведение, которое он хотел здесь сделать и отплатить им за гостеприимство монастыря, не должно было быть случайным, которое поставили бы где-нибудь любопытства ради, оно должно было быть подобно старым произведениям монастыря, совершенно подходить к его постройкам и жизни и стать частью его. Охотнее всего он сделал бы алтарь или кафедру, но в обоих не было надобности и места. Зато он придумал кое-что иное. В трапезной патеров была высокая ниша, откуда во время трапез молодой брат всегда читал Предание. Эта ниша была без украшения. Гольдмунд решил украсить вход на место чтения и его самого деревянными фигурами, отчасти возвышенными и свободно стоящими, наподобие кафедр. Он поделился своим планом с настоятелем, и тот похвалил его и приветствовал.

И вот, когда наконец можно было начать работать — лежал снег и Рождество уже прошло, — жизнь Гольдмунда преобразилась. Для монастыря он как бы исчез, никто





больше его не видел, он не поджидал уже больше после занятий ватагу учеников, не бродил по лесу, не прогуливался по галерее. Еду он брал теперь у мельника, это был уже не тот, которого он когда-то часто посещал мальчиком. И в свою мастерскую он не пускал никого, кроме своего помощника Эриха, да и тот иной день не слышал от него ни слова.

Для своего первого произведения, кафедры для чтеца, после долгих размышлений он составил план: из двух частей, которые составляли произведение, одна должна была представлять мир, другая — божественное слово. Нижняя часть, лестница, поднимаясь из крепкого дубового ствола и обвивая его, должна была представлять творение, образы природы и простой патриархальной жизни. Верхняя часть, парапет, будет поддерживаться фигурами четырех евангелистов. Одному из евангелистов он хотел придать черты покойного настоятеля Даниила, другому — черты покойного патера Мартина, его последователя, а в фигуре Луки он хотел увековечить своего мастера Нислауса.

Он столкнулся с немалыми трудностями, большими, чем ожидал. Они беспокоили его, но то были сладостные беспокойства, он поступал со своим произведением как с неприступной женщиной, восхищенный и отчаявшийся, он боролся с ним ожесточенно и нежно, как борется удильщик с огромной щукой, всякое сопротивление было поучительным и заставляло более тонко чувствовать. Он забыл все остальное, он забыл монастырь, он почти забыл Нарцисса. Тот появлялся несколько раз, но не увидел ничего, кроме рисунков.

Зато однажды Гольдмунд поразил его просьбой исповедоваться ему.

— До сих пор я не мог заставить себя, — признался



он, — я казался себе слишком ничтожным, я чувствовал себя перед тобой и без того достаточно униженным. Теперь мне легче, теперь у меня есть работа, и я больше не ничтожество. А уж поскольку я живу в монастыре, мне хотелось бы подчиниться порядку.

Он чувствовал, что пришло время, и не хотел больше ждать. А в покойной жизни первых недель, отдаваясь опять всему увиденному и юношеским воспоминаниям, да и рассказывая по просьбе Эриха о своей прошлой жизни, он привел ее в определенный порядок и ясность.

Нарцисс принял его исповедь без торжественности. Она продолжалась около двух часов. С неподвижным лицом выслушал настоятель о приключениях, страданиях и грехах своего друга, задал кое-какие вопросы, ни разу не перебил и даже ту часть исповеди, где Гольдмунд признавался в утрате веры в Бога справедливости и добра, выслушал равнодушно. Он был потрясен некоторыми признаниями исповедовавшегося, он видел, сколько раз тот испытывал потрясения и ужас и был близок к гибели. Затем он опять улыбался и был тронут невинной детскостью друга, когда тот раскаивался и беспокоился о неблагочестивых мыслях, которые по сравнению с его собственными сомнениями и безднами в мыслях были безвинны.

К удивлению Гольдмунда, даже разочарованию, духовник не считал его собственные грехи слишком тяжкими, но предостерегал и наказал без пощады его пренебрежение молитвой, исповедью и причастием. Он наложил на него покаяние: перед причастием четыре недели жить умеренно и целомудренно, каждое утро бывать на ранней мессе, а каждый вечер читать три раза «Отче наш» и один раз хвалу Богородице.

После этого он сказал ему: «Я предупреждаю и про-





шу не относиться легко к этому покаянию. Не знаю, помнишь ли ты точно текст мессы. Ты должен следить за каждым словом и проникаться их смыслом. «Отче наш» и некоторые гимны я сегодня же разъясню тебе сам, на какие слова и значения нужно обратить особое внимание. Святые слова нельзя произносить и слушать как обычные. Если ты поймаешь себя на том, что машинально читаешь слова, а это происходит чаще, чем ты думаешь, тот тут же, вспомнив мое предостережение, начинай сначала и произноси слова так и так, принимай их сердцем, как я тебе покажу».

Был ли то счастливый случай, или настоятель так хорошо понимал чужие души, но только после исповеди и покаяния для Гольдмунда настало счастливое время полноты мира. Несмотря на работу, полную напряжения, забот, но и удовлетворения, он каждое утро и вечер освобождался от дневных волнений благодаря нетрудным, но исполняемым на совесть духовным упражнениям, уносившим все его существо к более высокому порядку, вырвавшим его из опасного одиночества творца и уведившим его, как ребенка, в царство Бога. Если борьбу со своим произведением он должен был выдерживать в одиночку, отдавая ему всю страсть своих чувств и души, то час молитвы опять возвращал его к невинности. Часто во время работы, возбужденный от ярости и нетерпения или восхищенный до наслаждения, он погружался в благочестивые молитвы, как в прохладную воду, смывавшую с него высокомерие как восторга, так и отчаяния.

Это удавалось не всегда. Иной раз вечером после страстной работы он не находил покоя и собранности, несколько раз забывал про молитвы, и много раз, когда старался погрузиться в молитву, ему мешала мучительная мысль, что чтение молитв всего лишь детское стремление к Богу,



которого нет или который все равно не может ему помочь. Он жаловался другу.

— Продолжай, — говорил Нарцисс, — ты же обещал и должен выдержать. Тебе не нужно думать о том, слышит ли Бог твою молитву или есть ли вообще Бог, которого ты как-то представляешь себе. Не следует думать и о том, ребяческие ли твои усилия. По сравнению с тем, к кому обращены наши молитвы, все наши дела — ребячество. Ты должен совсем запретить себе эти глупые мысли маленького ребенка во время молитвы. Ты должен так читать «Отче наш» и хвалу Марии и отдаваться их словам и наполняться ими настолько, как будто поешь или играешь на лютне, ведь тогда ты не предаешься каким-то умным мыслям или рассуждениям, а извлекаешь звук и делаешь одно движение пальцами за другим как можно чище и совершеннее. Когда поют, ведь не думают, полезно пение или нет, а поют. Точно так же ты должен молиться.

И опять дело шло на лад. Опять его напряженное и жадное «я» угасало в далеком порядке, опять священные слова проходили над ним и через него, как звезды.

С большим удовлетворением настоятель заметил, что Гольдмунд по окончании покаяния и после причастия продолжал ежедневные молитвы, неделями и месяцами.

Между тем его творение продвигалось. Из толстого хода винтовой лестницы поднимался вверх целый мир фигур, растений, животных, людей, в середине праотец Ной меж листьев и гроздей винограда, книга образов во славу творения и его красоты, вдохновенная, но руководимая тайным порядком. В течение всех этих месяцев никто не видел произведения, кроме Эриха, который имел право лишь на подсобную работу и ни о чем другом не помышлял, как только стать художником. В иные дни и





он не смел войти в мастерскую. В другие дни Гольдмунд занимался с ним, делал указания и разрешал попробовать, радуясь иметь единомышленника и ученика. Когда произведение будет закончено и если оно будет удачным, он подумывал просить его отца отпустить юношу к нему постоянным подмастерьем.

Над фигурами евангелистов он работал в свои лучшие дни, когда все было в согласии и никакие сомнения не бросали тени на душу. Лучше всего, так ему казалось, удалась фигура, которой он придал черты настоятеля Даниила, которого он очень любил, его лицо излучало невинность и доброту. Фигурой мастера Никлауса он был меньше доволен, хотя Эрих восхищался ею больше всего. Эта фигура несла печать двойственности и печали, она, казалось, была полна высоких творческих замыслов и одновременно отчаянного знания о ничтожности творчества, полна печали по утраченному единству и невинности.

Когда настоятель Даниил был готов, он попросил Эриха прибраться в мастерской. Он завесил остальную часть произведения и выставил на свет только одну эту фигуру. Потом он пошел к Нарциссу и терпеливо ждал, поскольку тот был занят, до следующего дня. И вот к обеду он привел друга в мастерскую и оставил перед фигурой.

Нарцисс стоял и смотрел. Он стоял, а время шло; с вниманием и тщательностью ученого рассматривал он фигуру. Гольдмунд стоял сзади, молча пытаясь совладать с бурей в своем сердце. «О, — думал он, — если теперь один из нас не выдержит, то плохо дело. Если моя фигура недостаточно хороша, или он не сможет ее понять, то вся моя работа здесь потеряет смысл. Но надо еще подождать».



Минуты казались ему часами, он вспомнил то время, когда мастер Никлаус держал в руках его первый рисунок, от напряжения он сцепил влажно-горячие руки.

Нарцисс повернулся к нему, и он сразу почувствовал облегчение. Он видел, как на узком лице друга что-то расцвело, чего не было с мальчишеских лет: улыбка, почти робкая улыбка на этом умном и волевом лице, улыбка любви и увлеченности, сияние как будто на мгновение пробившееся через одиночество и гордость этого лица и излучавшее только полную любви душу.

— Гольдмунд, — сказал Нарцисс совсем тихо, даже теперь взвешивая слова, — ты ведь не ждешь, что я вдруг стану знатоком искусств. Я им не являюсь, ты это знаешь. Я не могу сказать о твоём искусстве что-нибудь, что не показалось бы тебе смешным. Но одно позволь мне сказать: с первого взгляда я узнал в твоём евангелисте нашего настоятеля Даниила, и не только его, но и все, что он значил для нас тогда: достоинство, доброту, простодушие. Каким покойный отец Даниил был в наших благоговейных мальчишеских глазах, таким стоит он здесь передо мной со всем тем, что было тогда для нас свято и что делает то время для нас незабываемым. Ты так богато одарил меня, друг, показав мне его, ты показал мне не только нашего настоятеля Даниила, ты в первый раз раскрыл мне всего себя. Теперь я знаю, кто ты. Не будем больше говорить об этом, я не могу. О, Гольдмунд, неужели этот час настал!

В мастерской стало тихо. Гольдмунд видел, что его друг взволнован до глубины души. Смущение сдавило ему дыхание.

— Да, — сказал он коротко, — я рад этому. Теперь, как раз время обеда, тебе надо идти.





ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Два года работал Гольдмунд над своим произведением, и со второго года Эрих окончательно стал его учеником. Украшая резьбой лестницу, он создал маленький рай, с удовольствием изобразил прелестную чашу из деревьев, листьев и трав, с птицами в ветвях, с головами и туловищами животных, повсюду выступавшими в промежутках. Среди этого мирно поднимавшегося первобытного сада он изобразил некоторые сцены из жизни патриархов. Редко нарушалась эта прилежная жизнь. Редко наступал день, когда он не мог работать из-за беспокойства или пресыщения своим произведением. Тогда он, дав работу ученику, уходил или уезжал верхом прочь, подышать в лесу манящим воздухом свободы и бродячей жизни, находил где-нибудь дочь крестьянина, ходил на охоту и часами лежал в траве, уставившись в куполы вершин леса или буйные заросли папоротника и дрока. Никогда он не отсутствовал больше одного-двух дней. Потом он принимался за дело с новой страстью, с удовольствием вырезал буйно разросшиеся растения, осторожно и нежно извлекал из дерева человеческие головы, сильным движением вырезая рот, глаза, волнистую бороду. Кроме Эриха, о произведении знал только Нарцисс, часто приходивший сюда, мастерская стала для него со временем самым любимым местом в монастыре. С радостью и удивлением наблюдал он, как расцветало то, что его друг носил в своем беспокойном, упрямом и детском сердце, росло и расцветало творение, небольшой, бьющий ключом мир: возможно, игра, но уж не худшая, чем игра с логикой, грамматикой и теологией.

Как-то он задумчиво сказал:

— Я многому учусь у тебя, Гольдмунд. Я начинаю



понимать, что такое искусство. Раньше мне казалось, его нельзя принимать особенно всерьез по сравнению с мышлением и наукой. Я рассуждал примерно так: поскольку человек есть сомнительное смешение из духа и материи, и дух открывает ему познание вечного, материя же только тянет вниз, приковывая к преходящему, нужно стремиться от чувственного к духовному, чтобы возвысить жизнь и придать ей смысл. Я, правда, притворялся, что уважаю искусство, по привычке, но, собственно, смотрел на него высокомерно, свысока. Только теперь я вижу, как много есть путей познания и путь духа не единственный и, возможно, не лучший. Это, разумеется, мой путь; я останусь на нем. Но я вижу, что твоим, противоположным путем, путем чувств, можно так же глубоко понять тайну бытия и выразить гораздо живее, чем это удастся большинству мыслителей.

— Ты понимаешь теперь, — сказал Гольдмунд, — что я не мог понять, что такое мышление без представлений?

— Я давно понял. Наше мышление — это постоянное абстрагирование, игнорирование чувственного опыта, попытка построения чисто духовного мира. Ты же принимаешь в сердце как раз самое непостоянное и самое смертное и провозглашаешь смысл мира именно в преходящем. Ты не отворачиваешься от него, ты отдаешься ему, и благодаря твоей отдаче оно становится высшим, подобием вечного. Мы, мыслители, пытаемся приблизиться к Богу, отделяя мир от него. Ты приближаешься к нему, любя его творение и воссоздавая его еще раз. Оба есть дело рук человеческих и оба недостаточны, но искусство более невинно.

— Я не знаю, Нарцисс. Но справиться с жизнью, защититься от отчаяния, кажется, лучше удается все-таки вам, мыслителям и теологам. Я давно уже не завидую





твоей учености, друг мой, но я завидую твоему спокойствию, твоей уравновешенности, миру в твоей душе.

— Можешь не завидовать, Гольдмунд. Нет такого мира, как ты думаешь. Есть мир, конечно, но не такой, что постоянно живет в нас и никогда не покидает. Есть только такой мир, который завоевывается в постоянной борьбе, и эта борьба ведется изо дня в день по-новому. Ты не видишь меня спорящим, ты не знаешь моей борьбы ни во время занятий, ни во время молитв. И хорошо, что не знаешь. Ты только видишь, что я меньше тебя подвержен настроениям, считая это миром. Но это — борьба, это — борьба и жертва, как любая праведная жизнь, как и твоя тоже.

— Не будем спорить об этом. И ты видишь не все, с чем я борюсь. И не знаю, поймешь ли ты, как бывает у меня на сердце, когда я подумаю о том, что ведь скоро произведение будет готово. Оно будет вынесено и выставлено, и мне выскажут несколько похвальных слов, и я вернусь в голую пустую мастерскую, опечаленный всем тем, что не удалось и что вы, другие, совсем не видите, и я буду таким же опустошенным и ограбленным внутри, как эта мастерская.

— Может быть, так, — ответил Нарцисс, — и никому из нас не дано до конца понять другого в этом. Но всем людям доброй воли свойственно одно: наши дела по окончании смущают нас, мы снова должны начинать сначала, приносить жертву вновь и вновь.

Через несколько недель большая работа Гольдмунда была готова и выставлена. Повторилось то, что он давно уже пережил: его произведением стали владеть другие, его рассматривали, обсуждали, хвалили, прославляя мастера и оказывая ему честь; но его сердце и его мастерская были пусты, и он не знал, стоило ли жертвовать



своим произведением. В день открытия он был приглашен к столу патеров, была праздничная трапеза с самым старым вином; Гольдмунд поел хорошей рыбы и дичи; но больше, чем старое вино, его тронуло участие и радость, с какими приветствовал и почтил его произведение Нарцисс.

Новая желательная работа, которую заказывал настоятель, была примерно следующей — алтарь для часовни Марии в Нойцелле, она относилась к монастырю и управлялась мариаброннским патером. Для этого алтаря Гольдмунд хотел сделать фигуру девы Марии и увековечить в ней один из незабываемых образов своей юности, прекрасную боязливую дочь рыцаря Лидию. В остальном этот заказ был для него маловажен, но он подходил для того, чтобы Эрих выполнил в нем свою часть работы как подмастерье. Если Эрих оправдает его надежды, то он будет иметь в его лице всегда хорошего помощника, который сможет заменять его и освобождать для тех работ, которые ему по душе. Теперь они с Эрихом искали дерево для алтаря и готовили его к работе. Часто Гольдмунд оставлял его одного, он опять начал свои блуждания и прогулки по лесу; когда его как-то не было несколько дней, Эрих сказал об этом настоятелю, и тот тоже немного испугался, не покинул ли он их навсегда.

Между тем он вернулся, поработал с неделю над фигурой Лидии, а потом опять ушел бродить.

Он был озабочен; с тех пор как была закончена большая работа, в его жизни наступил разлад, он пропускал утреннюю мессу, был глубоко обеспокоен и недоволен собой. Он много думал теперь о мастере Никлаусе и о том, не станет ли он сам скоро таким же, как Никлаус, прилежным и порядочным, и искусным, но несвободным и немолодым. Недавно один незначительный случай за-





ставил его задуматься. Блуждая, он встретил молодую крестьянскую девушку Франциску, которая очень понравилась ему, и он постарался очаровать ее, употребив все свое бывшее искусство ухаживать. Девушка охотно выслушала его сладкие речи, смеялась, счастливая, его шуткам, но ухаживания его отклонила, и впервые он почувствовал, что показался молодой женщине стариком. Он больше не ходил туда, но он не забыл этого. Франциска права, он стал другим, он чувствовал это сам, и дело было не в несколько преждевременно поседевших волосах или морщинах у глаз, а скорее в его существе, в душе; он считал себя старым, он считал себя неприятно похожим на мастера Никлауса. С неудовольствием наблюдал он за самим собой, недоумевая по поводу себя; он стал несвободным и оседлым, он уже не был орлом или зайцем, он стал домашним животным. Когда он бродил, то искал аромат прошлого, скорее вспоминал свои бывшие странствия, а не осуществлял новые, обретая вновь свободу, он искал страстно и недоверчиво, подобно собаке, потерявшей след. А если день или два его не было, он немного загуливался, его неудержимо тянуло обратно, его мучила совесть, он чувствовал, что мастерская ждет, он чувствовал ответственность за начатый алтарь, за подготовленное дерево, за помощника Эриха. Он перестал быть свободным, он не был больше юным. Он твердо решил: когда фигура Лидии-Марии будет готова, он отправится в путешествие и еще раз попробует страннической жизни. Нехорошо так долго жить в монастыре среди одних мужчин. Для монахов это хорошо, для него — нет. С мужчинами можно прекрасно и умно разговаривать, и они понимают в работе художника, но все остальное, болтовня, нежность, игра, любовь, бездумность — этого не водится среди мужчин, для этого нуж-



ны женщины, и странствие, и бродяжничество, и все новые картины. Все здесь вокруг него было немного серым и серьезным, немного тяжелым и мужским, и он заразился этим, это проникло ему в кровь.

Мысль о путешествии утешала его; он усердно работал, чтобы скорее освободиться. А когда постепенно из дерева выступил образ Лидии, когда он сделал строгие ниспадающие складки одежды с ее благородных коленей, его пронзила глубокая и щемящая радость, грустная влюбленность в образ, в прекрасную робкую девичью фигуру, в воспоминание о прошлом, о его первой любви, первых странствиях, о своей юности. Благоговейно работал он над этим нежным образом, наполняя лучшим, что было в нем, своей юностью, своими самыми приятными воспоминаниями. Счастьем было создавать ее склоненную голову, ее дружелюбно-скорбный рот, аристократичные руки, длинные пальцы с красиво выпуклыми кончиками. С восхищением и благоговейной влюбленностью смотрел на фигуру и Эрих, когда позволялось.

Когда она была почти готова, он показал ее настоятелю. Нарцисс сказал:

— Это твое самое прекрасное произведение, милый, во всем монастыре нет ничего, что сравнилось бы с ним. Должен тебе признаться, в эти последние месяцы я не раз беспокоился за тебя. Я видел, что ты неспокоен и страдаешь, а когда ты пропадал дольше чем на день, я иной раз с тревогой думал, а вдруг он не вернется. И вот ты сделал эту чудную фигуру! Я рад за тебя и горжусь тобой!

— Да, — ответил Гольдмунд, — фигура вполне удалась. Но послушай меня, Нарцисс! Для того, чтобы эта фигура удалась, мне потребовалась вся моя юность, мое странствие, моя влюбленность, мои ухаживания за мно-





гими женщинами. Это источник, из которого я черпал. Источник скоро иссякнет, у меня будет сухо в сердце. Я доделаю фигуру Марии, а потом возьму на какое-то время отпуск, я не знаю, как надолго, и вернусь к своей юности и всему, что когда-то любил. Можешь ты это понять? Ну, да. Ты знаешь, я был твоим гостем и никогда не брал денег за свою работу...

— Я не раз предлагал их тебе, — бросил Нарцисс.

— Да, а теперь возьму. Закажу себе новое платье, и, когда оно будет готово, попрошу у тебя коня, несколько талеров и уеду в мир. Не говори ничего, Нарцисс, и не печалься. Ведь дело не в том, что мне здесь не нравится, мне нигде не могло бы быть лучше. Дело в другом. удовлетворишь мое желание?

Об этом нечего было и говорить. Гольдмунд заказал себе простое платье наездника и сапоги и по мере приближения лета заканчивал фигуру Марии, последнее свое произведение; с бережностью любящего придавал он рукам, лицу, волосам окончательную завершенность. Могло даже показаться, что он затягивает отъезд, как будто он очень охотно еще продолжал бы эту последнюю тонкую работу. Проходил день за днем, а он находил все новые дела. Нарцисс, хотя ему тяжело было предстоящее прощание, иной раз слегка улыбался этой слишком большой влюбленности Гольдмунда и его невозможности расстаться с фигурой Марии.

Но однажды Гольдмунд застал его все-таки врасплох, неожиданно придя прощаться. За ночь решение было принято. В новом платье, новом берете пришел он к Нарциссу, чтобы попрощаться. Уже до того он исповедался и причастился. Теперь он пришел сказать «прощай» и получить напутственное благословение. Обоим проща-



ние было тяжело, и Гольдмунд притворялся более решительным и спокойным, чем было у него на сердце.

— Увижу ли я тебя? — спросил Нарцисс.

— О, конечно, если твоя прекрасная лошадь не сломает мне шею, непременно увидишь. А то ведь некому будет называть тебя Нарциссом и доставлять тебе беспокойство. Положись на это. Не забудь присматривать за Эрихом. И чтобы никто не дотрагивался до моей Марии! Она останется в моей комнате, как я сказал, и ты позволь мне не отдавать ключ.

— Ты рад, что уезжаешь?

Гольдмунд сверкнул глазами.

— Ну, я радовался, это так. Но теперь, когда я должен уезжать, все кажется мне не таким веселым, как думалось. Ты посмеешься надо мной, но я расстаюсь без легкости, и эта привязанность мне не нравится. Это как болезнь, у молодых и здоровых людей этого не бывает. Мастер Никлаус был тоже такой. Ах, не будем говорить о ненужных вещах! Благослови меня, дорогой, и я поеду.

Он ускакал.

В мыслях Нарцисс был долго занят другом, он беспокоился о нем и тосковал по нему. Вернется ли он, выпорхнувшая птица, милый легкомысленный человек! Вот он опять пошел своим кривым безвольным путем, этот странный и любимый человек, опять бродить по свету, сладострастно и с любопытством, следуя своим сильным темным инстинктам, бурно и ненасытно, большой ребенок. Да пребудет Бог с ним, да вернется он невредимым назад. Вот он опять полетел, мотылек, порхать туда-сюда, опять грешить, соблазнять женщин, следуя страсти, попадет еще опять в смертельную опасность, в тюрьму, да и погибнет там. Сколько беспокойства доставлял этот белокурый мальчик, жаловался, что стареет, а смотрел





такими детскими глазами! Как же за него не бояться. И все-таки Нарцисс был от души рад за него. В глубине души ему нравилось, что это упрямое дитя так трудно было обуздать, что у него были такие капризы, что он опять вырвался на свободу и загулял.

Каждый день в какой-нибудь час мысли аббата возвращались к другу, с любовью и тоской, благодарностью, иногда даже с сомнениями и самобичеваниями. Может быть, нужно было больше открыться другу в том, как сильно он его любит, сколь мало он желает, чтобы тот был другим, насколько богаче стал он благодаря ему и его искусству? Он мало говорил ему об этом, слишком мало, может быть — кто знает, не удержал ли бы он его?

Но благодаря Гольдмунду он стал не только богаче. Он стал и беднее, беднее и слабее, и хорошо, конечно, что он не показав этого другу. Мир, в котором он жил и обрел родину, его мир, его жизнь в монастыре, его служение, его ученость, его прекрасно составленное мыслительное построение часто сильно сотрясались, становясь сомнительными благодаря другу. Нет сомнений: с точки зрения монастыря, рассудка и морали его собственная жизнь была лучше, она была правильнее, постоянной, упорядоченней и более образцовой, это была жизнь порядка и строгого служения, дящаяся жертва, все новое стремление к ясности, справедливости, она было много чище и лучше, чем жизнь художника, бродяги и свратителя женщин. Но глядя сверху, с божественной точки зрения — был ли этот порядок и воспитание в отдельной жизни, отказ от мира и чувственного счастья, удаление от грязи и крови, уход в философию и богослужение действительно лучше жизни Гольдмунда? Разве в самом деле человек создан для того, чтобы вести размеренную жизнь, часы и дела которой возвещает молитвен-



ный колокол? Разве человек действительно создан для того, чтобы изучать Аристотеля и Фому Аквинского, знать греческий, убивая свои чувства и уходя от мира? Разве не создан он Богом с чувствами и инстинктами, с темными тайнами крови, способным на грех, наслаждение, отчаяние? Вокруг этих вопросов кружились мысли настоящего, когда он думал о своем друге.

Да, возможно, что вести такую жизнь, как Гольдмунд, не только более по-детски и по-человечески; но в конце концов мужественнее и возвышеннее отдаваться жестокому потоку и хаосу, грешить и принимать на себя последствия этого, чем вести чистую жизнь в стороне от мира с умытыми руками, насаждая прекрасный сад из мыслей, полный гармонии, и прогуливаться безгрешно меж ухоженных клумб. Возможно, труднее, смелее и благороднее бродить в разорванных башмаках по лесам и дорогам, терпеть зной и дождь, голод и нужду, радостно играя чувствами и расплачиваясь за них страданиями.

Во всяком случае, Гольдмунд показал ему, что человек, предназначенный для высокого, может очень глубоко опуститься в кровавый, пьянящий хаос жизни и запачкать себя пылью и кровью, не став, однако, мелким и подлым, не убив в себе божественного, что он может блуждать в глубоком мраке, не погашая в святая святых своей души божественного света и творческой силы. Глубоко заглянул Нарцисс в сумбурную жизнь своего друга, и ни его любовь к нему, ни его уважение не стали меньше. О нет, с тех пор как из запястных рук Гольдмунда вышли эти дивные безмолвные живые, просветленные внутренней формой и порядком фигуры, эти искренние, светящиеся душой лица, эти невинные растения и цветы, эти молящие или благословляющие руки, все эти смелые и нежные, гордые или святые жесты, с





тех пор он хорошо знал, что в этом беспокойном сердце художника и соблазнителя живет полнота света и божеской милости.

Ему нетрудно было казаться превосходящим друга в их разговорах, противопоставляя его страсти свою воспитанность и упорядоченность в мыслях. Но не был ли любой легкий жест какой-нибудь фигуры Гольдмунда, любой взгляд, любой рот, любое выющееся растение и складка платья больше, действительнее, живее и незаменимее, чем все, чего может достичь мыслитель? Разве этот художник, чье сердце так полно противоречий и крайностей, не выразил для бесконечного числа людей, сегодняшних и будущих, символы их нужды и стремлений, образы, к которым могли обратиться в молитве и благоговении, в страхе сердца и тоске несметные множества, находя в них утешение, поддержку и укрепление?

С грустной улыбкой вспоминал Нарцисс все случаи с ранней юности, когда он руководил другом и поучал его. С благодарностью принимал это друг, всегда соглашаясь с его превосходством и руководством. И вот он без громких слов выставил произведения, рожденные из его исключительной бурями и страданиями жизни: не слова, не поучения, не объяснения и назидания, а настоящую возвышенную жизнь. Как жалок был он со своим знанием, своей монастырской жизнью, своей диалектикой по сравнению с ними! Вот те вопросы, вокруг которых кружились его мысли. Как когда-то много лет тому назад он вмешался в жизнь Гольдмунда, потрясая и увещевая, так со времени своего возвращения друг, доставляя ему хлопоты, часто глубоко потрясал его, вынуждая к сомнению и проверке себя.

Они были равны: ничего не дал ему Нарцисс, что бы он не вернул сторицей.



Уехавший друг дал ему много времени для размышлений. Шли недели, давно отцвел каштан, давно потемнела молочно-бледно-зеленая листва бука, став коричневой и твердой, давно прилетели аисты высиживать птенцов на башне ворот, вывели их и учили летать. Чем дольше не было Гольдмунда, тем больше видел Нарцисс, кем он для него был. В монастыре были некоторые ученые патеры, один — знаток Платона, другой — превосходный грамматик, один или два хитроумных теолога. Среди монахов было несколько преданных, честных людей, для которых это было всерьез. Но не было ни одного равного ему, ни одного, с кем бы он серьезно мог помериться силами. Это незаменимое давал ему только Гольдмунд. Опять лишиться его было для него очень трудно. Он очень тосковал по уехавшему.

Он часто заходил в мастерскую, подбадривал помощника Эриха, который продолжал работать над алтарем и очень ждал возвращения мастера. Иногда настоятель отпирал комнату Гольдмунда, где стояла фигура Марии, осторожно снимал покрывало с фигуры и оставался возле нее. Он ничего не знал о ее происхождении, Гольдмунд никогда не рассказывал ему историю Лидии. Но он все чувствовал, он видел, что образ этой девушки долго жил в душе его друга. Может быть, он ее соблазнил, может, обманул и покинул. Но он взял ее в свою душу и сохранил вернее, чем любой супруг, и в конце концов, возможно, много лет спустя, не видя ее больше, он воссоздал ее трогательную фигуру, вложив в ее лицо, позу, руки всю нежность, восхищение и страсть любящего. И в фигурах кафедры для чтеца в трапезной он всюду читал историю своего друга. Это была история бродяги и человека инстинктов, бездомного и неверного, но что осталось от этого здесь, все было полно добра и вернос-





ти, живой любви. Как таинственна была эта жизнь, как мутно и бурно неслись ее потоки, и вот какое благородство и чистота в итоге!

Нарцисс боролся. Он овладеет собой, он не изменит своему пути, он не упустит ничего в своем строгом служении.

Но он страдал от утраты и страдал от сознания, что его сердце, которое должно было принадлежать лишь Богу и служению ему, настолько привязано к другу.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Лето прошло, маки и васильки, полевые гвоздики и астры увяли и исчезли, утихли лягушки в пруду, и аисты летали высоко, готовясь к прощанию.

Тогда-то и вернулся Гольдмунд.

Он прибыл в пасмурный день после полудня под тихим дождем и прошел не в монастырь, а от ворот прямо в свою мастерскую. Он пришел пешком, без лошади.

Эрих испугался, когда увидел его. Хотя он узнал его с первого взгляда и сердце его забилося при встрече, все-таки казалось, что вернулся совсем другой человек: не тот Гольдмунд, а на много лет старше, с полуугасшим, пыльным, серым лицом, впалыми щеками, большими страдающими глазами, в которых, однако, не было скорби, но улыбка — добродушная, старческая, терпеливая улыбка. Он шел с трудом, он тащился и казался больным и очень усталым.

Странно смотрел этот изменившийся, чужой Гольдмунд в глаза своему юному помощнику. Он не делал из своего возвращения никакого шума, он делал вид, будто пришел всего лишь из соседней комнаты и только что был



здесь. Он подал руку и ничего не сказал, никакого приветствия, никаких вопросов, никаких рассказов. Он произнес лишь: «Мне нужно поспать». Он казался ужасно усталым. Он отпустил Эриха и вошел в свою комнату рядом с мастерской. Тут он снял шапку и уронил ее, снял сапоги и подошел к кровати. Сзади под покрывалом он увидел свою Мадонну; он кивнул ей, но не стал снимать покрывала и приветствовать ее. Вместо этого он подошел к окошку, увидел на дворе смущенного Эриха и крикнул ему:

— Эрих, никому не говори, что я вернулся. Я очень устал. Можно подождать до завтра.

Потом он, не раздеваясь, лег в постель. Через некоторое время, так как сон не приходил, он встал, с трудом подошел к стене, где висело маленькое зеркало, и посмотрелся в него. Внимательно вглядывался он в Гольдмунда, смотревшего на него из зеркала, усталого Гольдмунда, утомленного, старого и увядшего мужчину с сильно поседевшей бородой. Из маленького мутного зеркала на него смотрел старый одичавший человек, хорошо знакомое лицо, ставшее, однако, чужим, оно казалось ему не совсем настоящим, казалось, оно не имело к нему никакого отношения. Оно напоминало некоторые знакомые лица, немного мастера Никлауса, немного старого рыцаря, когда-то заказавшего для него платье пажа, немного даже святого Иакова в церкви, старого бородатого святого Иакова, выглядевшего в своей пилигримской шляпе таким древним и седым, но все-таки радостным и добрым.

Тщательно разглядывал он лицо в зеркале, как будто хотел разузнать об этом чужом человеке. Он кивнул ему и узнал его: да, это был он сам, он соответствовал его самоощущению. Очень усталый и немного безразличный





ко всему старый человек вернулся из путешествия, невзрачный мужчина, таким не щегольнешь, и все-таки он не имел ничего против него, он все-таки ему нравился: что-то было в его лице, чего не было у прежнего красавца Гольдмунда, при всей усталости и разбитости — черта удовлетворенности или же уравновешенности. Он тихо засмеялся про себя и увидел смеющееся отражение: прекрасного парня привел он с собой из своего путешествия! Порядком изношенным и опаленным вернулся он домой из своего небольшого вояжа, лишившись не только своего коня и походной сумки и своих талеров, пропало и оставило его также и другое: молодость, здоровье, самоуверенность, румянец на лице и сила взгляда. И все-таки это отражение нравилось ему: этот старый слабый человек в зеркале был ему милее того Гольдмунда, которым он был так долго. Он был старше, слабее, более жалким, но и безобиднее, более удовлетворенным, с ним легче было поладить. Он засмеялся и подмигнул себе. Затем лег опять на постель и теперь заснул.

На другой день он сидел в своей мастерской, склонившись над столом, и пытался немного порисовать, когда Нарцисс пришел навестить его. В дверях он остановился и сказал:

— Мне передали, что ты вернулся. Слава Богу, я очень рад. Так как ты ко мне не зашел, я пришел к тебе сам. Я не помешаю тебе?

Он подошел ближе. Гольдмунд оторвался от бумаги и протянул ему руку. Хотя Эрих и подготовил его, сердце защемило у него при виде друга. Тот приветливо улыбнулся ему в ответ.

— Да, я опять здесь. Приветствую тебя, Нарцисс, мы какое-то время не виделись. Извини, что я еще не навестил тебя.



Нарцисс посмотрел ему в глаза. Он тоже увидел не только угасание и плачевное увядание этого лица, он увидел также другое, эту странно приятную черту уравновешенности, даже безразличия, смирения и доброго настроения старца. Опытный чтец в человеческих судьбах, он видел также, что в этом ставшем таким чужим и так изменившемся Гольдмунде есть что-то нездешнее, что его душа или ушла далеко от действительности и идет путями грез, или она уже на пороге дверей, ведущих в мир иной.

— Ты болен? — спросил он заботливо.

— Да, и болен тоже. Я заболел уже в начале своего путешествия, в первые же дни. Но понимаешь, не мог же я вернуться сразу. Вы бы меня изрядно высмеяли, если бы я вернулся так быстро и стянул свои походные сапоги. Нет, этого мне не хотелось. Я поехал дальше и еще немного пошатался, мне было стыдно, что путешествие мое не удалось. Я переоценил себя. Итак, мне было стыдно. Ну, да ты же понимаешь, ты же умный человек. Извини, ты что-то спросил? Прямо чертовщина какая-то, я все время забываю, о чем идет речь. Но с моей матерью это у тебя здорово получилось. Хотя было очень больно, но...

Его бормотание угасло в улыбке.

— Мы тебя выходим, Гольдмунд, у тебя все будет. Но что же ты не вернулся сразу, как только почувствовал себя плохо! Тебе, право, не надо было нас стыдить. Тебе нужно было сразу же вернуться.

Гольдмунд засмеялся.

— Да, теперь-то я знаю. Я не решался так просто вернуться. Это было бы позором. Но вот я пришел. И теперь мне опять хорошо.

— Ты много страдал?





— Страдал? Да, страданий было достаточно. Но, видишь ли, страдания — это хорошо, они меня образумили. Теперь мне не стыдно. Даже перед тобой. Тогда, когда ты зашел ко мне в тюрьму, чтобы спасти мою жизнь, мне пришлось стиснуть зубы, так мне было стыдно перед тобой. Теперь это совсем прошло.

Нарцисс положил ему руку на плечо, тот сразу замолчал и, улыбаясь, закрыл глаза. Он мирно заснул. Расстроенный вышел настоятель и пригласил монастырского врача, патера Антона, посмотреть больного. Когда они вернулись, Гольдмунд спал, сидя за своим столом для рисования. Они отнесли его в постель, врач остался при нем.

Он был безнадежно болен. Его отнесли в одну из больничных комнат, Эрих постоянно дежурил возле него.

Всю историю его последнего путешествия никто никогда не узнал. Кое-что он рассказал, кое о чем можно было догадаться. Часто лежал он безучастный, иногда его лихорадило, и он спутанно говорил, иногда приходил в себя, и тогда каждый раз звали Нарцисса, для которого эти последние беседы с Гольдмундом стали очень важны. Некоторые отрывки из рассказов и признаний Гольдмунда передал Нарцисс, другие Эрих.

— Когда начались боли? Это было еще в начале моего путешествия. Я ехал по лесу и упал вместе с лошадью, упал в ручей и всю ночь пролежал в холодной воде. Там, внутри, где сломаны ребра, с тех пор болит. Тогда я был еще недалеко отсюда, но не хотел возвращаться, это было ребячество, но мне казалось, что это будет смешно. Я поехал дальше, а когда уже не мог сидеть на лошади из-за боли, я продал ее и потом долго лежал в госпитале.

Теперь я останусь здесь, Нарцисс, ездить на лошади мне уже не придется. Не придется и странствовать. И с



танцами покончено, и с женщинами. Ах, иначе я еще долго отсутствовал бы, еще годы. Но когда я увидел, что там, за стенами монастыря, нет для меня никаких радостей, я подумал: пока я не отдал Богу душу, надо еще немного порисовать и сделать несколько фигур, ведь хочется иметь хоть какую-то радость.

Нарцисс сказал ему:

— Я так рад, что ты вернулся. Мне так не хватало тебя, я каждый день думал о тебе и часто боялся, что ты никогда не захочешь больше прийти.

Гольдмунд покачал головой:

— Ну, потеря была бы невелика.

Нарцисс, чье сердце горело от горя и любви, медленно наклонился к нему и сделал то, чего не делал никогда за многие годы их дружбы, он коснулся губами волос и лба Гольдмунда. Сначала удивленно, затем с волнением Гольдмунд заметил, что произошло.

— Гольдмунд, — прошептал ему на ухо друг, — прости, что я раньше не мог сказать тебе это. Я должен был сказать тебе это, когда посетил тебя тогда в тюрьме, в резиденции епископа, или когда увидел твои первые фигуры, или еще когда-нибудь. Позволь мне сказать тебе сегодня, как сильно я тебя люблю, сколь многим ты был для меня всегда, какой богатой ты сделал мою жизнь. Для тебя это не имеет такого значения. Ты привык к любви, для тебя она не редкость, ты был любим многими женщинами и избалован. Для меня же это иначе. Моя жизнь была бедна любовью. Мне не хватало лучшего. Наш настоятель Даниил сказал мне как-то, что я держу себя высокомерно, вероятно, он был прав. Я не бываю несправедливым к людям, стараюсь быть справедливым и терпимым к ним, но я никогда не любил их. Из двух ученых в монастыре более ученый приятнее мне, никог-





да я не любил, к примеру, слабого ученого, несмотря на его слабость. Если же я все-таки знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе. Тебя я мог любить, тебя одного среди людей. Ты не знаешь, что это значит. Это значит источник в пустыне, цветущее дерево в дикой глуши. Тебе одному я признателен за то, что сердце мое не иссохло, что во мне осталось место, способное принять милость.

Гольдмунд улыбнулся радостно и немного смущенно. Тихим спокойным голосом, который бывал у него в часы просветлений, он сказал:

— Когда ты спас меня тогда от виселицы и мы ехали сюда, я спросил тебя о моей лошади Блесс, и ты мне все рассказал. Тогда я догадался, что ты, хотя едва различаешь лошадей, заботился о моем Блессе. И делал это из-за меня, я был очень рад этому. Теперь я знаю, что это было действительно так и ты действительно любишь меня. И я всегда любил тебя, Нарцисс, половину своей жизни я добивался твоей любви. Я знаю, что тоже нравлось тебе, но никогда не надеялся, что ты когда-нибудь скажешь мне об этом, ты — гордый человек. Теперь вот ты мне сказал, в тот момент, когда у меня нет больше ничего другого: странствия и свобода, мир и женщины — все позади. Я принимаю твое признание и благодарю тебя за него.

Мадонна Лидия стояла в комнате и смотрела на них.

— Ты все время думаешь о смерти? — спросил Нарцисс.

— Да, я думаю о ней и о том, что вышло из моей жизни. Мальчиком, когда я был еще твоим учеником, у меня было желание стать таким же духовным человеком, как ты. Ты мне показал, что у меня нет призвания к этому. Тогда я бросился в другую сторону жизни, в чувства, и женщины помогали мне найти в этом наслажде-



ние, они так послушны и сладострастны. Но мне не хотелось бы говорить о них презрительно и о чувственных наслаждениях тоже, я ведь часто бывал очень счастлив. Я имел также счастье пережить возможность одухотворения чувственности. Из этого возникает искусство. Но сейчас угасли оба пламени. У меня нет больше животного желания счастья — и оно не появилось бы, даже если бы женщины бегали за мной. И творить мне больше не хочется, я сделал достаточно фигур, дело не в количестве. Поэтому для меня пришло время умирать. Я согласен на смерть, мне даже любопытно.

— Почему любопытно? — спросил Нарцисс.

— Ну, пожалуй, это немного глупо. Но мне действительно любопытно. Не потусторонний мир, Нарцисс, об этом я мало думаю и, откровенно говоря, уже не верю в него. Нет никакого потустороннего мира. Засохшее дерево мертво навсегда, замерзшая птица никогда не вернется к жизни, а тем более человек, если умрет. Какое-то время его будут помнить, когда его не станет, но и то недолго. Нет, смерть любопытна мне потому, что я все еще верю или мечтаю оказаться на пути к своей матери. Я верю, что смерть — это большое счастье, да, счастье, такое же огромное, как счастье первой любви. Я не могу отделаться от мысли, что вместо смерти с косой придет моя мать, которая возьмет меня к себе и вернет в невинность небытия.

В одно из своих посещений, после того как Гольдмунд несколько дней ничего не говорил больше, Нарцисс застал его опять бодрым и разговорчивым.

— Патер Антон говорит, что у тебя, должно быть, часто бывают сильные боли. Как это тебе удастся, Гольдмунд, так спокойно переносить их? Мне кажется, теперь ты примирился.





— Ты имеешь в виду примирился с Богом? Нет, я его не нашел. Я не хочу мириться с ним. Он плохо устроил мир, нам нечего его расхваливать, да ведь ему и безразлично, восхваляю я его или нет. Плохо устроил он мир. А с болью в груди я примирился, это верно. Раньше я плохо переносил боль и хотя думал, что мне будет легко умирать, но это было заблуждение. Когда она угрожала мне всерьез в ту ночь в тюрьме графа Генриха, все обнаружилось: я просто не мог умереть, я был еще слишком сильным и необузданным, им пришлось бы каждый сустав во мне убивать дважды. Сейчас — другое дело.

Разговор утомил его, голос стал слабеть. Нарцисс попросил его поберечь себя.

— Нет, — ответил он, — я хочу тебе рассказать. Раньше мне было стыдно признаться тебе. Ты посмеешься. Видишь ли, когда я, оседлав коня, ускакал отсюда, это было не совсем бесцельно. Прошел слух, что граф Генрих опять в наших краях и с ним его возлюбленная, Агнес. Знаю, тебе это кажется неважным, сейчас и мне это неважно. Но тогда эта весть прямо-таки обожгла меня, и я не думал ни о чем, кроме Агнес; она была самой красивой женщиной, которую я знал и любил, я хотел увидеть ее опять, я хотел еще раз быть счастливым с ней. Я поехал и через неделю нашел ее. Вот тогда-то, в тот час все изменилось во мне. Итак, я нашел Агнес, она была не менее красивой, я нашел возможность показаться ей и поговорить. И представляешь, Нарцисс: она не хотела ничего больше знать обо мне! Я был для нее слишком стар, я не был больше красивым и приятным, она не обольщалась на мой счет. Этим мое путешествие, собственно, и закончилось. Но я поехал дальше, мне не хотелось возвращаться к вам таким разочарованным и смешным, и вот когда я так ехал, силы, и молодость, и благоразу-



мие уже совсем оставили меня, поэтому я упал с лошадьо в ущелье и в ручей, и сломал ребра, и остался лежать в воде. Вот тогда я впервые узнал настоящую боль. При падении я сразу почувствовал, как что-то сломалось у меня внутри в груди, и это меня обрадовало, я с удовольствием почувствовал это, я был доволен. Я лежал в воде и понимал, что должен умереть, но теперь все было иначе, чем тогда в тюрьме. Я не имел ничего против, смерть не казалась мне больше несносной. Я чувствовал сильные боли, которые с тех пор бывают часто, и увидел сон или видение, называй, как хочешь. Я лежал, и в груди у меня нестерпимо жгло, и я сопротивлялся и кричал, но вдруг услышал чей-то смеющийся голос — голос, который я не слышал с самого детства. Это был голос моей матери, низкий женский голос, полный сладострастия и любви. И тогда я увидел, что это была она, возле меня была мать и держала меня на коленях, и открыла мою грудь, и погрузила свои пальцы глубоко мне в грудь меж ребер, чтобы вынуть сердце. Когда я это увидел и понял, мне это не причинило боли. Вот и теперь, когда эти боли возвращаются, это не боли, это пальцы матери, вынимающие мое сердце. Она прилежна в этом. Иногда она жмет и стонет как будто в сладострастии. Иногда она смеется и произносит нежные звуки. Иногда она не рядом со мной, а наверху, на небе, меж облаков вижу я ее лицо, большое, как облако, тогда она парит и улыбается печально, и ее печальная улыбка высасывает меня и вытягивает сердце из груди.

Он все снова и снова говорил о ней, о матери.

— Знаешь, что еще, — спросил он в один из последних дней. — Как то я забыл свою мать, но ты напомнил мне. Тогда тоже было очень больно, как будто звери грызли мне внутренности. Тогда мы были еще юноша-





ми, красивыми, молодыми мальчиками были мы. Но уже тогда мать позвала меня, и я последовал за ней. Она ведь всюду. Она была цыганкой Лизе, она была прекрасной Мадонной мастера Никлауса, она была жизнь, любовь, сладострастье, она же была страхом, голодом, инстинктом. Теперь она — смерть, она вложила пальцы мне в грудь.

Гольдмунд посмотрел с улыбкой ему в глаза, с той новой улыбкой, появившейся после путешествия, которая была такой старческой и немощной, а порой даже немного слабоумной, иногда исполненной доброты и мудрости.

— Мой дорогой, — шептал он, — я не могу ждать до завтра. Я должен попрощаться с тобой, а на прощанье сказать все. Послушай меня еще немного. Я хотел рассказать тебе про мать, и что она держит свои пальцы на моем сердце. Вот уже несколько лет моей любимой тайной мечтой было создать фигуру матери, она была для меня самым святым образом из всех, я всегда носил его в себе, образ, полный любви и тайны. Еще недавно мне было бы совершенно невыносимо помыслить, что я могу умереть, не создав ее фигуры; моя жизнь показалась бы мне бесполезной. А теперь видишь, как удивительно все получается с ней: вместо того, чтобы мои руки создавали ее, она создает меня. Ее руки у меня на сердце, и она освобождает его и опустошает, она соблазняет меня на смерть, а со мной умрет и моя мечта, прекрасная фигура, образ великой Евы-матери. Я еще вижу его, и если бы у меня были силы в руках, я бы воплотил его. Но она этого не хочет, она не хочет, чтобы я сделал ее тайну видимой. Ей больше нравится, чтобы я умер. Я умру охотно, она мне поможет.

Ошеломленный, слушал эти слова Нарцисс, ему при-



НАРЦИСС И ГОЛЬДМУНД

шло склониться к самому лицу друга, чтобы понять их. Некоторые он слышал неясно, некоторые хорошо, но смысл их остался скрытым для него. И вот больной еще раз открыл глаза, вглядываясь в лицо своего друга. И с движением, как будто хотел покачать головой, он прошептал:

— А как же ты будешь умирать, Нарцисс, если у тебя нет матери? Без матери нельзя любить. Без матери нельзя умереть.

Что он еще бормотал, нельзя было разобрать. Два последних дня Нарцисс просидел у его постели, день и ночь, и видел, как он угасал. Последние слова Гольдмунда горели в его сердце как пламя.



СОДЕРЖАНИЕ

СИДХАРТА

Перевод Б. Д. Прозоровской

5

НАРЦИСС И ГОЛЬДМУНД

Перевод Г. В. Барышниковой

139



СЕРИЯ

700

**В 1993-1994 гг. фирма «Фита Лтд.»
готовит к изданию:**

ГУСТАВ МАЙРИНК

ИЗБРАННОЕ в 2-х томах:

«Голем», «Ангел западного окна»,
«Вальпургиева ночь»

РИЧАРД БАХ

ИЗБРАННОЕ в 3-х томах:

«Иллюзии», «Дар крыльев», «Единственная»,
«Мост через вечность»,
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
(оригинальные переводы)

По вопросам приобретения книг обращаться:

(044) 220-87-38

(044) 220-84-38

(044) 544-88-14

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ

Гессе Герман

**СІДХАРТА
НАРЦИС І ГОЛЬДМУНД**

Романи
(Російською мовою)

Комп'ютерний набір та верстка

Фірма «Фіта Лтд.»

Фірма «Ніка-Центр Лтд.»

Здано в набір 10.04.93. Підписано до друку 10.08.93.
Формат 70x100/32. Папір офсетний. Гарнітура Бодоні.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 18,71. Обл. вид. арк. 19,42.

Зам. 3-117

Фірма «Фіта Лтд.» 252039 Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3

Фірма «Ніка-Центр Лтд.» 252033 Київ, вул. В.Яна, 3/5

КОПП «КНИГА» 254655, МСП, Київ-53, вул. Артема, 25

Гессе Герман

Г43 **Вибране. Збірка / Пер. з нім.— К.: Фірма
«Фіта Лтд.», 1993.— 464 с.— Рос. мовою.**

ISBN 5-7101-0022-6

Герман Гессе (1877-1962) — визначний прозаїк, поет, філософ, один з класиків німецької та світової літератури.

У прозовій поемі «Сідхарта» автор відтворив своє зачудування Сходом, східною філософією. В Японії та Індії «Сідхарту» вважали «своею» книгою — поему видавали сотні разів японською мовою та на дванадцяти індійських діалектах.

«Нарцис і Гольдмунд» написано в романтичній традиції, це чудове полотно німецького середньовіччя. Пошуки свого «я», філософське розуміння світу, трагедія і любов — усе це читач знайде на сторінках цієї книги.

Г 4703000000 Без оголош.

93

ББК 84.4